МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЭЖЕН ФРАНСУА ВИДОК

ЗАПИСКИ ВИДОКА, НАЧАЛЬНИКА ПАРИЖСКОЙ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ. Т. 1



Эжен Франсуа Видок

Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции

В трех томах

Том первый



Москва
Берлин
2019

УДК 821.133
ББК 84(4=471.1)
В42

Видок, Эжен Франсуа

В42 Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. В 3 т. Т. 1 / Э. Ф. Видок ; [пер. с фр.] — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 404 с.

ISBN 978-5-4499-0351-8

Эжен Франсуа Видок (1775–1857) — основатель Главного управления национальной безопасности Франции.

Вниманию читателя предлагаются «Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции» — мемуары первого в Европе частного детектива и неоднозначной личности. Авантюрное прошлое и недюжинный талант к перевоплощению делают из французского злоумышленника грозу преступного мира. События, описанные в книге, изложены живо и красочно, что позволяет в полной мере насладиться колоритом и нравами криминальной Франции того времени.

Многолетний опыт Видока, нашедший свое отражение в воспоминаниях автора, послужил огромным толчком к развитию детективного жанра и стал источником вдохновения для других писателей.

УДК 821.133
ББК 84(4=471.1)

ISBN 978-5-4499-0351-8 © Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2019



Эжен Франсуа Видок (23 июля 1775 — 11 мая 1857) — знаменитый французский преступник, ставший впоследствии первым главой Главного управления национальной безопасности (Sûreté Nationale), а потом и одним из первых современных частных детективов и «отцом» уголовного розыска в его современном виде.

Предисловие к изданию 1877 года[1]

Во все времена существовали натуры, одаренные богаче других, с большей энергией и большими задатками; эти люди, смотря по тому, в какую сферу занесет их судьба, делаются героями или злодеями, в том и другом случае оставляя глубокий след за собою. Но какова бы ни была их роль на свете, они далеки от обыденной пошлости и, как все выходящее из ряду, невольно привлекают всеобщее внимание, возбуждают любопытство и порабощают воображение масс.

К числу подобных исключительных закаленных личностей принадлежит герой этой истории; это, можно сказать, легендарный герой французского народа, столь живо и надолго увлекающегося качествами — телесной силой, храбростью и тонким, хитрым умом; это актер социальной комедии, воспоминание о котором свежо в народе, тогда как множество эфемерных знаменитостей предано забвению. Таков был Видок, начальник охранительной полиции.

Правда, известностью своей он частию обязан тому, что в ряду злоумышленников вел борьбу с обществом. Его необыкновенные приключения, смелые предприятия, хитрости и многочисленные побеги могли бы наполнить не один роман. Но если бы дело ограничилось этим, то известность его не превзошла бы известности Колле, Куаньяра и других подобных злодеев, имена которых, нераздельно связанные с тюрьмой и острогом, запечатлены позором и служат только предметом вредного любопытства. Видок же несравненно выше этих героев уголовного суда, быстро кончавших свою блистательную эпопею виселицей, тем, что он захотел восстановить свое честное имя, вооружась против своих соучаст-

[1] Предисловие к изданию 1877 года сохраняет стиль языка оригинала.

ников, и положил свои исключительные способности, свою дорого приобретенную опытность и неустрашимую энергию на службу обществу.

Вследствие этого вторая половина жизни Видока еще более богата приключениями, еще интереснее первой. Это целая история погони за ворами. Охота на воров представляет весьма сложную науку, и трудно представить себе, какого умственного напряжения, каких замечательных способностей требует она. Что такое перед этой необыкновенной борьбой борьба таможенного чиновника и контрабандиста? А между тем таможенный досмотрщик должен заранее вообразить себе все, что может изобрести плодовитая хитрость его противника; должен предугадать его тайные намерения, сообразить, что мог бы придумать он сам, если бы был на месте этого другого, если бы сам был контрабандистом; должен противопоставить свое терпение, неустрашимость, всю свою проницательность постоянству, воле и сообразительности преследуемой им жертвы; словом, он поражает развившееся и законченное искусство контрабанды искусством более превосходным, ежедневно обогащающимся новыми наблюдениями и логикой событий.

Настоящий полицейский чиновник должен владеть этим высшим искусством в полнейшей степени, и кроме того, этот полицейский Протей должен усвоить себе ловкие и развязные манеры гнусного обитателя грязных подвалов, его удивительные инстинкты, как бы заимствованные у кошки и змеи; проворство пальцев, ловкость руки, верность глаза, испытанная храбрость, осторожность, хладнокровие, плутовство и непроницаемая маска истинного злодея — вот качества, необходимые искусному агенту общественной безопасности. Для успешного хода дела ему нужно, наравне с преступником, набить руку в мошенничестве, выучиться искусству вырывать тайны у чувствительных людей, заставлять их плакать

над воображаемыми несчастиями, неподражаемому искусству притворяться и менять наружность во всякий час дня и ночи; у него должен быть неистощимый запас средств, бойкий язык, непоколебимое бесстрастие и терпение, изобретательная голова и рука, всегда готовая действовать.

Эти исключительные качества, обыкновенно принадлежащие порознь различным личностям, Видок соединял в себе все и в высшей степени: ни один актер не мог сравниться с ним в искусстве гримироваться и разыграть какую угодно роль; для него было игрушкой мгновенно изменить возраст, физиономию, манеры, язык и произношение. Даже при дневном свете, переодетый, он бесстрашно подвергался опытному глазу жандармов, полицейских комиссаров, тюремных сторожей и даже прежних соучастников, людей, с которыми жил и от которых ничего не имел тайного. Несмотря на свой высокий рост и дородность, он умел переодеваться даже женщиной. Кроме того, этот странный человек при железном темпераменте имел в своем распоряжении весьма терпеливы желудок, который позволял ему переносить продолжительный голод и предаваться всевозможным излишествам; он мог после обильного обеда с притворной жадностью истреблять самые крепкие напитки и самые неперевариме кушанья.

Что бы ни думали о Видоке, который, впрочем, никогда и не метил попасть в святые, но нельзя отрицать того, что в качестве главы охранной бригады он оказал громадные услуги, очистивши Париж более чем от двадцати тысяч злодеев всевозможных категорий. Для достижения такого результата ему нужно было ежедневно в течение двадцати лет составлять комбинации утонченнее любого дипломата, постоянно подвергать свою жизнь опасностям, во сто раз ужаснее опасностей битв, и притом подвергать хладнокровно, без энтузиазма сражающихся, без всякой надежды на ореол победителя. В своей

беззаботности счастливые граждане не подозревают о тайной борьбе, непрерывно происходящей для доставления безопасности и благосостояния, которыми они наслаждаются.

Понятно, что жизнь столь знаменитого в своем роде человека, как Видок, рассказанная им самим, не могла не быть приманкой, на которую бросилась толпа, жадная до ощущений; и действительно, «Записки Видока», изданные им в 1828 году, после его отставки, были расхвачены с беспримерной быстротой. Это было первое сочинение, поразительным образом раскрывшее изнанку цивилизации, мрачную тюремную жизнь и внутренность острогов, знакомящее с выразительным языком воров, который с тех пор так много искажали. Это был животрепещущий реализм, внезапно представший пред обществом, пресыщенным сентиментальными пустячками. Электрические листки читались наперерыв к потрясали люден с утонченными нервами. Только и было разговору о «Записках Видока».

Весьма естественно, что столь громадный, повсеместный успех не замедлил породить корыстолюбивых подражателей. Вскоре появились «Записки каторжника» или «Разоблаченный Видок», постыдная спекуляция, в которой два литератора не побрезгали соединиться с выходцем из грязи острога и мошеннических притонов. Эти четыре тома клеветы, лжи и оскорблений, высказанных, соответственно содержанию, самым плоским, неприличным слогом, мгновенно завладели доверием публики и вошли в славу. Но реакция не замедлила произойти, и общее презрение справедливо обрушилось на это пасквильное произведение, всеми теперь забытое и погребенное в заслуженной тине.

Позднее, в 1844 году, была сделана новая попытка в подобном же роде. Книжный торговец Кадо издал «Настоящие парижские тайны». Это было сочинение двух литераторов, Горация Рессона и Мориса Алоя, более известных за мистификаторов, чем за серьезных писателей. Эта книга, которой

Видок подарил только свое имя, имела целью, как гласили объявления и рекламы, затмить славу «Парижских Тайн» Евгения Сю заменой его воображаемых героев настоящими типами, его вымышленных событий истинными фактами, раскрывая все загадочное и всю нищету столицы.

К несчастью, у обоих авторов этих блестящих обещаний не было и тени мощного гения романиста, с которым они вздумали состязаться. «Настоящие парижские тайны» были слабым отголоском, безцветным подражанием «Записок Видока»; они были лишены всякого интереса и не имели священного огня, одушевлявшего первое издание. Вместо неожиданностей и обещанных открытий в них находили только вещи всем известные, события обыденные, описание одного и того же. Публика встретила эти плутовские тайны полнейшим равнодушием, и они потонули во мраке забвения, тогда как меткие типы Евгения Сю живы до сих пор, а успех «Записок Видока» приостановился только вследствие распродажи изданий.

В настоящее время царит большое пристрастие к фельетонным романам, сюжет которых — отыскание и открытие человека, совершившего какое-либо великое преступление. Главный недостаток этих труженических сочинений, материал для которых обыкновенно почерпался из старых знаменитых процессов, был тот, что авторы слишком растягивали содержание, так что читатель, заинтересованный вначале, теряется потом в запутанных подробностях, которым нет конца. Эти произведения никогда не достигали обаяния действительности и блекли пред настоящими, очевидными фактами, как ночные иллюзии блекнут при сиянии дня.

Нам кажется своевременным перепечатание «Записок Видока», мало известных новому поколению. Мы надеемся, что это возобновление правдивой драмы с многочисленными сценами, потрясающими неожиданностями будет принято благосклонно. Публика не может не заинтересоваться этой

борьбой порядка с беспорядком, добра со злом, борьбой, ведущейся с основания мира и могущей покончиться только вместе с ним. В предлагаемом сочинении взяты самые интересные эпизоды этой мировой драмы. Его прошедший успех служит гарантией будущего.

Глава первая

Знаменательные приметы моего появления на свет. — Атлетическое сложение и раннее, преждевременное развитие. — Достодолжное упражнение своих способностей как в счастливые времена детства, так и впоследствии, в качестве хлебного подмастерья. — Первое воровство. — Поддельный ключ. — Предательские цыплята. — Похищение серебра и заключение в тюрьму. — Материнская снисходительность. — Наконец отец мой взялся за ум. — Новый грабеж и бегство из Арраса. — Поиски корабля, встреча с великодушным незнакомцем и плачевные ее последствия. — Г. Комус, первый физик в свете. — Акробаты. — Пребывание в их среде, обучение их искусству и достославный финал в качестве дикаря с южных морей. — Новые покровители и комичная сцена ревности. — Поступление на службу к бродячему врачу. — Возвращение в родительский дом. — Знакомство с актрисой и новое бегство из тюрьмы. — Поступление в полк и побег из него. — Я перехожу в неприятельский лагерь. — Немецкая расправа и поступление под отечественные знамена. — Любовь экономки, обвинение и две дуэли в один день. — Рана на войне. — Переход в другой отряд. — Возвращение на родину

Я родился в Аррасе, близ Лилля. Так как возраст мой определить довольно трудно, вследствие моих постоянных переряживаний, подвижности черт лица и необыкновенной способности гримироваться, то не лишним будет сказать, что это было 23 июля 1775 года, в доме, соседнем с тем, в котором шестнадцать лет тому назад родился Робеспьер, Была мрачная ночь; дождь лил ручьями; гром гремел, и родственница, исполнявшая должность акушерки и вместе гадалки, заключила из этого, что судьба моя будет весьма бурная. В те времена еще немало было простаков, веривших в предсказания; да и теперь, когда люди отличаются большим просвещением, мало ли таких, которые, не будучи кумушками, верят в непогрешимость девицы Ленорман!

Как бы то ни было, надо думать, что не для меня, собственно, разбушевалась природа, и хотя чудесное весьма привлекательно, но я далек от предположения, чтобы там, свыше, сколько-нибудь заботились о моем появлении на свет. Я был одарен могучим сложением, материалу не пожалели, так что при рождении мне можно было дать года два; уже тогда были задатки тех атлетических форм, того колоссального роста, которые впоследствии наводили ужас на самых неустрашимых, самых сильных злодеев. Дом моего отца стоял на плац-параде, куда постоянно собирались мальчишки со всего квартала, и я с ранних лет мог упражнять мои мускульные способности, усердно потчуя тумаками своих товарищей, родители которых, без сомнения, приносили жалобы моим. У нас только и толков было, что об ободранных ушах, подбитых глазах и разодранной одежде. В восемь лет я был ужасом собак, кошек и соседних ребятишек; в тринадцать я довольно порядочно владел рапирой. Отец, видя, что я шляюсь к гарнизонным солдатам, встревожился таким прогрессом и объявил мне, чтоб я готовился к первому причастию. Две благочестивые особы взялись приготовлять меня к этой торжественной церемонии. Бог весть, какую пользу извлек я из их уроков. В то же время я начал учиться булочному мастерству: это была профессия отца, который готовил меня своим преемником, хотя имел сына старше.

Обязанность моя состояла главным образом в разноске хлеба по городу, что давало мне возможность часто забегать в фехтовальную залу; хотя родители знали об этом, но кухарки так восхваляли мою любезность и аккуратность, что они смотрели сквозь пальцы на многие шалости. Такое снисхождение продолжалось до тех пор, пока они убедились насчет дефицита своей казны, которая никогда не запиралась. Брат, участвовавший вместе со мною в ее расхищении, был пойман на месте преступления и отправлен к булочнику в Лилль. На другой день после этого распоряжения, причины которого

мне не объяснили, я по обыкновению вознамеривался запустить руку в благодатный ящик, как увидел, что он был тщательно заперт. В то же время отец объявил мне, чтобы я попроворнее совершал свою разноску и возвращался в определенный час. Очевидно было, что с этих пор я был лишен и денег, и свободы. Горюя об этом двойном несчастии, я поспешил сообщить его одному из приятелей, по имени Пуаян, который был старше меня. Так как в конторке сделано было отверстие для опускания денег, то он посоветовал мне просунуть туда воронье перо, намазанное клеем; но это замысловатое средство могло мне доставить только мелкую монету, что было весьма недостаточно, и оставалось прибегнуть к подделке фальшивого ключа. Приятель порекомендовал мне для этой цели сына городового. Я снова стал расхищать отцовские доходы, и мы вместе наслаждались плодом этих покраж в одной из таверн, сделавшейся нашим главным местопребыванием. Туда собиралось изрядное число известных негодяев и несколько несчастных молодых людей, которые, чтобы иметь туго набитый карман, прибегали к таким же средствам, как и я. Вскоре я сошелся с распутнейшими личностями местности, и они посвятили меня в свой разврат. Таково было почтенное общество, в котором я проводил свои досуги до тех пор, пока отец не поймал меня так же, как и брата, в момент покражи. Он отобрал у меня ключ, сделал мне приличное наказание и принял такие предосторожности, что с этого времени нечего было и помышлять о разделении его барышей.

Мне не оставалось другого источника, как собирать дань натурою с домашней провизии. От времени до времени я спроворивал по нескольку хлебов, но чтоб отделаться от них, я должен был продавать их по ничтожной цене, которая едва давала мне возможность угощаться тортами и медом. Нужда научит калачи есть; ничто не ускользало от моих глаз и все было пригодно: вино, сахар, кофе, напитки. Мать моя еще не

замечала быстрого исчезновения своих запасов, может быть, она и долго бы не догадалась, куда они деваются, как однажды два цыпленка, которых я вознамерился конфисковать в свою пользу, возвысили против меня свой голос. Засунутые под исподнее платье и скрытые моим передником, они вдруг принялись пищать, высовывая свей гребень, и мать, предупрежденная таким образом об их похищении, немедленно явилась на выручку. Я получил несколько оплеух и должен был лечь без ужина. Спать я не мог, и, видно, злой дух не давал мне заснуть. Как бы то ни было, я встал с твердым намерением поживиться серебром. Одно меня беспокоило: на каждой вещи была полными буквами вырезана фамилия Видока. Пуаян, которому я открылся и в этом, устранил все трудности, и в тот же день за обедом я стащил десять приборов и столько же кофейных ложек. Двадцать минут спустя все было заложено, а через два дня из занятых ста пятидесяти фунтов не было ни полушки.

Трое суток я не показывался в родительский дом, как раз вечером был остановлен двумя городовыми и отведен в Боде, дом, куда заключали сумасшедших, подсудимых и мошенников. Десять дней продержали меня в тюрьме, не объявивши даже причин ареста; наконец тюремный сторож сказал, что я был заключен по требованию отца. Это меня несколько успокоило: то, стало быть, родительское исправление, и можно было надеяться, что со мной не поступят строго. На следующий день навестила меня мать, и я получил от нее прощение; через четыре дня я был свободен и принялся за прежнюю работу с твердым намерением вести себя безукоризненно. Тщетное намерение!

Я вскоре возвратился к старым привычкам, исключая расточительности, так как было немало причин, препятствовавших мне задавать тоны: отец, дотоле довольно беспечный, сделался столь бдительным, что годился бы в начальники городской стражи. Если ему являлась необходимость оставить

конторку, мать его немедленно заменяла; мне не было никакой возможности к ней подойти, хотя я постоянно был настороже. Эта неусыпная бдительность приводила меня в отчаяние. Наконец один из тавернских товарищей сжалился надо мною; то был все тот же Пуаян, отъявленный негодяй, подвиги которого памятны жителям Арраса.

— Нужно быть очень глупым, чтоб оставаться постоянно на привязи! — воскликнул он. — И как пристало малому твоих лет не иметь гроша за душой! Да будь я на твоем месте, я знаю, что сделал бы.

— А что бы, примерно?

— Твой отец с матерью богаты, какая-нибудь тысяча талеров, более или менее, не составит для них разницы. Старые скряги, поделом им! Не мешает возле них погреть руки.

— Я понимаю, что, по-твоему, надо хапнуть разом, коли нельзя по мелочи.

— Именно так, а там задать тягу, так, чтобы не осталось ни слуху ни духу.

— Да, только ты забываешь объездный караул.

— Ничего не значит! Разве ты им не сын? Притом мать тебя слишком любит.

Это соображение о материнской любви, подкрепленное воспоминанием ее снисходительности при моих недавних проказах, сильно подействовало на меня, и я слепо ухватился за план, улыбавшийся моей дерзкой смелости; оставалось только привести его в исполнение, а случай не заставил себя долго ждать.

Раз, когда мать была одна дома, явился подосланный от Пуаяна, разыгрывающий роль честного человека, принимающего в ней участие, и предупредил ее, что, вовлеченный в оргию с проститутками, я вздумал всех колотить, все ломать и бить, и что если меня не остановят, то после придется заплатить по крайней мере франков четыреста за убытки.

Мать моя сидела в кресле за каким-то вязаньем; работа выпала у нее из рук, и она без памяти бросилась туда, где предполагала найти меня; место же ей постарались указать в конце города. Так как ее отсутствие не могло продолжаться долго, то мы должны были суметь им воспользоваться. Ключ, который я стащил накануне, дал нам возможность забраться в лавку. Конторка оказалась запертой. Это препятствие почти обрадовало меня: я вспомнил любовь матери, и на этот раз не с мыслью о безнаказанности, а с невольным чувством раскаяния. Я уже думал ретироваться, но Пуаян удержал меня; его дьявольское красноречие заставило меня покраснеть от того, что он называл моей слабостью, и когда он подал мне лом, которым предусмотрительно запасся, я схватил его почти с энтузиазмом. Ящик был взломан, и в нем оказалось около двух тысяч франков; мы их поделили, а полчаса спустя я был один по дороге в Лилль. Взволнованный всем происшедшим, сначала я шел весьма скоро, так что по прибытии в Ленц почувствовал сильную усталость и приостановился. Вскоре проезжала наемная карета, в которой я и занял место, а часа через три был уже в столице французской Фландрии, откуда немедленно направился в Дюнкирхен, стараясь поскорее быть подальше, чтобы убежать от преследований.

Я имел намерение посетить Новый свет, но судьба разрушила этот план: в Дюнкирхенской гавани не было ни одного корабля. Я отправился в Кале, чтобы отплыть немедленно, но с меня спросили цену, превышавшую весь мой капитал; при этом меня обнадежили, что в Остенде будет стоить дешевле, вследствие конкуренции. Прибыл я и туда, но капитаны оказались столь же несговорчивыми, как и в Кале. Обезнадеженный вполне, я впал в то отважно-отчаянное настроение, когда человек готов бывает охотно отдаться первому встречному. Не знаю, почему мне вообразилось, что я наткнусь на какого-нибудь добряка, который возьмет меня даром на корабль или, по крайней мере, сделает значительную уступку, благодаря

моей привлекательной наружности и интересу, внушаемому молодостью. Пока я прогуливался, мечтая таким образом, ко мне подошел человек, ласковое обращение которого подтвердило мою химерную фантазию. Он прежде всего сделал мне несколько вопросов и из моих ответов узнал, что я иностранец, сам же он назвал себя корабельным маклером, и когда я ему открыл цель своего пребывания в Остенде, он стал предлагать мне свои услуги. «Ваша физиономия мне нравится. Я люблю открытые лица, в которых отражается искренность и веселость нрава. Хотите, я вам докажу это, доставивши почти даровой проезд?» Я поспешил высказать свою благодарность. «Что за благодарности! Когда дело будет сделано, тогда еще пожалуй; надеюсь, это будет скоро, а до тех пор вы, вероятно, будете скучать здесь». Я отвечал, что действительно не нахожу особенных развлечений. «Не хотите ли отправиться со мной в Блакенберг, где мы отужинаем в обществе милейших господ, которые в восторге от французов?» Маклер так был любезен, приглашал так дружелюбно, что было бы невежливо отказаться. Итак, я согласился, и он привел меня в дом, где оказались прелюбезные дамы, принявшие меня с тем беззаветным гостеприимством древности, которое не ограничивалось только одним угощением. Вероятно, в полночь (говорю вероятно, потому что мы уже не считали часов), я почувствовал тяжесть в голове и ногах. Вокруг меня все двигалось и вертелось, так что, не замечая, чтобы меня раздевали, мне показалось, что я нахожусь в дезабилье рядом с одной из нимф. Может, это и действительно было так, знаю только то, что я заснул. Меня пробудило сильное ощущение холода. Вместо зеленых занавесок, мелькнувших передо мной как бы во сне, мои полузакрытые глаза видели лес мачт, а кругом раздавались крики, бывающие обыкновенно в приморских гаванях. Я хотел было приподняться и увидел, что лежу между корабельными снастями. Теперь ли я был в бреду или все вчерашнее было сном? Я ощупывал себя,

дергал, и когда наконец был на ногах, то убедился, что не брежу и что вместе с тем не принадлежу к тем привилегированным существам, к которым счастие приходит во время сна. Я увидал себя полураздетым, и, исключая двух талеров, запрятанных в кармане исподнего платья, у меня не оказалось ни гроша. Тогда мне сделалось ясным, что действительно, по желанию маклера, мое дело было скоро сделано. Я был в неописанной ярости, но на ком искать? Я не мог бы даже указать места, где меня так ловко обчистили. Пришлось смириться и отправиться в гостиницу, где оставалось еще кой-какое платье, которое могло пополнить мой туалет. Мне незачем было сообщать хозяину о своем приключении: он, едва завидя меня издали, прямо встретил следующими словами: «Ай, ай, ай! Вот и еще один! Знаете ли, молодой человек, что вы еще счастливо отделались? У вас целы все члены, а это большое благополучие, когда выходят из подобного гнезда. Теперь вы имеете понятие о наших musicos. А каковы там сирены-то?.. Что делать, на то и щука в море, чтоб карась не дремал. Держу пари, что у вас нет более ни монетки». На эти слова я с гордостью показал ему свои два талера. «Ну, вы этим расплатитесь за продовольствие». И тотчас же он мне представил свой счет. Я заплатил и простился с ним, не покидая, однако, города.

Понятно, что путешествие в Америку было отложено в долгий ящик, и мне суждено было пресмыкаться на старом континенте; мне приходилось коснеть на самой низшей ступени цивилизации, и будущее тем более меня беспокоило, что у меня совсем не было средств в настоящем. У отца я всегда был бы сыт, потому являлось невольное сожаление о родительском крове; печь пекла бы и для меня хлебы, как для всех других, думал я. Вместе с этими сожалениями в уме моем мелькало множество моральных сентенций, которые старались укрепить во мне, приправляя их суеверием, как например: не добром нажитое прахом пойдет; что посеешь, то и пожнешь, и т. п.

В первый раз в жизни я сознал правду этих пророческих наставлений, никогда не утрачивающих своей логичности. Я был под влиянием раскаяния, весьма естественного в моем положении; я стал вычислять последствия моего побега и отягощающих его обстоятельств. Но такое настроение недолго продолжалось; мне не суждено было так скоро попасть на путь истинный. Передо мной открывалась карьера моряка, и я решился поступить на службу, рискуя за одиннадцать франков в месяц раз тридцать в день сломить себе шею, лазая на ванты корабля. Я уже готов был войти в эту новую роль, как вдруг внимание мое было привлечено звуком труб; то была не кавалерия, а паяц со своим чичероне, который, стоя пред балаганом, испещренным вывесками, созывал публику, никогда не устающую забавляться их глупыми шутками. Я пришел при самом начале, и пока довольно многочисленная толпа выражала свое удовольствие громким смехом, мне пришло в голову, что хозяин балагана может дать мне какую-нибудь должность. Паяц показался мне добрым малым, и я вздумал его избрать своим покровителем. Так как я знал, что предупредительность может быть весьма полезна в этом случае, то когда паяц сошел со своих подмостков, я догадался, что он хочет выпить, и решился пожертвовать свой последний шиллинг, предложив ему выпить вместе кружку можжевеловой водки. Тронутый такой любезностью, он тотчас же обещал ходатайствовать за меня и тут же представил директору. Это был знаменитый Кот-Комус; он величал себя первым физиком в мире и для объезда провинций соединил свои таланты с натуралистом Гарнье, ученым наставником генерала Жакко, славившимся по всему Парижу прежде и после реставрации. Они содержали труппу акробатов. Когда я предстал пред Комусом, он прежде всего спросил меня, что я умею делать, и на мой отрицательный ответ добавил: «В таком случае поучим тебя; у нас есть и поглупее, а ты мне

кажешься довольно смышленым; посмотрим, если у тебя есть способности, то я найму тебя на два года; первые шесть месяцев ты будешь хорошо кормлен и хорошо одет, затем ты будешь получать шестую часть сбора, а после я тебе положу то же самое, что и другим».

И вот я неожиданно попал на новую профессию. С рассветом дня нас разбудил мощный голос хозяина, который повел меня в какой-то чулан. «Вот твое дело, — сказал он, указывая мне на шкалики и деревянные жирандоли, — ты должен все это убрать и привести в надлежащий вид, слышишь ли? А после вычистишь клетки зверей и подметешь залу». Мне пришлось исполнять приказания не очень приятные, сало было мне противно, и я не совсем ловко себя чувствовал в обществе обезьян, которые, испугавшись моей незнакомой физиономии, делали невероятные усилия, чтобы выцарапать мне глаза. Покончивши все, я явился к директору, который сказал, что позаботится обо мне и что если я буду стараться, то что-нибудь из меня и сделает. Я работал с раннего утра и был голоден, как собака; пробило уже десять часов, а о завтраке не было и слуху, хотя при наших условиях положено мне было помещение и стол; я изнемогал от голода, когда мне принесли кусок пеклеванного хлеба, такого черствого, что при всем превосходстве моих зубов и алчности аппетита я не мог доесть его и большую часть выбросил зверям. Вечером я должен был заняться освещением, и так как, по недостатку навыка, не мог действовать при этом с достаточной быстротою, то хозяин сделал мне маленькое наказание, которое повторилось на следующий день и затем ежедневно. Не прошло и месяца, как я пришел в весьма плачевное состояние: мое платье, все в масляных пятнах и разодранное обезьянами, превратилось в лохмотья; насекомые меня поедом ели, от принудительной диеты я так исхудал, что меня нельзя было узнать. Тогда-то возобновились еще

с большей горечью сожаления о родительском доме, где я был всегда хорошо накормлен и одет, спал на мягкой постели и не имел надобности возиться с обезьянами.

Таково было положение вещей, когда однажды утром Комус объявил мне, что по надлежащем размышлении о том, на что я более годен, он пришел к убеждению, что из меня выйдет отличный скакун. При этом он передал меня на руки г-ну Бальмату, называвшемуся почему-то чертенком, которому вменено было в обязанность выдрессировать меня надлежащим образом. При первом же уроке этот достойный наставник едва не сломал мне спины, а я должен был брать два и три урока в день. Недели через три я в совершенстве выделывал скачки на брюхе, изображал, как прыгает обезьяна, трус, пьяница и т. п. Восхищенный моими успехами, профессор старался их еще более ускорить… Я постоянно опасался что из желания развить мой талант он повывихнет мне руки и ноги. Наконец мы дошли до трудностей искусства, и становилось час от часу не легче. При первой попытке сделать большой прыжок я думал, что разорвал себя пополам; в другой раз разбил себе нос. Изломанный и искалеченный, я получил окончательное отвращение от столь опасной гимнастики и решил объявить г. Комусу, что положительно не намерен быть скакуном. «А, ты не намерен!» — произнес он и, ничего не возражая, порядком отдул меня хлыстом. С тех пор Бальмат перестал со мной заниматься, и я вернулся к своим шкаликам. Итак, г. Комус отступился от меня, и очередь была за г. Гарнье создать мне профессию. Раз поколотивши меня более обыкновенного (г. Гарнье разделял это удовольствие вместе с г. Комусом), он окинул меня с головы до ног и, видимо довольный убавлением моего дородства, произнес: «Я доволен тобой; теперь ты именно такой, каким я желал тебя иметь, и если ты захочешь постараться, то от тебя самого зависит твое счастье; с нынешнего дня ты должен отращивать ногти; волосы твои и так довольно длинны, ты

почти нагой, а отвар ореховых листьев довершит остальное». Я совсем не понимал, что хотел сказать этим г. Гарнье. Он же позвал моего друга паяца и велел ему принести тигровую кожу и дубину. Паяц исполнил приказание. «Теперь, — продолжал Гарнье, — мы сделаем репетицию. Ты будешь молодым дикарем с южных морей и вдобавок людоедом; ты ешь сырое мясо, приходишь в ярость при виде крови, при нужде можешь жевать кремень; можешь только испускать резкие, пронзительные звуки, глядишь вытараща глаза, все движения твои нервны, ты иначе не умеешь ходить, как прыжками и скачками; словом, бери пример с лесного человека, который перед тобою в № 1-м». Во время этой речи передо мной поставили целую миску с маленькими камешками, отлично закругленными, и принесли петуха, которому весьма хотелось освободить свои связанные ноги. Гарнье взял его и, подавая мне, произнес: «Вот, возьми его и ешь». На мое несогласие он принялся грозить; я не слушался и просил немедленного расчета. Вместо ответа мне влетело с дюжину пощечин. Гарнье охулки на руку не положил при этом. Раздраженный подобным обращением, я взял дубину и непременно укокошил бы почтенного натуралиста, если бы вся труппа не бросилась на меня, выталкивая за дверь градом пинков и кулаков.

С некоторого времени я сходился в одном кабаке с фигляром и его женой, показывавшими марионеток под открытым небом. Мы познакомились, и я видел, что они интересуются мной. Муж сильно жалел обо мне, как об осужденном на зверскую пытку. Иногда он в шутку сравнивал меня с Даниилом во львином рву. Видно было, что он начитан и годился на что-нибудь лучшее, чем драма полишинеля; впоследствии он и действительно держал провинциальную труппу. Умолчу об его умении. Будущий антрепренер был очень умен, но его супруга не замечала этого; вместе с тем он был довольно безобразен, что она хорошо видела. Что касается до нее самой, то это была одна из тех пикантных брюнеток с длинными

ресницами, сердца которых в высшей степени склонны воспламеняться хотя бы самой скоротечной вспышкой. Я был молод, и она тоже; ей не было еще и шестнадцати лет, тогда как мужу было тридцать пять.

Оставшись без места, я прямо отправился к этой чете с целью попросить у них доброго совета. Они угостили меня обедом и поздравили с геройским освобождением от деспотического ига Гарнье, которого они называли вожаком. «Так как ты теперь свободен, — сказал мне фигляр, — то отправляйся с нами, ты будешь нам помогать; когда нас будет трое, то, по крайней мере, не будет антрактов; ты будешь расставлять марионеток, пока жена будет вертеть рукоятку органа; непрестанно занятая публика не станет расходиться, и сбору будет больше. Как ты думаешь, Элиза?» Элиза отвечала, что пусть он делает, как знает, что она вполне с ним согласна; и в то же время она бросила на меня взгляд, красноречиво говоривший, что предложение пришлось ей по душе и что мы отлично поймем друг друга. Я с благодарностью согласился на это новое занятие и при первом же представлении занял свой пост. Условия были несравненно благоприятнее, нежели у Гарнье. Элиза, несмотря на мою худобу, нашла, что я не так дурно сложен, как одет, тайком делала мне тысячи любезностей, на которые я без сомнения отвечал тем же. Через три дня она мне созналась в своей страсти, и я не остался неблагодарным. Мы были счастливы и не разлучались более. Дома мы только и делали, что хохотали, шутили, заигрывали друг с другом. Муж Элизы смотрел на все это как на ребячество; при отправлении должности нам приходилось быть бок о бок в узкой палатке, устроенной из четырех холстинных лоскутков и носящей громкое имя Увеселительного театра разнообразных представлений. Элиза стояла по правую сторону мужа, а я возле нее, когда она отлучалась, я заменял ее для наблюдения за входящими и выходящими, В одно памятное

воскресенье представление шло во всем разгаре, и вокруг балагана стояла большая толпа. Полишинель всех переколотил. Не зная, что делать с одной из кукол (то был караульный), хозяин решил отложить его в сторону и кричит нам подать ему комиссара; мы не слышим. «Комиссара, комиссара!» — кричит он нетерпеливо и вдруг, оборотившись, застает нас обнимающимися. Сконфуженная Элиза старается оправдаться, а муж, не слушая, снова кричит: «Комиссара!» — и в то же время пускает ей прямо в глаз крюком, на котором вешали караульного. Кровь брызнула, представление прерывается, супруги вступают в драку, причем палатка опрокидывается, и мы остаемся прямо на виду пред многочисленным сборищем зрителей, у которых этот неожиданный спектакль возбуждает громкий хохот и залп продолжительных рукоплесканий.

Этот скандал снова лишил меня пристанища, и я не знал, куда приклонить голову. Если бы у меня была хоть приличная одежда, я еще мог бы поступить в какой-нибудь порядочный дом; но я был такой ободранный, что никто не пожелал бы меня принять. В таком положении оставалось только одно, — вернуться снова на родину; но вопрос: чем прожить до тех пор? Когда я стоял в раздумьи, мимо меня прошел человек, которого по костюму можно было принять за разносчика; я завязал с ним разговор, и он сообщил мне, что отправляется в Лилль, а торгует опиумом, эликсирами и различными порошками; также срезает мозоли, а иногда даже пускается в дерганье зубов.

— Это хорошее ремесло, но я становлюсь стар, и мне не мешало бы иметь кого-нибудь на подмогу, чтобы носить мешок. Мне именно нужен такой молодец, как ты: здоровые ноги, верный глаз. Если ты хочешь, отправимся вместе.

— Охотно, — отвечал я, и, не делая более никаких условий, мы продолжали путь.

После восьми часов ходьбы наступила ночь, так что мы едва могли разглядеть дорогу, пока наконец остановились пред жалкой деревенской гостиницей. «Вот здесь», — сказал кочующий врач, стуча в дверь.

— Кто там? — окликнул грубый голос.

— Отец Годар, — отвечал мой компаньон; дверь немедленно отворилась, и мы очутились среди различных разносчиков, лудильщиков, паяцев, фокусников и т. п., которые приветствовали моего нового хозяина и поставили ему прибор. Я думал, что и мне окажут ту же честь, и уже намеревался присесть за стол, когда хозяин гостиницы, фамильярно ударив меня по плечу, спросил, не гаер ли я отца Годара.

— Что разумеете вы под этим словом? — воскликнул я с удивлением.

— Паяц, конечно, — отвечали мне.

Признаюсь, что, несмотря на свежее воспоминание о зверинце и театре марионеток, мне показалась унизительной такая кличка; но мучимый страшным голодом, рассчитывая на то, что результатом допроса будет ужин, и зная притом, что условия наши с отцом Годаром не были достаточно выяснены, я решился выдать себя за гаера. Действительно, тотчас после ответа хозяин повел меня в соседний покой, где веселая компания курила, пила и играла в карты, и сказал, что мне подадут ужин. Вскоре дебелая служанка принесла мне миску, на которую я накинулся с жадностью. В супе плавал бараний бок и несколько брюкв, что я и истребил в мгновение ока. После этого мне оставалось растянуться, наподобие других гаеров, на связках соломы, в сообществе верблюда, медведей, освобожденных от намордников, и своры ученых собак. Такое соседство было небезопасно, но приходилось примириться и с этим, хотя я все-таки не мог заснуть; все другие спали блаженным сном.

Таким образом, я стал жить на иждивении отца Годара, и как ни были плохи помещения и продовольствие, я не желал

с ним расстаться, так как приближался к Аррасу. Наконец в один из рыночных дней мы прибыли в Лилль. Отец Годар, не теряя времени, прямо пошел на площадь, велел мне разложить столик, ящички, скляночки, пакетики и предложил созывать покупателей. Этого только недоставало! Я хорошо позавтракал, и такое предложение взбесило меня: мало того, что я тащил, как вол, его багаж от Остенде до Лилля, не угодно ли теперь в двух шагах от Арраса выставляться напоказ! Я послал отца Годара ко всем чертям и тотчас же направился к родному городу, колокольня которого не замедлила показаться. Достигнув городского вала ранее сумерек, я приостановился, содрогаясь при мысли о предстоящем свидании; я даже думал было вернуться назад, но был не в силах от усталости и голода; мне необходимо было поесть и успокоиться; не колеблясь более, я побежал в родительский дом. Мать одна была в булочной. Я вошел, бросился на колени и со слезами просил прощенья. Бедная женщина, почти не узнавшая своего сына, так я изменился, была очень растрогана: она не имела силы оттолкнуть меня и даже как бы забыла все старое. Удовлетворивши моему голоду, она поместила меня в моей прежней комнате. Между тем необходимо было предупредить отца о моем возвращении, а она не имела духу выдержать первый взрыв его гнева. Один из друзей, священник анжуйского полка, взялся уговорить отца, который после сильной вспышки согласился, однако, простить меня. Я страшился его непреклонности, и когда услыхал о прощении, то прыгал от радости. Священник сообщил мне эту новость, сопровождая ее наставлением, по всей вероятности, весьма убедительным и трогательным, но я не помню из него ни слова; помню только, что он привел притчу о блудном сыне, — то была почти моя собственная история.

Приключения мои наделали много шуму в городе; каждый желал их услышать от меня самого; но никто не интересовался ими так, как одна актриса и две модистки, которых я

весьма часто посещал. Впрочем, актриса вскоре сделалась единственным предметом моих ухаживаний; завязалась интрига, в которой, под видом молодой девушки, я повторил перед своей возлюбленной некоторые сцены из Фоблаза. Побег с ней в *Лилль*, ее муж и хорошенькая горничная, выдававшая меня за свою сестру, показали отцу, как я скоро забыл все напасти моего первого похождения. Отсутствие мое было, впрочем, недолгим: по истечении каких-нибудь трех недель, по недостатку денег, моя возлюбленная отказалась таскать меня вместе со своим багажом. Я спокойно вернулся к домашнему очагу, и отец был окончательно сбит с толку апломбом, с которым я просил его согласия поступить на службу. Ему ничего не оставалось более, как согласиться; он понял это, и на другой же день на мне был мундир бурбонского полка. Моя осанка, бодрый вид, уменье ловко владеть оружием доставили мне привилегию быть немедленно зачисленным в число егерей. Я ранил двух старых служак, вздумавших обидеться на мое назначение, и вскоре сам последовал за ними в госпиталь, будучи ранен их приятелем. Такое начало выставило меня на вид; многие находили удовольствие в том, чтобы наталкивать меня на ссоры, так что в полгода я успел убить двух человек и раз пятнадцать дрался на дуэлях. Я вполне наслаждался счастием, доставляемым гарнизонной жизнью; караул за меня всегда нанимали добрые купцы, дочки которых наперебой старались угождать мне. Мать не забывала делать свои приношения. К этим щедротам отец, со своей стороны, назначил прибавку к моему окладу, и я находил еще возможность делать долги. Таким образом, я находился в самом блестящем положении и почти не чувствовал дисциплины. Раз меня засадили на две недели в тюрьму за то, что я не явился на три переклички. Я сидел вместе с одним из моих друзей и соотечественников, служившим в нашем же полку и обвиненном в нескольких кражах, в которых он сам сознался. Он мне тотчас же сооб-

щил причину своего ареста. Не могло быть сомнения, что полк не вступится за него; эта мысль и боязнь обесчестить семью приводили его в отчаянье. Мне было жаль его, и, не видя никакого исхода из его бедственного положения, я посоветовал ему избегнуть наказания побегом или самоубийством. Он решился попытать первое, прежде чем прибегнуть ко второму; я же вместе с одним молодым человеком, приходившим меня навещать, поспешил все приготовить к его побегу. В полночь были сломаны два железных запора; мы вывели товарища на вал, и я сказал ему: «Ну, надо спрыгнуть или быть повешенным». Он соображает высоту, колеблется и наконец заявляет, что готов скорее подвергнуться приговору суда, нежели переломать себе ноги. Он уже намеревался вернуться обратно, когда мы, совершенно для него неожиданно, столкнули его вниз; он кричит, я заставляю его молчать и возвращаюсь в свое подземелье, где наслаждаюсь мыслию, что сделал доброе дело. На другой день заметили его исчезновение, спрашивали меня, но я отделался ответом, что ничего не видел. Много лет спустя я встретился с этим несчастным, который называл меня своим освободителем. От падения он хромал, но сделался честным человеком.

Я не мог всегда оставаться в Аррасе: была объявлена война с Австрией, я отправился со своим полком и вскоре присутствовал при поражении Маркена, закончившемся в Лилле умерщвлением храброго и несчастного генерала Диллона. Затем мы пошли на лагерь Мольда, а после на лагерь Луны, где под начальством Келлермана выдержали стычку с пруссаками 20 октября. На другой день после этого сражения я был назначен капралом гренадеров; пришлось спрыскивать галуны, что я и исполнил с большим шиком в шинке; но не знаю, каким образом между мною и унтер-офицером роты, из которой я выходил, завязалась ссора; сделанный мною вызов был принят; но когда дошло до самого дела, то противник мой нашел, что разница в чине не позволяла ему драться

со мною. Я стал его принуждать насильно, он пожаловался, и в тот же вечер меня посадили под арест вместе с моим секундантом. Через два дня мы узнали, что нас положено судить военным судом. Приходилось бежать, что мы и сделали. Мой товарищ в куртке, фуражке и под видом солдата, подвергшегося наказанию, шел передо много; я остался в своем медвежьей шапке, с мешком и ружьем, на котором висел широкий пакет, запечатанный красным сургучом, с надписью: «Гражданину коменданту крепости Витри-ле-Франс». Это был наш паспорт, дававший нам возможность беспрепятственно добраться до Витри, где один жид доставил нам мещанский костюм. В то время стены каждого города были увешаны воззваниями к французам лететь на защиту отчизны; поэтому вербовали кого ни попало. Вахмистр егерей принял наш паспорт; нам дали письменный маршрут, и мы тотчас же отправились в Филиппвилль.

У нас с товарищем очень мало было денег; к счастью, в Шалоне нам представилась неожиданная находка. В одной гостинице с нами жил солдат Божоле. Он пригласил нас вместе выпить. Это был честный пикардиец; мы объяснились на родном его наречии, и незаметно, со стаканами в руках, между нами установилась такая задушевность, что он показал нам портфель с ассигнациями, говоря, что нашел их в окрестностях Шато-Аббе. «Приятель, — сказал он, — я не умею читать, и если вы мне расскажете значение этих бумаг, я поделюсь с вами». Он в нас не ошибся: по количеству мы ему отделили львиную долю, но он и не подозревал, что в свою пользу мы удержали девять десятых всей суммы. Это маленькое вспоможение пришло весьма кстати, и наша короткая поездка закончилась весьма веселым образом. По достижении назначения у нас еще были довольно туго набиты карманы. Вскоре мы достаточно изощрились в верховой езде и были отправлены в военные эскадроны. Через два дня по нашем прибытии туда произошла битва при Жемане. Я не в

первый раз был под огнем и не чувствовал страха; смею даже думать, что поведение мое заслужило бы благосклонность начальства, как вдруг капитан наш объявил мне, что, отмеченный в числе дезертиров, я неизбежно буду арестован. Опасность была неминуема; в тот же вечер я оседлал лошадь, чтобы перейти к австрийцам; в несколько минут я достиг их аванпостов, попросился на службу, и меня записали в кирасиры. Меня более всего страшила необходимость схватки с французами, и я постарался избежать ее. Притворившись больным, я провел несколько дней в госпитале, после чего предложил давать уроки фехтованья гарнизонным офицерам. Они с удовольствием согласились и тотчас же вручили мне маски, перчатки, рапиры. Я померялся с двумя немецкими лучшими фехтовальщиками, одержал верх и тем внушил высокое мнение о моем искусстве. Вскоре я приобрел множество учеников и загребал изрядные денежки.

Я гордился своими успехами, как вдруг однажды, вследствие крупной ссоры с дежурным бригадиром, меня приговорили к двадцати ударам, которые, по обычаю, отсчитывали на параде. Это привело меня в ярость, и я отказался давать уроки. Мне было приказано продолжать их по-прежнему, под угрозою вторичного наказания. Я без сомнения предпочел продолжать уроки; но понесенное посрамление залегло на душе, и я решился во что бы то ни стало избавиться. Узнавши, что один лейтенант отправлялся в главную армию, к генералу Шредеру, я просил его взять меня с собой в качестве денщика; он согласился, надеясь найти во мне преданного человека, но ошибся в расчетах: при приближении к Кенуа я бежал от него и направился в Ландреси, где выдал себя за бельгийца, оставившего прусские знамена. Мне предложили вступить в кавалерию; страшась быть узнанным и расстрелянным, если бы случилось столкнуться с прежним полком, я предпочел 14-й легкий. Армия Самбре и Мезе выступала тогда на Экс-ла-Шапель; рота, к которой я принадлежал, получила

повеление следовать за ней. Мы отправились, и по вступлении в Рокруа сошлись с 11-м егерским полком. Я считал себя окончательно погибшим; но старый мой капитан, свидания с которым я не мог избежать, поспешил меня разуверить: он сказал, что амнистия избавила меня от всякого преследования и что он с удовольствием снова готов принять меня под свое начальство. Я отвечал, что сам рад бы был этому; он взялся устроить дело, и я был снова помещен в 11-й полк. Старые приятели приняли меня весьма дружелюбно; я не менее того был рад свидеться с ними и был бы вполне счастлив, если бы любовь, также немало содействующая этому счастию, не вздумала разыграть со мною одну из своих проказ. Читатель не удивится, конечно, что в семнадцать лет я покорил сердце экономки одного старого холостяка. Ее звали м-ль Манон; она была почти вдвое старше меня и потому страстно меня полюбила; она способна была на всякие жертвы; ничего не жалела для меня и, находя меня красивейшим из егерей, желала еще, чтобы я был хорошо одет. Она подарила мне часы, и я с тщеславием молодости украшался кое-какими драгоценными вещами, служившими залогом внушаемой мною привязанности. Вдруг я узнаю, что Манон обвиняется хозяином в домашнем воровстве. Она созналась в своем преступлении и вместе с тем, страшась, что после ее осуждения я перейду в руки другой женщины, назвала меня сообщником и даже показала, будто я помогал ей. Во всем этом было много вероятного; я был замешан в преступлении и весьма бы затруднялся оправдаться, если бы случай не помог найти несколько писем, из которых вполне выяснялась моя невинность. Сконфуженная Манон отреклась от своей клеветы, и я вышел белее снега из тюрьмы Стенай. Капитан, считавший и прежде меня невиновным, был очень рад моему возвращению, но товарищи не хотели простить мне того, что я был заподозрен, и в десять дней у меня было, по крайней мере, десять дуэлей за их различные намеки и колкости. Наконец, жестоко раненный, я попал в

госпиталь, где пробыл более месяца. Начальство, предвидя, что ссоры не замедлят возобновиться, если я не удалюсь куда-нибудь на время, дало мне отпуск на шесть недель. Я отправился в Аррас, где с большим удивлением нашел отца, занимающего общественную должность: как бывшему булочнику ему поручено было смотреть за провиантными магазинами, где он не должен был допускать расхищения хлеба. Во время голода исполнение подобной обязанности, хотя он служил и безвозмездно, сопряжено было с большими опасностями и, по всей вероятности, привело бы отца моего на гильотину, если бы не покровительство гражданина Суама[2], начальника 2-го батальона.

По окончании отпуска я отправился в Живе, откуда полк вскоре командировали в графство Намур. Нас разместили по квартирам в деревеньках по берегам Мааса; а так как австрийцы были на виду, то не проходило дня без какой-либо стычки; одною из них, более серьезной, мы были отодвинуты к Живе, и при отступлении я был ранен в ногу, вследствие чего пролежал в госпитале, а затем остался при резерве. Около этого времени проходил германский легион, состоявшей главным образом из дезертиров, фехтмейстеров и проч. Один из главных начальников предложил мне вступить в их отряд с чином вахмистра. «Коль скоро вы будете у нас при должности, — сказал он, — то будете совершенно ограждены от всяких преследований». Уверенность в безопасности, вместе с воспоминаниями о неприятных последствиях интимности с Манон, заставили меня решиться: я принял предложение и на другой день был уже на дороге к Фландрии. Без сомнения, служа в этом отряде, где быстро можно было повышаться, я был бы офицером; но рана моя открылась со столь опасными признаками, что пришлось снова проситься в отпуск. Через шесть дней я прибыл в Аррас.

---

[2] Бывшего впоследствии генерал-лейтенантом (*прим. авт.*).

Глава вторая

Иосиф Лебон. — Казнь на гильотине. — Гражданка Лебон и ее воззвание к санкюлотам. — Новые любовные интриги. — Мое заключение и освобождение. — Сестра моего освободителя. — Я произведен в офицеры. Завоевание обеда с помощью барабанного концерта. — Ночное посещение влюбленной старухи. — Революционная армия. — Отнятие судна у австрийцев. — Вероломство моей невесты. — Ложная беременность и моя женитьба. — Измена жены

При вступлении в город я был поражен отпечатком уныния и ужаса на всех встречавшихся физиономиях; на мой вопрос о причине на меня смотрели недоверчиво и отходили молча. Что такое необыкновенное могло произойти? Едва пробираясь сквозь толпу, сновавшую по мрачным и кривым улицам, я скоро достиг площади Рыбного рынка. Первое, бросившееся мне в глаза, была гильотина, грозно возвышавшаяся над безмолвной толпой. Перед ней был старик, которого привязывали к роковой доске. Вдруг раздались трубные звуки. На эстраде, занятой оркестром, сидел молодой человек в фуфайке о черными и голубыми полосками; осанка его скорее напоминала монашеские привычки, а не военные, а между тем он небрежно опирался на кавалерийскую саблю, громадный эфес которой изображал шапку свободы; ряд пистолетов украшал его пояс, а на шляпе его, надетой на испанский манер, развевалось трехцветное перо. То был Иосиф Лебон. В данную минуту его гнусная физиономия оживилась ужасной улыбкой; он перестал бить такт своей левой ногой, трубы замолкли, и по его мановению старик был положен под нож. Тогда перед Мстителем за народ предстала личность, нечто вроде полупьяного актуариуса, которая хриплым голосом прочла приговор рейномозельской армии. При каждом параграфе оркестр брал аккорд, а по окончании голова несчастной жертвы упала

при криках «Да здравствует республика!», повторяемых соучастниками свирепого Лебона.

Не могу выразить впечатления, произведенного на меня этой ужасной сценой. Я пришел к отцу почти в таком же потрясающем состоянии, как тот несчастный, чья продолжительная агония была сейчас перед моими глазами. Я узнал, что казненный был г. Монгон, прежний комендант крепости, осужденный за аристократизм. Несколько дней тому назад на том же месте казнили г. Вие-Пон, все преступление которого заключалось в том, что у него был попугай, крики которого показались похожими на восклицание: «Да здравствует король!» Попугаю грозила одинаковая участь с его господином, но он был пощажен только благодаря заступничеству гражданки Лебон, которая обязалась обратить его на путь истинный. Гражданка Лебон была монахиней аббатства Вивье. В этом отношении, равно как и во многих других, она была достойной супругой бывшего невильского священника. Она имела большое влияние на членов комиссии Арраса, где заседали в качестве судей и присяжных ее шурин и трое дядей. Бывшая монахиня столько же жадна была до золота, как и до крови. Раз во время спектакля она решилась произнести в партере следующую тираду: «А что, санкюлоты, пожалуй, скажут, что гильотина не для вас! Что же вы зеваете! Нужно искать и выдавать врагов отчизны. Если вы откроете какого-нибудь дворянина, богача, купца, аристократа, доносите на него и получите его деньги». Злодейство этого чудовища равнялось только злодейству ее мужа, предавшегося всевозможным излишествам. Часто после какой-нибудь оргии он бегал по городу, обращаясь с непристойными шутками к проходящим, потрясая саблей над головой и стреляя из пистолета над ушами женщин и детей.

Его обыкновенно сопровождала, и нередко даже под ручку, старая торговка яблоками, в красном чепце, о рукавами, засученными до самых плеч, и с длинной ореховой палкой

в руках. Эта женщина, прозванная мать Дюшен, подобно знаменитому отцу Дюшену, на многих демократических празднествах изображала богиню свободы. Она аккуратно посещала заседания комиссии и, так сказать, подогревала ее приговоры своими обвинениями и бранью. По ее милости опустела целая улица, жители которой все погибли на гильотине.

Я часто спрашиваю себя, каким образом при плачевных, ужасных событиях страсть к удовольствиям и развлечениям остается во всей силе? Аррас доставлял мне те же развлечения, как и прежде. Девицы там были так же доступны, в чем легко было убедиться, потому что в течение нескольких дней я значительно успел в своих любовных интригах, начиная с молодой и хорошенькой Констанции, единственной отрасли капрала Латюлин, шинкаря крепости, до четырех дщерей нотариуса, имевшего контору на углу Капуцинской улицы. Все было бы отлично, если бы я ограничился этим, но я вздумал обратить свои взоры на красавицу с улицы Правосудия и не замедлил встретить на своем пути соперника. Это был старый полковой музыкант, который, не хвастаясь своими успехами, давал, однако, понять, что ему ни в чем не отказывали. Я обозвал его хвастунишкой, он рассердился, я вызвал его на дуэль, на что он и внимания не обратил. Наша ссора уже совсем была забыта, как вдруг я узнаю, что он распускал про меня оскорбительные слухи. Я прямо обратился к нему за разъяснением, но тщетно; он до тех пор не соглашался на поединок, пока я не дал ему пощечины при свидетелях. Свидание назначено было на следующее утро. Я хотел явиться аккуратно к назначенному времени, но едва достиг места поединка, как был окружен отрядом жандармов и муниципальных чиновников, которые овладели моей саблей и велели следовать за собою. Я повиновался и вскоре очутился в Боде, назначение которого очень изменилось с тех пор, как террористы подчинили жителей Арраса своим порядкам.

Привратник Бопре, в красном колпаке, сопровождаемый неотлучно двумя огромными черными псами, отвел меня в обширное помещение, где содержались под его надзором лучшие из местных жителей. Лишенные всяких сношений с внешним миром, мы едва могли питаться, да и то пища проходила сквозь наистрожайший осмотр Бопре, который простирал осторожность до такой степени, что опускал в суп свои страшно грязные руки, чтобы удостовериться, нет ли там какого оружия или ключа. Если кто осмеливался роптать, ему говорили:

— Ты что-то взыскателен, а между тем много ли времени тебе остается жить на свете? Как знать, не завтра ли твоя очередь? Как зовут-то тебя?

— Так-то.

— Ну так и есть, что завтра.

Подобным предсказаниям Бопре тем легче было сбываться, что он сам назначал жертвы Лебону, который после обеда обыкновенно обращался к нему с вопросом: «Кого мы завтра отправим?»

В числе дворян, заключенных с нами, находился граф Бетун. Когда за ним пришли, чтобы вести его на суд, Бопре резко сказал ему:

— Гражданин Бетун, так как ты отправляешься туда, то передашь мне все, что у тебя останется здесь?

— Охотно, господин Бопре, — спокойно отвечал старик.

— Господ нет более, — насмешливо заметил презренный тюремщик, — мы все граждане, — и из двери он опять закричал ему: — Прощайте, гражданин Бетун!

Однако же Бетун был только оставлен в подозрении и приведен снова в тюрьму. Его возвращение чрезвычайно нас обрадовало. Мы уже считали его спасенным, как вдруг вечером он опять был призван. Оправдательный приговор был произнесен в отсутствие Иосифа Лебона. Вернувшись из деревни и узнав, что из его рук ускользнула жизнь столь честного

человека, он немедленно приказал собраться членам комиссии. Следствием этого было то, что старик был казнен при свете факелов.

Это происшествие, которое нам Бопре передал со свирепым злорадством, возбудило во мне сильное беспокойство. Ежедневно водили на казнь людей, столь же мало, как и я, знавших о причине их ареста, и занятие и общественное положение которых исключало возможность заподозрить их в политических замыслах. С другой стороны, Бопре, весьма точный относительно количества, мало заботился о качестве виновных. Случалось даже, что, не имея под руками названных в приговоре личностей, он посылал первых попавшихся, стараясь только о том, чтобы служба не терпела упущений. Таким образом, я ежечасно мог попасть под руку Бопре, а подобное ожидание не имело в себе ничего успокоительного.

Уже прошло две недели со времени моего заключения, когда нам объявили о визите Лебона. Его сопровождала жена и главные террористы края, между которыми я узнал старого отцовского парикмахера и чистильщика колодцев Дельмота. Я просил их замолвить словечко в мою пользу; они обещали, и я мог тем более надеяться, что оба они пользовались большим влиянием.

Иосиф Лебон пробежал зал, свирепо обращаясь к заключенным с различными страшными допросами, видимо стараясь их запугать. Наконец, подойдя ко мне, он пристально посмотрел на меня и сказал, отчасти грубо, отчасти насмешливо: «А, а, это ты, Франсуа! Ты намереваешься разыгрывать аристократа и дурно отзываешься о республиканцах… Ты жалеешь о своем старом бурбонском полке… Берегись… я могу тебя отправить распоряжаться гильотиной. Кстати, пришли мне свою мать». Я сказал, что, находясь в секретном отделении, не могу с ней видеться. На это Лебон обратился к Бопре со следующими словами: «Бопре, ты введешь г-жу Видок». И он вышел, оставя меня с надеждой в душе, судя по

особенно любезному обхождению со мной. Через два часа после того пришла моя мать. Она открыла мне, чего я еще не знал, — что доносчиком моим был музыкант, вызванный мною на дуэль. Донос был в руках ярого якобинца, террориста Шевалье, который, из дружбы к моему противнику, конечно, не пощадил бы меня, если бы сестра его, тронувшись слезными мольбами моей матери, не упросила его ходатайствовать о моем освобождении.

По выходе из тюрьмы я был торжественно приведен в патриотическое общество, где меня заставили поклясться в верности республике, в ненависти к тиранам. Я поклялся во всем. На какие жертвы человек ни решится для сохранения своей свободы!

По окончании этих формальностей я снова был возвращен в резерв, где товарищи встретили меня с большой радостью. Было бы неблагодарностью с моей стороны не считать Шевалье моим освободителем. Я пошел его благодарить и старался высказать его сестре, как признательно отношусь за ее внимание к бедному узнику. Эта женщина, страстнейшая из всех брюнеток, но черные очи которой не могли вознаградить некрасивую наружность, вообразила, что я в нее влюблен; она приняла буквально несколько сделанных мною комплиментов и с первого же свидания так ошиблась насчет моих чувств, что остановила на мне свой выбор. Зашел разговор о нашем соединении; обратились к моим родителям, которые отвечали, что в восемнадцать лет слишком рано жениться, и дело было отложено в дальний ящик. Между тем в Аррасе были организованы реквизиционные батальоны. Пользуясь репутацией отличного преподавателя, я назначен был с семью другими унтер-офицерами обучать 2-й батальон Па-де-Кале; в числе их был гренадерский капрал лангедокского полка по имени Цезарь, впоследствии полевой сторож в Коломбе или Пюто, близ Парижа; он назначен был полковым адъютантом. Я же был произведен в чин подпоручика

по прибытии в Сен-Сильвестр-Капеллу, где мы расположились квартирами: Цезарь был фехтмейстером в своем полку, а мои подвиги с гусарами читатель, вероятно, помнит. Мы порешили, кроме теории, преподавать батальонным офицерам фехтованье. Хотя наши уроки доставляли кое-какие деньги, но их далеко не хватало на потребности, или, лучше сказать, на все наши фантазии. Особенно чувствовался недостаток в съестных припасах, и скудость нашего питания была еще более ощутительна потому, что мэр, у которого мы с товарищем квартировали, имел у себя превосходный стол. Тщетно пытались мы втереться в дом: старая экономка, Сикса, отстраняла нашу услужливость и разрушала наши гастрономические планы; мы оставались голодными и обезнадеженными.

Наконец Цезарь открыл секрет, каким образом разрушить непреодолимое очарование, отделявшее нас от вкусного обеда муниципального офицера. По наущению моего изобретательного сотоварища, в одно прекрасное утро пред окнами ратуши тамбурмажор вдруг принялся выбивать зорю; можете себе представить эту оглушительную трескотню. Старая мегера не замедлила обратиться к нашему посредничеству для прекращения содома. Цезарь ласкательным тоном обещал употребить со своей стороны все возможное, чтобы это не повторялось более, а сам побежал сказать, чтобы завтра не преминули сделать то же; и на следующее утро отчаянный бой барабана, казалось, намерен был разбудить всех мертвецов с соседнего кладбища. В довершение всего Цезарь послал тамбурмажора упражняться за нашим домом над обучением своих учеников. Кто бы выдержал такую пытку? И старуха сдалась, любезно пригласив нас к себе; но этого было мало; барабаны продолжали свой концерт до тех пор, пока их почтенный глава вместе с нами не был принят за муниципальную трапезу. С тех пор в Сен-Сильвестр-Капелле не слыхать было барабанов, исключая тех случаев, когда прохо-

дили войска, и все жили в мире, кроме меня, которому начала угрожать устрашающая благосклонность старухи. Эта несчастная страсть привела к происшествию, о котором, вероятно, еще помнят в стороне, где оно наделало так много шуму.

Был праздник в деревне: пели, танцевали, а особенно пили, как и водится, и я наугостился так ловко, что меня отнесли домой и уложили в постель. На другой день я проснулся до рассвета. Как и всегда после попойки, голова была тяжела, во рту нагорело, желудок находился в раздраженном состоянии. С намерением напиться я приподнимаюсь и вдруг чувствую, что шею мою обхватила рука, холодная, как колодезный канат. При отуманенной голове, не зная, на что подумать, я неистово закричал. Мэр, спавший в соседней комнате, прибегает вместе с братом и слугою, вооруженные палками. Цезарь еще не возвращался. Некоторая доза размышления позволила мне уже догадаться, что ночной посетитель был не кто иной, как Сикса; но, притворяясь испуганным, я сказал, что кто-то улегся со мной. Тогда непрошеного призрака начинают угощать палкой, и Сикса, видя, что дело плохо, закричала: «Что вы, что вы, господа! Не бейте, это я, Сикса; в бреду я зашла к г. офицеру». И она высунула свою голову, что было весьма благоразумно, потому что, хотя по голосу ее и узнали, но суеверные фламандцы, очевидно, не прекратили бы потасовки. Я сказал уже, что происшествие, олицетворившее некоторые сцены из романов «Мой дядя Фома» и «Бароны Фельсгеймы», наделало шуму и дошло до Касселя, которому я обязан многими удачами, между прочим, благосклонностью одной продавщицы в кафе-ресторане.

Мы уже стояли три месяца, когда дивизия получила повеление отправиться на Стенвард. Австрийцы сделали отвод, чтобы направиться на Поперинген, и второй батальон Па-де-Кале был поставлен на первом месте. На следующую ночь

по нашем прибытии неприятель напал врасплох на наши аванпосты и проник в самую деревню Ла Белль, занимаемую нами. Мы наскоро выстроились в боевой порядок. При этой ночной схватке наши молодые рекруты выказали то понимание и ту деятельность, которые отличают только одних французов. Около шести часов утра эскадрон гусар Вурмзера вышел с левой стороны и начал перестрелку; в то же время следовавшая за ним колонна инфантерии встретила нас штыками; но уже после сильной схватки неравенство в числе заставило нас отступить к Стенварду, где находилась главная квартира.

По прибытии туда я получил поздравление от генерала Вандамма и билет в госпиталь Сент-Омера, потому что я получил две раны саблей, отбиваясь от австрийского гусара, который надсадился, кричавши мне: «Сдайся! Сдайся!»

Со всем тем раны мои были не особенно опасны, потому что через два месяца я мог присоединиться к батальону, находившемуся в Газебруке, Там я познакомился со странным корпусом, известным под именем революционной армии. Люди с пиками и красными шапками, составлявшие ее, повсюду носили с собой гильотину. Конвент не нашел лучшего внушающего средства к укреплению верности в офицерах четырнадцати действующих армий, как показывать им орудие пытки, назначаемое изменникам. Я могу только сказать, что этот мрачный аппарат наводил неописанный ужас на местное население тех стран, где его провозили; не более того был он по сердцу солдатам, и мы зачастую ссорились с санкюлотами, которых звали гвардией корпуса гильотины. Я со своей стороны угостил пощечиной одного из их начальников, который вздумал найти предосудительным, что у меня золотые эполеты, тогда как по уставу надо было носить полотняные. За этот прекрасный подвиг я, конечно, дорого бы поплатился, если бы мне не дали средство достигнуть Касселя. Туда же прибыл наш отряд, который распустили, как и

все реквизиционные батальоны; офицеры сделались простыми солдатами, и в этом чипе я был отправлен в 28-й батальон волонтеров, который составлял часть армии, назначенной выгнать австрийцев из Валансьена и Конде.

Батальон квартировал во Фресне. На ферму, где отведена была мне квартира, однажды приехало семейство судохозяина, состоящее из мужа, жены и двух детей, в числе которых была восемнадцатилетняя девушка, невольно обращавшая на себя внимание своей прелестной наружностью. Австрийцы отняли у них судно с овсом, составлявшим все их достояние, и эти бедные люди, оставшись только с тем, что на них было, не имели другого убежища, кроме этой фермы, принадлежавшей их родственнику. Их несчастное положение, а может быть, и красота девушки заставили меня принять в них участие. Отправившись на поиски, я увидал судно, которое неприятель опрастывал не вдруг, а по мере раздачи овса солдатам. Я предложил двенадцати товарищам отнять у австрийцев их добычу; они согласились, полковник дал свое позволение, и в одну дождливую ночь мы приблизились к лодке, не будучи замечены караульным, которого пятью ударами шашки отправили к праотцам. Жена судохозяина, пожелавшая непременно идти со мною, тотчас же побежала к мешку флоринов, который она спрятала в овсе, и дала мне его нести, Потом отвязали лодку, чтобы провести ее к тому месту, где у нас был укрепленный караул; но едва только она поплыла, как мы были встречены возгласом часового, спрятавшегося в камышах. При выстреле из ружья, сделанного им за вторым вопросом, соседний караул взялся за оружие; вмиг берег покрылся солдатами, осыпавшими лодку градом пуль. Пришлось ее оставить. Я и товарищи мои бросились в какую-то шлюпку и с ней причалили благополучно к берегу, но судохозяин, о котором в суматохе забыли, попал в руки австрийцев, не жалевших для него ни кулаков, ни палочных ударов. Жена же его вернулась с нами. Во всяком случае эта

попытка стоила нам трех человек, и у меня самого оторвало пулей два пальца. Дельфина ухаживала за мной самым усердным образом. Мать ее поехала в Гент, куда отправили ее мужа в качестве военнопленного, а мы с Дельфиной прибыли в Лилль, где я начинал выздоравливать. Так как у Дельфины была часть денег, найденных в овсе, то мы могли вести довольно веселую жизнь. Стали мы подумывать о свадьбе, и дело так пошло на лад, что я уже отправился в Аррас за необходимыми бумагами и за благословением родителей. Дельфина же получила согласие своих, которые все еще оставались в Генте. За милю от Лилля я вдруг вспомнил, что забыл свой госпитальный билет, который мне необходимо было предъявить в муниципалитет. Пришлось вернуться назад. Приехав в гостиницу, подхожу к нашему номеру, стучусь, — никто не отвечает; между тем Дельфина не могла выйти из дому так рано: еще не было шести часов. Стучу еще; наконец она отворяет мне с распростертыми объятиями и протирая глаза, как человек, внезапно вскочивший со сна. Для испытания я предлагаю ей ехать вместе в Аррас, чтобы представить ее своим родителям; она спокойно соглашается. Мои подозрения почти рассеялись, но внутренний голос говорил мне, что она меня обманывает. Наконец я заметил, что она часто поглядывает на гардероб; я намереваюсь его отворить, но невинная девушка сопротивляется, выставляя один из тех предлогов, который всегда в распоряжении женщин. Я настаиваю, отворяю и нахожу под кучей грязного белья доктора, который меня лечил. Он был стар, безобразен и неопрятен: в первую минуту меня охватило чувство оскорбления ввиду подобного соперника; может быть, я пришел бы в бешенство, если бы то был красивый мужчина; предоставляю судить об этом тем, кто сам находился в подобном положении. Я было хотел укокошить счастливого эскулапа, но благоразумие, посещавшее меня довольно редко, остановило меня. Мы были в разгаре войны, можно было придраться к

моему виду и наделать мне неприятностей; притом Дельфина не была моей женой, я не имел на нее никаких прав. Ввиду всего этого я ограничился тем, что ногой вытолкал ее в двери, выбросил за окно ее тряпки и кой-какие мелочи, чтобы она могла отправиться в Гент. Остальные деньги я считал вполне справедливым присвоить себе, так как я руководил знаменитой экспедицией. Я забыл сказать, что позволил доктору спокойно оставить свое убежище.

Избавившись от изменницы, я продолжал оставаться в Лилле, хотя срок позволения на то кончился; но в Лилле почти так же легко скрываться, как в Париже, и мое житье ничем бы не было возмущено без одного любовного приключения, о котором не стану распространяться. Достаточно сказать, что остановленный в женском костюме в момент бегства от ревнивого мужа, я был приведен на площадь, где сначала упорно отказывался от объяснений; признаваясь, я действительно или должен был погубить женщину, или выдать себя как дезертира. Но однако несколько часов пребывания в тюрьме заставили меня изменить решение. Штаб-офицер, которого я призвал выслушать мое признание и которому откровенно объяснил свое положение, по-видимому, принял во мне участие. Генерал, начальник дивизии, пожелал выслушать мой рассказ от меня самого и, слушая, помирал со смеху. Затем велел выпустить меня на свободу и дал мне письменный маршрут для присоединения к 28-му батальону в Брабанте; но вместо того я вернулся в Аррас, с твердым намерением поступить на службу не иначе, как в последней крайности.

Первый мой визит был к патриоту Шевалье; его влияние на Иосифа Лебона заставляло меня надеяться получить при его посредстве продолжение отпуска, что и действительно было сделано, и я снова вошел в сношения с семьей моего благодетеля. Сестра его, благосклонность которой ко мне уже известна, удвоила свое ухаживанье; с другой стороны, видя ее беспрестанно, я нечувствительно привыкал к ней и не замечал

ее безобразия; словом, дела приняли такой оборот, что я не мог быть особенно удивлен, когда она вдруг объявила мне, что беременна; она не говорила о браке, даже не заикалась о нем; но я видел, что без него обойтись нельзя; иначе я рисковал подвергнуться мщению ее брата, который бы выдал меня за подозрительного аристократа, и особенно за дезертира. Мои родители, пораженные всеми этими обстоятельствами и надеясь иметь меня при себе, согласились на брак, который семейство Шевалье старалось наивозможно ускорить. Таким образом, мне пришлось-таки жениться в восемнадцать лет. Я уже рассчитывал быть и отцом, когда жена созналась мне, что беременность была вымышленная с целью только заставить меня жениться. Можно себе представить, как приятно мне было выслушать подобное признание; но те же самые причины, которые вынудили меня жениться, заставляли и теперь молчать, что я сделал, затая бешенство в душе. Вообще наш союз состоялся при довольно плохих обстоятельствах. Мелочная лавка, открытая моей женой, шла весьма дурно; я приписывал это частому отсутствию моей жены, которая целые дни просиживала у брата; я стал было делать замечания и в ответ на них получил повеление вернуться в Дорник. Я мог бы и пожаловаться на такую милую манеру отделываться от докучливого мужа, но я так был отягощен игом Шевалье, что с радостью надел мундир, который прежде снял с таким удовольствием.

В Дорнике старый офицер бурбонского полка, в то время генерал-адъютант, зачислил меня в свою канцелярию по административной части, преимущественно по обмундированию войск. Вскоре дела по дивизии потребовали отправления верного человека в Аррас; я еду на почтовых и приезжаю в город в одиннадцать часов вечера. Движимый чувством, которое трудно объяснить, бегу прямо к жене, где долго стучусь, не получая ответа. Наконец уже сосед отворяет мне и чрез аллею я быстро приближаюсь к комнате жены. Меня

поражает звук упавшей сабли; затем открывается окно, и на улицу выпрыгивает человек. Понятно, что меня узнали по голосу. Я опрометью сбегаю с лестницы и настигаю ловеласа, в котором узнаю полкового адъютанта 17-го егерского полка, находящегося в шестимесячном отпуску в Аррасе. Он был полураздет; я возвращаю его в спальню, где он заканчивает свой туалет, и мы расстаемся с условием драться на другой день.

Эта сцена наделала тревоги во всем квартале: многие соседи, сбежавшиеся к окнам, видели, как я ловил адъютанта, слышали его сознание. Стало быть, недостатка в свидетелях не было, и можно было подать заявление и хлопотать о разводе, что я и намеревался сделать; но семья моей целомудренной супруги тотчас стала поперек дороги и начала парализовать все мои попытки. На следующий же день, не успевши сойтись с полковым адъютантом, я был остановлен городовыми и жандармами, которые уже поговаривали о заключении меня в Боде. К счастью, я не терял бодрости; хорошо сознавая, что в моем положении не было ничего угрожающего, попросил привести себя к Иосифу Лебону, и мне не могли отказать в этом. Я предстал пред народным представителем, которого застал за грудой писем и бумаг. «Так это ты, — сказал он, — приезжаешь сюда без позволения… да еще вдобавок, чтобы обижать свою жену!..» Я тотчас сообразил, что надо отвечать; показал свой ордер, привел свидетельство соседей и самого полкового адъютанта, который не мог отречься. Словом, я так ясно рассказал свое дело, что Лебону пришлось сознать мою правоту. Но из угождения своему другу Шевалье он просил меня не оставаться долее в Аррасе, и так как я боялся, чтобы ветер не подул в другую сторону, чему знал немало примеров, то и сам желал наивозможно скорее последовать этому. Выполнивши возложенное на меня поручение и простившись со всеми, на другой день с рассветом я был на дороге в Дорник.

Глава третья

Встреча со старыми знакомыми из кофейной. — Пребывание в Брюсселе. — Знакомство с шулерами. — Фальшивое имя и фальшивые документы. — Знакомство с действующей армией. — Баронесса и сын булочника. — Парижская кокотка

Не найдя в Дорнике генерал-адъютанта, который поехал в Брюссель, я на другой же день взял дилижанс и отправился за ним. В дилижансе с первого взгляда я заметил трех лиц, с которыми познакомился еще в Лилле и которые целые дни проводили в кофейной, существуя на весьма подозрительные средства. К великому удивлению, я их увидал в мундирах различных корпусов: одного с эполетами полковника, другого в мундире капитана, а третьего в мундире лейтенанта. Откуда могли они запастись мундирами, так как нигде не служили? Я терялся в догадках. Они со своей стороны сначала как будто несколько смутились от неожиданной встречи со мной, но скоро оправились и выказали дружеское удивление при виде меня простым солдатом. Когда я растолковал, каким образом распущение реквизиционных батальонов заставило меня потерять чин, подполковник обещал свое покровительство, которое я охотно принял, не зная, однако, что думать о покровителе; я видел только одно, что он был при деньгах и платил за всех за табльдотом, где выказывал самый ярый республиканизм, давая в то же время понять, что он принадлежит к древней фамилии.

В Брюсселе я не был счастливее, чем в Дорнике: генерал-адъютант, как бы бегавший от меня, отправился в Люттих. Еду в этот город, рассчитывая, что это, наконец, не будет напрасная поездка; приезжаю, — он успел накануне отправиться в Париж, где ему надо было присутствовать на конвенте. Отсутствие его должно было продлиться долее двух недель. Я решился ждать. Проходит срок — он не возвращается; проходит еще месяц — все нет и нет. Деньги так и плы-

вут из рук самым бестолковым образом. Наконец я положил вернуться в Брюссель, где надеялся гораздо легче найти выход из затруднения. Откровенность, с которой я решился рассказать всю свою историю, заставляет меня сознаться, что я не был особенно безукоризненным, а отвратительное общество гарнизонных солдат, которое я посещал с самого детства, извратило бы даже лучшую натуру.

Поэтому я без особенно щекотливой совестливости поселился в Брюсселе у знакомой кокотки, которая, после того, как ее покинул генерал Ван-дер-Нотт, сделалась почти публичной женщиной. Праздный, как все люди, не имеющие прочного положения, я проводил целые дни в Cafe Turc и Cafe Monnaie, где преимущественно собирались всевозможные плуты и шулера; эти люди сорили деньгами, играли в отчаянные игры, и так как у них не имелось никаких известных средств, я не мог постичь, каким образом они могли вести такую роскошную жизнь. Один молодой человек из моих друзей, к которому я обратился с вопросом на этот счет, был очень удивлен моей неопытностью, и мне весьма трудно было убедить его, что это неведение было искренне. «Люди, которых вы здесь видите ежедневно, не что иное, как мошенники; остальные же, приходящие на один раз, суть жертвы их обмана, которые, раз потерявши свои деньги, не приходят более». Узнавши это, я стал многое замечать, что прежде ускользало от меня; я видел невероятное плутовство и часто порывался предупредить несчастных, которых обирали, что доказывает, что во мне еще не все доброе угасло. Шулера не замедлили догадаться насчет этого. Раз вечером в Cafe Turc составилась партия, в которой gonse (так звали простаков, допускавших себя обыгрывать), потерявши сто пятьдесят луидоров, сказал, что желает завтра отыграться, и вышел. Едва он был за дверью, как выигравший, которого я и теперь постоянно вижу в Париже, подошел ко мне и сказал самым обыкновенным тоном: «По правде сказать, мы счастливо играли, и вы недурно сделали,

что вошли в долю со мной; я выиграл десять партий… на четыре кроны, данных вами, вот десять луидоров… возьмите их». Я заметил ему, что он ошибается, что я совсем не принимал участия в игре; вместо ответа он положил мне в руку десять луидоров и отошел. «Возьмите, — сказал мне молодой человек, посвятивший меня в игорные тайны и сидевший возле меня, — возьмите и следуйте за мною». Я машинально его послушался, и когда мы были на улице, он продолжал: «Они заметили, что вы следите за игрой, и страшатся, чтобы вы не угадали тайну, а так как вас нельзя застращать, потому что у вас здоровый кулак, то и решились дать вам часть барышей, С этой поры будьте спокойны насчет своего существования; двух кофейных с вас совершенно достаточно, потому что вы можете от них получать, подобно мне, от четырех до шести крон в день». Несмотря на то, что моя совесть вполне мирилась с этим, я нашел нужным возражать и делать замечания. «Вы просто ребенок, — сказал мой почтенный друг, — это совсем не воровство… а просто что называется поправлять свои делишки… и поверьте, что подобные вещи совершаются точно так же в салонах, как и в таверне… Здесь плутуют — это принятое выражение… А не то ли же самое делает негоциант, который счел бы за преступление лишить вас малейшего процента и вместе с тем спокойно надувает в игре?» Что отвечать на столь основательные доводы? Ничего. Остается только оставить у себя деньги, что я и сделал.

Эти маленькие доходы вместе с сотней талеров, высылаемых матерью, позволили мне жить с некоторым шиком и выказать свою благодарность Эмилии, привязанность которой не оставалась без сочувствия с моей стороны. Следовательно, мои дела шли довольно хорошо, но однажды вечером я был остановлен в театре парка несколькими полицейскими агентами, которые требовали показать мой паспорт. Для меня это было бы опасно, и я отвечал, что у меня его нет. Меня

отвели в Маделонет, и на следующий день при допросе я понял, что меня совсем не знали или принимали за другого. Поэтому я назвал себя Руссо, лилльским уроженцем, и прибавил, что отправившись в Брюссель просто ради развлечения, я не счел нужным брать с собой свои документы. В заключение я просил назначить двух жандармов для сопровождения меня до Лилля на мой счет; а последние за несколько крон позволили и бедной Эмилии ехать со мною.

Хорошо было выбраться из Брюсселя, но еще важнее было не показываться в Лилль, где меня неизбежно задержали бы как дезертира. Надо было бежать во что бы то ни стало; так думала и Эмилия, которой я сообщил свой план, исполненный нами в Дорнике. Приехав туда, я сказал жандармам, что так как завтра, по приезде в Лилль, где я тотчас же должен был получить свободу, нам приходилось расстаться, то я намерен угостить их на прощанье хорошим ужином. Уже заранее очарованные моей щедростью и веселым расположением, они охотно согласились. Вечером, когда опьяненные пивом и ромом, думая, что и я нахожусь в таком же состоянии, они заснули за столом, я, воспользовавшись этим случаем, на простынях спустился из окна второго этажа. Эмилия следовала за мною, и мы отправились проселочной дорогой, где даже не пришло бы и в голову нас отыскивать. Таким образом мы достигли предместья Нотр-Дам в Лилле, где я облекся в шинель конных егерей и наложил на левый глаз черную тафту с пластырем, что делало меня неузнаваемым. Несмотря на все это, я считал неблагоразумным оставаться долго возле своего родного города, и мы поехали в Гент. Там Эмилия довольно романтичным образом нашла своего отца, который убедил ее вернуться в семью. Правда, она согласилась меня оставить только с условием, что я приеду к ней, как только покончатся мои дела в Брюсселе.

Эти брюссельские дела, на которые я ссылался, были не что иное, как эксплуатация гостиниц Cafe Turc и Cafe de la

Monnaie. Но чтобы показаться в этом городе, необходимы были бумаги, доказывающие, что я действительно был Руссо, лилльский уроженец, как я это показал при допросе, бывшем прежде моего побега. Капитан бельгийских карабинеров, находившихся на службе у французов, по имени Лаббре, взялся при помощи пятнадцати луидоров снабдить меня необходимыми документами. Через три недели он действительно принес мне свидетельство о рождении, паспорт и свидетельство об отставке на имя Руссо; все это было в таком совершенстве, какого я никогда не видел ни у одного подделывателя документов. С этими бумагами я отправился в Брюссель, где комендант крепости, старый приятель Лаббре, обещал устроить мои дела.

Успокоенный с этой стороны, я отправился в Cafe Turc. Первые, кого встретил я в зале, были офицеры, с которыми, как вспомнит читатель, я уже путешествовал. Они приняли меня превосходно, и угадывая, что мое положение не из блестящих, предложили мне чин подпоручика егерского конного полка, конечно, потому, что на мне была военная шинель. Столь лестное повышение нельзя было не принять, и на том же заседании сняли мои приметы; на мое признание, что имя Руссо было не мое настоящее, подполковник сказал, что я могу взять то, которое мне нравится. Я решил удержать за собою имя Руссо; мне выдали письменный маршрут подпоручика 6-го егерского полка, путешествующего верхом и имеющего право на помещение и продовольствие. Таким образом, я вступил в эту действующую армию без войска, наполненную офицерами без свидетельств, с фальшивыми чинами и фальшивыми билетами; но тем не менее она внушала страх и почтение кригс-комиссарам, так как в те времена в военной администрации было весьма мало порядка. Могу только засвидетельствовать одно, что на всем пути по Нидерландам мы везде исправно пользовались рационами, без малейшего замечания на этот счет; между тем действую-

щая армия заключала в себе тогда не менее двух тысяч авантюристов, живших как рыба в воде. Любопытнее всего то, что повышения делались настолько быстро, как только то позволялось обстоятельствами; повышения эти приносили всегда выгоду, потому что служили к увеличению рационов. Таким образом я сделан был капитаном гусар, один из моих товарищей — начальником батальона, но что особенно меня поразило — это производство нашего подполковника в чин бригадного генерала. Если с одной стороны важность подобного чина и обусловливаемая им почетная знатность делала роль обманщика более трудной, то с другой — смелость подобной роли устраняла всякие подозрения на этот счет.

По возвращении в Брюссель нам выдали квартирные билеты, и я был помещен у богатой вдовы, баронессы И. Меня приняли так, как в то время вообще принимали французов в Брюсселе, т. е. с распростертыми объятиями. В мое полное распоряжение предоставлена была прекрасная комната; хозяйка, восхищенная моей скромностью, самым любезным образом сказала мне, что если ее обеденный час удобен для меня, то мой прибор всегда будет накрыт. Невозможно было устоять пред столь милым предложением, и я рассыпался в благодарностях; в тот же день я явился на обед, на котором присутствовали три старые дамы, не исключая баронессы, которой, впрочем, не дошло еще до пятидесяти. Все они были очарованы предупредительностью гусарского капитана. В Париже меня сочли бы довольно неловким в подобной роли, но в Брюсселе я был совершенством, принимая в расчет, что раннее поступление на службу неизбежно должно было повредить моему воспитанию. Баронесса, вероятно, думала так, потому что ее любезность и предупредительность наводили меня даже на раздумье.

Так как я иногда ходил обедать к своему генералу, от приглашений которого не мог отказаться, то баронесса непременно желала, чтобы я представил его ей с другими своими

товарищами. Долго я не исполнял этого желания; у ней бывали гости, и легко было встретиться с кем-нибудь, кто мог бы открыть нас; но она настаивала, и я должен был уступить, дав понять, впрочем, что так как генерал желает отчасти сохранить инкогнито, то чтобы не было большего общества. Генерал пришел; баронесса, посадившая его возле себя, так его отлично приняла, так долго говорила с ним вполголоса, что я был даже обижен. Для прекращения этого тет-а-тет я вздумал просить генерала спеть нам что-нибудь под аккомпанемент фортепиано. Я хорошо знал, что он совсем не знал нот, но рассчитывал, что обычное настаиванье присутствующих займет его хоть на несколько минут чем-нибудь другим. Хитрость моя удалась только наполовину: подполковник, видя, что все упрашивают генерала, весьма любезно предложил заменить его. Он действительно сел за фортепиано и спел несколько отрывков с достаточным вкусом, чтобы заслужить всеобщее одобрение, тогда как я посылал его ко всем чертям.

Наконец этот бесконечный вечер прошел; все разошлись, и я ушел с планами мщения сопернику, который мог у меня отнять, если не любовь, то лестную заботливость баронессы. Занятый этой мыслью, я рано утром отправился к генералу, который весьма удивился столь раннему визиту.

— Знаешь ли, — сказал он, не давая мне времени начать разговор, — знаешь ли, мой друг, что баронесса…

— Кто вам говорит о баронессе? — прервал я резко. — Я не за тем явился к вам.

— Тем хуже, если ты не хочешь говорить о ней; мне нечего и слушать.

Продолжая таким образом интриговать меня, он наконец сказал, что разговор его с баронессой вращался исключительно на мне и что он настолько подвинул мое дело, что она готова идти за меня замуж.

Сначала я думал, что у моего бедного приятеля ум за разум зашел: одна из богатейших титулованных нидерландок

выйдет замуж за авантюриста, не имеющего ни семьи, ни состояния, ни предков! Это показалось бы невероятным для самых легковерных. Принимать ли мне участие в обмане, который рано или поздно должен был обнаружиться и погубить меня? Не был ли я, наконец, действительно и законно женат в Аррасе? Эти возражения и многие другие, заставлявшие меня почувствовать некоторое раскаяние в том, что я должен обмануть такую превосходную женщину, оказывающую мне столько дружбы, ни на минуту не остановили моего собеседника. Вот что он мне отвечал на это:

«Все, что ты говоришь, прекрасно; я совершенно с тобой согласен, и чтобы тебе следовать своей природной наклонности к добродетели, тебе недостает только десяти тысяч ливров годового дохода. Но я не вижу здесь причин особенной совестливости. Чего желает баронесса? Мужа, который бы ей нравился. А разве ты не можешь быть таким мужем? Ведь ты имеешь твердое намерение относиться к ней с полным уважением, вообще так, как относятся к человеку, который нам полезен и на которого мы не можем ни в чем пожаловаться. Ты говоришь о неравенстве состояния; баронесса на это не обращает внимания. Стало быть, у тебя недостает только единственно почетного звания; ну так знай же, что ты его получишь. Да, я даю его тебе!.. Не гляди на меня удивленными глазами, а лучше выслушай и не заставляй повторять одного и того же. Ты знаешь какого-нибудь дворянина твоей родины и твоих лет? Ну вот этим дворянином ты и будешь. Родители твои — эмигранты и живут в Гамбурге. Ты же вернулся во Францию, чтобы выкупить дом отца и взять там столовую серебряную посуду и тысячу луидоров, спрятанных под полом в зале. Присутствие посторонних, ускоренный отъезд, который нельзя было отложить ни на минуту вследствие приказа немедленно привезти в суд твоего отца, помешали захватить с собою эти вещи. Приехав в страну переодетым подмастерьем, ты был выдан человеком, который

должен был содействовать твоему предприятию. Обвиненный, преследуемый республиканскими властями, ты должен был уже сложить голову на плаху, как я нашел тебя на большой дороге, полумертвым от страха и голода. Старый друг твоей семьи, я помог тебе получить свидетельство гусарского офицера под именем Руссо, пока случай не доставит возможности отправиться к родителям в Гамбург… Баронесса уже знает все это… Да, все… Исключая твоего имени, которое я не сказал ей, как бы из скромности, а в действительности потому, что не знаю, какое ты пожелаешь взять. Предоставляю тебе самому открыть его.

Итак, дело решенное, ты дворянин: уж не отрекаться же от этого. Не говори мне о жене своей, негодяйке; в Аррасе ты разведешься под именем Видока, а в Брюсселе женишься под именем графа В…

Теперь выслушан меня хорошенько: до сих пор наши дела шли довольно хорошо; но все это может измениться с минуты на минуту. Мы уже встретили некоторых любопытных кригс-комиссаров, можем встретить не столь покорных, которые лишат нас пропитания и пошлют на службу при маленьком флоте в Тулон. Ты понимаешь… и достаточно. Самое счастливое, что может выпасть тебе на долю, это вступление опять в старый полк, рискуя быть расстрелянным как дезертир. Женившись, ты, напротив, обеспечиваешь свое существование и вдобавок можешь быть полезен друзьям. Так как мы коснулись этого пункта, то заключим условие. У твоей жены сто тысяч флоринов доходу; нас трое; каждому из нас ты назначишь тысячу талеров пенсии, получаемой вперед; да кроме того, я должен получить награду в тридцать тысяч франков за то, что сделал графа из сына булочника».

Я уже был покорен: эта речь, в которой генерал так ловко выставил все трудности моего положения, окончательно восторжествовала над моим сопротивлением, которое, признаюсь, было не из очень упорных. Я соглашаюсь на все, и мы

отправляемся к баронессе. Граф В… падает к ее ногам. Сцена разыгрывается, и, чему трудно поверить, я так проникаюсь духом роли, что сам считаю правдой все говоренное, что, говорят, иногда случается с лгунами. Баронесса восхищена моими остротами и трогательными чувствами, внушаемыми положением. Генерал торжествует, видя мои успехи, и все остаются довольны. Иногда у меня то тут, то там вырываются некоторые восклицания, отчасти напоминающие кабак; но генерал постарался предупредить баронессу, что политические смуты значительно помешали моему образованию; она удовольствовалась этим объяснением. Маршал Сюше не был особенно взыскательным с тех пор, как Куаньяр, написавши «господину le duque (герцогу) д'Альбюфера», извинялся, что, будучи эмигрантом с весьма молодых лет, он знал французский язык весьма плохо.

Раз садимся мы за стол. Обед проходит наилучшим образом, а за десертом баронесса говорит мне на ухо: «Я знаю, мой друг, что состояние ваше в руках якобинцев; между тем родители ваши, живя в Гамбурге, могут находиться в затруднении; сделайте мне удовольствие переслать им вексель в три тысячи флоринов, которые мой банкир доставит вам завтра утром». Я рассыпался в благодарностях; она прервала меня и, выйдя из-за стола, прошла в гостиную, что дало мне возможность сообщить обо всем этом генералу. «Ах ты, простофиля, — сказал он. — Ты думаешь объявить мне новость?.. А не я ли шепнул баронессе, что твои родители могут иметь нужду в деньгах?.. В настоящую минуту эти родители — мы… Наши фонды уменьшаются, а если отважиться на что-либо преступное, чтобы их пополнить, это значит умышленно рисковать успехом нашего великого предприятия… Я беру на себя продажу векселя. Вместе с тем я внушил баронессе, что тебе необходимы деньги, чтобы до свадьбы выказать себя в надлежащем свете, и решено, что от нынешнего дня до дня церемонии ты будешь получать пятьсот флоринов в месяц».

Действительно, на следующий день я нашел эту сумму на моем письменном столе, и, кроме того, серебряный вызолоченный туалет и несколько драгоценных безделушек. Между тем метрическое свидетельство графа В… имя которого я принял, не появлялось: генерал намеревался снять с него копию, равно как подделать другие бумаги. Баронесса, ослепление которой может показаться непостижимым для людей, не имеющих понятия, до каких пределов доходят иногда доверие и дерзость обманщиков, согласилась выйти за меня под именем Руссо. У меня были все необходимые для этого бумаги. Недоставало только благословения отца, которое весьма легко было получить с помощью Лаббре, бывшего под рукой; но хотя баронесса согласилась быть моей женой под вымышленным именем, все-таки она не захотела бы быть некоторым образом участницей в обмане, который уже не оправдывался необходимостью спасти мою голову. Во время наших совещаний по поводу этого, мы узнали, что наличный состав действующей армии до такой степени увеличился в завоеванной стране, что правительство, открывши наконец глаза, приняло строгие меры для ее обуздания. Поэтому мундиры были сняты, чтобы не быть узнанными, но преследования и поиски сделались столь энергичны, что генерал принужден был внезапно оставить город и отправиться в Намюр, где можно было быть менее на виду. Объясняя это неожиданное исчезновение баронессе, я сказал, что генерал был озабочен вследствие того, что принял меня на службу под вымышленной фамилией. Это повергло ее в сильное беспокойство обо мне самом, и я ее успокоил только отъездом в Бреду, куда она непременно желала ехать со мной.

Ко мне нейдет разыгрывать чувствительность, и я бы не заслуживал репутации тонкого человека, обладающего тактом, который мне вообще приписывают, если бы выставлял напоказ свои чувства и ощущения. Поэтому читатель может поверить мне, что такая преданность баронессы живо тронула

меня. Во мне заговорил голос раскаяния, который не может быть вполне заглушен в девятнадцать лет. Я увидал пропасть, в которую влеку превосходную женщину, оказавшую мне столько великодушия. Я предвидел, что она вскоре оттолкнет с ужасом дезертира, бродягу, двоеженца, самозванца. Отдалившись от тех, кто вовлек меня в эту интригу и которые были арестованы в Намюре, я еще более утвердился в своем намерении и раз вечером, после ужина, приступил к объяснению. Не вдаваясь в подробности о своих приключениях, я сказал баронессе, что обстоятельства, которые мне невозможно было объяснять, вынудили меня появиться в Брюсселе под двумя именами, уже известными ей, но которые оба не принадлежали мне. Я добавил, что те же злосчастные обстоятельства заставляют меня оставить Нидерланды, не заключивши союза, который бы составил мое счастье, но что я навек сохраню воспоминание о ее благородстве и о всем, что она для меня сделала.

Я говорил долго, одушевленно, с жаром и легкостью, о которых сам не могу вспомнить без удивления. Я как бы страшился остановиться и услыхать ответ баронессы. Неподвижная, бледная, с пристальным взглядом, как у лунатика, она слушала, не прерывая меня. Затем, взглянувши на меня с ужасом, быстро встала и ушла в свою комнату. После того я не видал ее. Внезапно озаренная моим признанием, несколькими словами, которые могли у меня вырваться в минуту замешательства, она догадалась о грозившей ей опасности и в своей справедливой недоверчивости, может быть, сочла меня более виноватым, чем я был на самом деле. Может быть, думала она, что отдалась какому-нибудь страшному преступнику, быть может, обагренному кровью… С другой стороны, если сложность всей этой истории подделки и обмана не могла не навести ужас на баронессу, то добровольное признание, сделанное мною, должно было вместе с тем умерить ее беспокойство. Вероятно, последнее одержало верх, потому

что на другой день, проснувшись, я получил шкатулку с пятнадцатью тысячами золотом, которые баронесса прислала мне, уезжая из города в час ночи. Я с удовольствием услыхал об этом отъезде, потому что присутствие ее тяготило меня. Так как ничто более не удерживало меня в Бреде, то через несколько часов я был по дороге в Амстердам.

Я уже сказал и опять повторяю, что некоторые подробности этой истории могут показаться неестественными, а через них и все остальное примут за ложь, между тем нет ничего вернее. Впрочем, многое вполне обыкновенно и может встретиться во всяком даже маленьком романе. Я вдался в некоторые мелочные подробности не из желания добиться эффекта мелодрамы, а чтобы предостеречь доверчивых людей против одного из родов обмана, употребляемого гораздо чаще и с большим успехом, нежели думают. Такова цель этой истории. Пусть обдумают все ее детали, и, может быть, в одно прекрасное утро должности прокуроров, судей, жандармов и полицейских агентов окажутся ненужными.

Мое пребывание в Амстердаме было весьма недолгое: я сгорал желанием видеть Париж. Пустивши в ход векселя баронессы, я отправился в путь и 2 марта 1796 г. вступил в столицу, где впоследствии мое имя сделалось довольно известным. Поселившись в улице Лешель в гостинице «Веселый Лес», я прежде всего начал менять свои дукаты на французские деньги и продавать маленькие безделушки и предметы роскоши, которые уже были мне не нужны, потому что я намеревался жить в одном из окрестных городов и взяться за какое-нибудь мастерство. Но мне не пришлось осуществить этот план. Раз вечером один из тех господ, которых всегда можно найти в гостиницах и которые легко знакомятся с путешественниками, предложил мне отправиться в игорный дом. Я согласился от нечего делать, смело рассчитывая на свою опытность, приобретенную в Cafe Turc и Cafe de la Monnaie, но оказалось, что брюссельские шулера годились

бы разве только в ученики к тем артистам, с которыми мне пришлось теперь войти в состязание. В настоящее время игорная администрация имеет за собою только рефет и огромную привилегию не покидать игры, шансы же почти одни и те же. Но в те блаженные времена, о которых я повествую, когда полиция терпела игорные дома особого рода, известные под названием étouffoirs, шулера мало того, что подменивали карты и подбирали цвета, подобно захваченным недавно у Лафит гг. С… сына и А. ла-Рош, но имели между собой условные знаки, столь сложные, что нечего было и думать бороться с ними. В два приема я был освобожден от сотни луидоров, которых имел достаточно. Но, верно, суждено было ускользнуть от меня всем деньгам моей покровительницы-баронессы. Для этой цели судьба избрала в агенты хорошенькую женщину, которую я случайно встретил за табльдотом, где иногда обедал. Розина сначала выказала примерное бескорыстие. В продолжение месяца, как я был ее любовником, она ничего мне не стоила, если не считать обедов, спектаклей, цветов и т. п. вещей, которые в Париже ничего не стоят… когда за них не платят.

Все более и более влюбляясь в Розину, я не оставлял ее ни на минуту. Раз утром, за завтраком, я нашел ее озабоченной, стал приставать к ней с вопросами, на которые она сначала отнекивалась, а в заключение созналась, что ее тревожит пустячный долг модистке и обойщику. Я поспешно предложил свои услуги: мне отказывают с замечательным великодушием, так что я даже не мог получить адреса кредиторов. Многие бы успокоились на этом, но я, как истый рыцарь, суетился и допытывался до тех пор, пока горничная возлюбленной не доставила мне адреса. После того из улицы Вивьенн, где жила Розина под именем г-жи Сен-Мишель, я немедленно бросился к обойщику, в улицу Клери. Объявляю цель своего появления. Меня, конечно, встречают с большой любезностью, как водится в подобных случаях, вручают мне

счет, и я с изумлением вижу, что он простирается до тысячи двухсот франков; но отступать было невозможно; я заплатил. У модистки та же сцена, с такой же предупредительностью и со счетом во сто франков приблизительно. Было от чего охладиться самому неустрашимому поклоннику; но этим не кончилось дело. Чрез несколько дней по удовлетворении этих кредиторов меня ловко заставили накупить на две тысячи франков драгоценных вещей, а всевозможные удовольствия продолжали идти своим чередом. Я со смущением видел, как исчезают мои денежки, но страшась проверить свою кассу, со дня на день откладывал эту проверку. Однако пришлось приступить к ней, и я узнал, что в два месяца издержана пустячная сумма в четырнадцать тысяч франков. Это открытие навело меня на серьезное раздумье, которое тотчас же было замечено Розиной. Она догадалась, что финансы мои клонятся к упадку; женщины имеют в этом отношении какое-то особенное чутье, которое редко их обманывает. Не оказывая мне прямой холодности, она сделалась более сдержанной, и на мое удивление по этому поводу отвечала с особенной резкостью, «что расстройство собственных ее дел приводит ее в дурное расположение». Это была новая ловушка; но я слишком дорого поквитался за вмешательство в ее дела, чтобы попасть опять на ту же удочку; поэтому я ограничился замечанием, что надо иметь терпение. Это ее сделало еще более угрюмой. Таким образом прошло несколько дней; наконец бомба разразилась.

Вследствие весьма незначительной размолвки она высказала мне самым грубым тоном, что «не любит, чтобы ей противоречили, и что кто не может помириться с ее образом жизни, тот пусть отправляется восвояси». Кажется, было сказано довольно ясно, а я имел слабость не обратить на это внимания. Новые подарки возвратили мне на несколько дней нежность, насчет которой я, впрочем, не мог уже более обманываться. Тогда Розина, хорошо зная, чего можно ожидать от

моего слепого увлечения, снова стала требовать две тысячи франков, которые она должна была уплатить по векселю под страхом быть осужденной на заключение. Розина в тюрьме! Это мне было невыносимо, и я снова готов был на жертвы, когда случайно попало мне в руки письмо, раскрывшее мне глаза.

Оно было от сердечного друга Розины, который из Версаля задавал ей вопрос, «когда же глупец останется без гроша», чтобы иметь возможность фигурировать на его месте. Это приятное послание я перехватил у дворника и прямо с ним направился к коварной, но не застал ее дома. Взбешенный и униженный, я не мог сдерживаться. Находясь в спальне, я опрокидываю ногой столик с фарфором, и большое зеркало Психеи разлетается вдребезги. Горничная, не терявшая меня из вида, бросилась на колени и умоляла прекратить погром, который мог мне обойтись слишком дорого. Я смотрю на нее, колеблюсь, и остаток здравого смысла показывает мне, что она может быть права. Осаждаю ее вопросами, и эта славная девушка, отличавшаяся кротостью и добротою, объяснила мне поведение госпожи. Рассказ ее весьма полезно передать, тем более, что подобные вещи ежедневно повторяются в Париже.

До встречи со мной Розина в продолжение двух месяцев никого не имела. Вообразив, что я богат, судя по тратам, которые делались, она составила план, чтоб воспользоваться случаем; любовник ее, письмо которого попалось мне, согласился прожить в Версале до тех пор, пока покончатся мои деньги. Вексель, по которому преследовали Розину и который я столь великодушно уплатил, был на имя этого любовника; модистка и обойщик были также вымышленными кредиторами.

Горько досадуя на собственную глупость, я в то же время удивлялся, что благородная особа, так ловко меня обобравшая, все еще не возвращалась. Девушка сказала на это, что

дворничиха предупредила ее о том, что она получила от Розины письмо и что она не вернется. Это оказалось справедливым. Узнавши о катастрофе, помешавшей обобрать меня до последней нитки, Розина отправилась в Версаль к возлюбленному. Оставленные ею пожитки не стоили того, что нужно было уплатить за два месяца за квартиру. Когда я намеревался уйти, то хозяин потребовал плату за фарфор и зеркало, на которых я излил свою ярость.

Столь сильный ущерб значительно подорвал мои финансы, и без того сильно расстроенные. Тысяча двести франков, вот все, что осталось от щедрых даяний баронессы. Я получил отвращение от столицы, принесшей мне столько вреда, и решился отправиться в *Лилль*, где, при своих знакомствах, я все-таки мог найти средства к существованию.

Глава четвертая

Цыгане. — Фламандская ярмарка. — Возвращение в Лилль и первое сближение с Франсиной. — Исправительный суд. — Башня Св. Петра. — Подлог

Как военная крепость и пограничный город Лилль представлял многие преимущества для тех, кто, подобно мне, мог отыскать там полезных знакомых, или в гарнизоне, или в том кругу людей, которые, как бы стоя одной ногой во Франции, другой в Бельгии, в действительности не имели оседлости ни в той, ни в другой стороне. Принимая в расчет все это, я надеялся выйти из затруднения и не обманулся. В 13-м егерском полку я нашел многих офицеров 10-го и в числе их лейтенанта Вилледье, который впоследствии явится на сцену. Все они знали меня в полку под одним из тех имен, которые было тогда в обычае принимать, и потому нисколько не удивились моему новому имени Руссо. Целые дни я проводил с ними в кофейной или фехтовальной зале; но в этом мало было прибыли, и я видел, что скоро совсем останусь без денег. В это время один из обычных посетителей кофейной, которого прозвали капиталистом за его правильный образ жизни и который несколько раз обращался ко мне со свойственной ему любезностью, стал с участием говорить о моем положении и предложил мне путешествовать вместе с ним.

Путешествовать — вещь весьма хорошая, но в качестве кого? Я уже не был того возраста, когда можно вдруг наняться в паяцы или в услужение ходить за обезьянами и медведями, и, конечно, никто не вздумал бы мне предложить ничего подобного, но, во всяком случае, надо было иметь определенное положение; поэтому я скромно спросил своего нового покровителя, какого рода обязанности будут возложены на меня. «Я странствующий врач, — сказал этот человек, густые бакенбарды которого и смуглый цвет лица придавали ему

нечто особенное, — и лечу также секретные болезни с помощью одного верного средства. Лечу животных и еще недавно вылечил лошадей эскадрона 13-го егерского полка, от которых уже отказался полковой ветеринар». Ну, подумал я, опять шарлатан… Но отступать было невозможно. Мы уславливаемся завтра утром отправиться в путь и с этой целью сойтись в пять часов у Парижских ворот.

Я аккуратно явился в назначенный час. Спутник мой также пришел и, увидя в руках рассыльного мой чемодан, сказал, что его незачем брать, потому что мы отправимся только на три дня и пешком. Мне пришлось отослать вещи назад в гостиницу, и мы пустились в путь довольно быстро, потому что надо было до полудня пройти пять миль. К этому времени мы действительно достигли уединенной гостиницы, где товарища моего встретили с распростертыми объятиями и называли Кароном, именем, которое было для меня ново, потому что прежде все его звали Христианом. Обменявшись несколькими словами, хозяин дома прошел в свою комнату, вынес оттуда два или три мешка, наполненные талерами, и положил их на стол. Мой товарищ взял их, стал разглядывать один за другим со вниманием, которое показалось мне притворным, отложил в сторону сто пятьдесят и такую же сумму отсчитал фермеру различной монетой, прибавя сверх того шесть крон. Я ничего не понял из этой процедуры, к тому же она сопровождалась фламандским наречием, которое я плохо понимаю. Поэтому я был весьма удивлен, когда по выходе из фермы, куда Христиан обещал скоро прийти опять, он дал мне три кроны, говоря, что я должен иметь свою долю в барышах. Я не понимал, откуда могли получиться барыши, и заметил ему это. «То мой секрет, — отвечал он таинственно, — впоследствии ты узнаешь его, если я буду тобою доволен». На мое удостоверение, что в скромности моей он не может сомневаться, так как я ничего не знаю, исключая разве

того, что он выменивает талеры на другую монету, он сказал, что об этом-то именно и следует молчать, во избежание конкуренции. Объяснение на том и покончилось; я взял деньги, сам не зная, что из всего этого выйдет.

В продолжение четырех следующих дней мы не переставали делать подобные визиты в различные фермы, и каждый вечер я получал две или три кроны. Христиан, которого постоянно звали Кароном, был весьма известен в этой части Брабанта, но только как медик: хотя он продолжал операцию денежной мены, но разговор постоянно и везде велся только о болезнях людей и животных. Кроме того, я заметил, что он пользовался репутацией человека, умеющего избавлять животных от порчи и сглаза. При входе в деревню Вервик он вдруг посвятил меня в тайну своей магии.

— Можно на тебя положиться? — спросил он, приостанавливаясь.

— Без сомнения, — отвечал я, — но все-таки надо прежде узнать, в чем дело.

— Слушай и смотри…

Тогда он вынул из сумки четыре четырехугольных пакета, таких, какие бывают в аптеках, и, по-видимому, содержащих специфическое лекарство; затем сказал:

— Ты видишь четыре фермы, построенные на некотором расстоянии одна от другой: пройди в них задами, стараясь всячески не быть положительно никем замеченным. Ты войдешь в хлева или конюшни и высыпешь в ясли эти четыре порошка… Особенно берегись, чтобы тебя не увидели… Остальное уже мое дело.

Я сделал возражение, что меня могут застать в ту минуту, как я буду лезть на забор, остановить и наделать весьма затруднительных вопросов. Я наотрез отказался, несмотря на перспективу получки крон; все красноречие Христиана не могло изменить моего решения. Я даже сказал ему, что тотчас же его оставлю, если он не объявит мне моего настоящего

занятия и не объяснит тайну размена денег, которая мне кажется страшно подозрительной. Такое требование, повидимому, смутило его, и, как читатель увидит, он вздумал отделаться полуоткровенностью.

— Где моя родина? — сказал он, отвечая на мой последний вопрос. — У меня ее нет… Мать моя, повешенная год тому назад в Темешваре, в то время, как я явился на свет в одной из деревень Карпатских гор, принадлежала к цыганскому табору, кочевавшему по границам Венгрии и Банната… говорю, к цыганскому, чтобы тебе было понятнее, хотя нас не так зовут; промеж себя мы называемся Romamichels, на языке, которому нам запрещено учить кого бы то ни было; нам также запрещено путешествовать в одиночку, отчего мы кочуем толпою от пятнадцати до двадцати человек. Мы долго во Франции промышляли колдовством с помощью веры в порчу и в сглаз; теперь это ремесло идет плохо: мужик француз стал слишком проницателен, поэтому мы бросились во Фландрию; там более суеверия, и различие монет дает нам возможность успешно вести свое дело… Я три месяца пробыл в Брюсселе по особенным делам, но теперь я все покончил и через три дня присоединюсь к своему табору на мехельнской ярмарке… От тебя зависит пристать к нам или нет… Ты мог бы быть нам полезным, но только без ребячеств, конечно!!!

Отчасти затруднительное положение и незнание, куда приклонить голову, отчасти любопытство и желание довести приключение до конца заставили меня согласиться следовать за Христианом, не зная хорошенько, на что я мог быть ему годен. На третий день мы прибыли в Мехельн, где он объявил, что вернемся в Брюссель. Пройдя город, мы остановились в Лувенском предместье, пред весьма жалким домишком; почерневшие ставни его были изборождены глубокими трещинами и разбитые стекла заменялись огромными пуками соломы. Была полночь; я имел возможность делать свои

наблюдения при лунном свете, потому что прошло добрых полчаса, пока пришла отворить нам одна из страшнейших старушенций, которых мне когда-либо приходилось видеть. Нас ввели в обширную залу, где человек тридцать обоих полов курили и пили, беспорядочно разместившись в угрожающих или неприличных позах. У мужчин под синими балахонами с красным шитьем надеты были голубые бархатные куртки с серебряными пуговицами, какие встречаются у погонщиков лошаков в Андалузии; все женщины были в одежде ярких цветов; иные лица были ужасны, несмотря на праздничную обстановку. Однообразный звук барабана, сопровождаемый воем двух собак, привязанных к ножкам стола, аккомпанировал странные песни, которые можно было принять за погребальные. Дым от табаку и дров, наполнявший этот вертеп, едва позволял наконец различить посреди комнаты женщину в ярко-красном тюрбане, которая танцевала дикий танец, принимая при этом самые сладострастные позы.

При нашем входе праздник прервался. Мужчины подошли подать руку Христиану, женщины его поцеловали, затем все глаза устремились на меня, который стоял перед ними в довольно смущенной позе. Я слышал про цыган множество историй, не имевших в себе ничего успокоительного. Мое беспокойство могло внушить их недоверие, они легко могли сделать со мной что угодно, и никто никогда не узнал бы о том, потому что никто не должен был знать о моем пребывании в этом притоне. Мое беспокойство сделалось настолько заметным, что поразило Христиана, который надеялся меня ободрить сообщением, что мы находимся у Герцогини, в полнейшей безопасности. Во всяком случае аппетит заставил меня принять участие в празднестве; кружка так часто наполнялась можжевеловой водкой и так часто опустошалась, что я почувствовал потребность улечься в постель. Когда я сообщил об этом Христиану, он повел меня в

соседнюю комнату, где на свежей соломе уже спали некоторые цыгане. Я не отличался особенной разборчивостью, но не мог не заметить своему хозяину того, что он, всегда имевший хорошие ночлеги, теперь выбрал столь плохой. На это он отвечал, что везде, где находились дома племени Romamichels, обязательно было останавливаться в них под опасением быть заподозренным в вероломстве и понести за то наказание. Впрочем, на этом солдатском ложе улеглись и женщины и дети, и их скорый сон показал, что они к нему привыкли.

С рассветом все были на ногах и принялись совершать туалет. Если бы не их резкие черты, не волосы, черные как смоль, если бы не лоснящаяся, медного цвета кожа, то я едва ли бы узнал моих вчерашних сотоварищей. Мужчины, одетые богатыми голландскими барышниками, с кожаными мешками за поясом, как их обыкновенно можно было встретить на реке Пуаси. Женщины, увешанные золотыми и серебряными украшениями, имели костюмы крестьянок Зеландии. Даже дети, бывшие вчера в лохмотьях, теперь были чисто одеты и старались состроить другую физиономию. Вскоре все вышли из дома и направились различными дорогами, чтобы не прийти вместе на рынок, куда уже стекались толпы из соседних деревень. Христиан, видя, что я намерен за ним следовать, сказал, что я ему не нужен во весь день и могу отправляться, куда мне угодно, до самого вечера, когда мы должны были сойтись опять у Герцогини.

Еще наконец он сказал мне, что насчет моего ночлега с табором не было ничего решено; поэтому я начал с найма себе ночлега в гостинице. Затем, не зная, как убить время, отправился я на ярмарку; не успел я прийти, как нос к носу столкнулся с прежним нашим батальонным офицером, по имени Мальгаре, которого знал в Брюсселе занимающимся в Cafe Turc составлением довольно подозрительных партий. После первых приветствий он спросил о причине моего пребыва-

ния в Мехельне. Я рассказал ему целую историю; он со своей стороны сделал то же относительно своей поездки, и мы оба остались довольны, каждый воображая, что обманул другого. Слегка закусивши, мы возвратились на ярмарку, и во всех местах, где было стечение народа, я встречал несколько нахлебников Герцогини. Сказавши старому знакомому, что я никого не знал в Мехельне, я старался от них отворачиваться, чтобы не быть узнанным: я не намерен был признаваться в таком знакомстве. Но мой спутник был слишком хитер, чтобы позволить себя обмануть.

— Вот, — заметил он, глядя на меня пристально, — странно, что эти люди смотрят на вас так внимательно… Или вы их знаете?

Я отвечал, не оборачивая головы, что даже не имею понятия, кто такие они.

— Кто они такие? — отвечал мой собеседник. — С удовольствием сообщу вам это… предполагая, что вы того не знаете… Это воры!

— Воры! — воскликнул я. — А почем вы знаете?

— Вы сами это узнаете тотчас же, если последуете за мною; можно держать большое пари, что мы недалеко уйдем, чтобы видеть их за делом! Да вот посмотрите-ка лучше!

Действительно, поднявши глаза к группе, образовавшейся у зверинца, я ясно увидел, как один из мнимых барышников утащил кошелек у толстого содержателя зверей и как последний после разыскивал его по всем своим карманам самым тщательным образом. Цыган же вошел в лавку ювелира, где уже были две его товарки-зеландки, и спутник мой уверял, что он не выйдет оттуда, не стянувши нескольких драгоценных вещей, которые им показывали. Мы оставили свой наблюдательный пост, чтобы идти вместе обедать. После обеда, видя, что офицер расположен поболтать, я стал упрашивать его подробнее рассказать мне, что это были за люди,

на которых он обратил мое внимание, и добавил, что как бы ему там ни казалось, а я имею о них весьма сбивчивое понятие. Наконец он решился удовлетворить мое любопытство и сообщил следующее:

«В гентской тюрьме, где я провел шесть месяцев несколько лет тому назад за маленькую партию с поддельными игральными костями, я имел случай узнать двух господ из этой шайки, которую нахожу здесь в Мехельне; мы сидели в одной палате. Так как я выдавал себя за отъявленного вора, то они доверчиво рассказали мне свои фокусы и даже познакомили со всеми подробностями своей странной жизни. Они прибыли из молдавских деревень, где сто пятьдесят тысяч их братии прозябают, подобно евреям в Польше, не имея возможности занять другой должности, кроме должности палача. Имя их разнится по странам, где они находятся; так в Германии их зовут цигинер (ziguiners), в Англии — жипсе (gipsy), в Италии — зенгари (zingari), в Испании — гитано (gitanos), и наконец во Франции и Бельгии — богемцы (bohemiens); они путешествуют по всей Европе, занимаясь самыми унизительными и самыми опасными ремеслами: стригут собак, гадают, склеивают посуду, лудят медь, угощают отвратительной музыкой у дверей гостиниц, спекулируют шкурами кроликов и обменивают иностранную монету.

Они занимаются также продажей специфических средств от болезней животных и для большего сбыта подсылают на фермы своих доверенных, которые под каким-либо предлогом входят в хлева и насыпают в ясли какого-нибудь снадобья, от которого животные заболевают. Затем являются они сами, и их принимают с распростертыми объятиями. Зная причину болезни, они легко уничтожают зло, и доверчивый земледелец не находит слов, как выразить им свою благодарность, Это еще не все; уходя с фермы, они осведомляются, нет ли у хозяина монет такого-то и такого-то года, того или другого чекана, обещая купить их дороже. Заинтересованный

крестьянин, как всякий, редко и с трудом имеющий случаи зашибить лишний грош, спешит показать им свою казну, из которой часть они всегда ухитряются украсть. Кто поверит, что этот маневр они иногда употребляют несколько раз безнаказанно в одном и том же доме? Пользуясь этими обстоятельствами и знанием местности, они указывают своим товарищам по ремеслу уединенные, богатые фермы и средства туда проникнуть, конечно, получая за это свою долю барыша».

Мальгаре сообщил еще много о цыганах, что заставило меня принять твердое намерение немедленно оставить это опасное общество. Он все еще говорил, поглядывая по временам на улицу, в окно, у которого мы обедали. Вдруг раздался его возглас: «Взгляни, пожалуйста, на этого цыгана, он только что выпущен из гентской тюрьмы!» Я взглянул и, к удивлению, увидал… Христиана, шедшего весьма скоро и с озабоченным видом. Я не мог воздержаться от восклицания. Мальгаре, пользуясь тревогой, в которую повергли меня его открытия, без труда заставил меня рассказать ему, каким образом я сошелся с цыганами. Видя, что я твердо решился уйти от них, он предложил мне отправиться в Куртре, где ему предстояло, как он говорил, составить несколько хороших партий. Взявши из гостиницы свои вещи, принесенные туда от Герцогини, я отправился опять в путь с новым товарищем; но мы не нашли в Куртре ожидаемых лиц, которых Мальгаре рассчитывал пощипать, и вместо выигранных денег вылетели наши собственные. Не надеясь более их дождаться, мы вернулись в Лилль. У меня еще была сотня франков. Мальгаре стал на них играть и проиграл их вместе с остатком собственных. Впоследствии я узнал, что он сговорился со своим партнером обобрать меня.

В такой крайности мне пришлось прибегнуть к своим знаниям: несколько фехтовальных учителей, которым я сообщил о своем затруднительном положении, устроили

в мою пользу ассо[3], доставши мне сотню талеров. С этой суммой, на время избавившей меня от нужды, я снова начал посещать общественные увеселения, балы и т. п. В это-то время я заключил связь, последствия которой решили судьбу всей моей жизни. Нет ничего проще начала этого важного эпизода моей истории. Я встретился с одной камелией, с которой вскоре вошел в интимные отношения. Франсина, так ее звали, казалась весьма расположенной ко мне и беспрестанно уверяла в своей верности, что не мешало ей иногда тайком принимать у себя инженерного капитана. Раз я застаю их за ужином наедине у трактирщика, на площади Риур; в страшной ярости я бросаюсь на них с кулаками. Франсина за благо рассудила бежать, но товарищ ее остался. И вот возникла жалоба на мое насилие; меня арестуют и увозят в тюрьму Petit-Hotel. Во время разбирательства дела меня часто навещали многие дамы из моих знакомых, поставивших своей обязанностью утешать меня. Франсина узнает об этом, ревность ее возбуждается, она спроваживает беднягу капитана, отказывается от жалобы, которую вместе с ним принесла на меня, и в заключение просит дозволить ей видеться со мной; я имел слабость согласиться. Судьи сочли этот факт за злоумышленный заговор против капитана между мною и Франсиной. Я оказался присужденным к заключению в тюрьме на три месяца.

Из Petit-Hotel меня препроводили в Башню Святого Петра, где засадили в отдельную комнату, называвшуюся Oeil de Boeuf. Франсина занимала у меня одну половину дня, а другую я проводил в обществе арестантов. Между ними были два фельдфебеля, Груар и Гербо (последний — сын сапожника), оба осужденные за подлог, и крестьянин Буатель, осужденный на шесть лет заключения за кражу зернового хлеба. Буатель, будучи отцом многочисленной семьи, постоянно жаловался, что у него отняли возможность обрабатывать его

[3] Ратоборство в фехтовальном искусстве.

маленький участок, который только его усилиями мог быть поставлен в надлежащее состояние. Несмотря на сделанный им проступок, им интересовались, или скорее его детьми, и многие из обывателей ходатайствовали за него, но безуспешно; бедняк в отчаянии часто повторял, что заплатил бы очень порядочную сумму за свое освобождение. Груар и Гербо, находившиеся в Башне Святого Петра до отправления в каторжные работы, решились быть ему полезными с помощью прошения, которое они сочинили сами. Составленный ими план был для меня весьма гибелен.

Вскоре Груар объявил, что не может спокойно работать при таком шуме, в зале, наполненной восемнадцатью или двадцатью заключенными, которые пели, болтали или ссорились целый день. Буатель, оказавший мне самому некоторые услуги, просил пустить в мою комнату составителей прошения, и я, хотя неохотно, согласился и позволил им проводить там четыре часа ежедневно. На другой же день они там поместились, и сам тюремщик ходил туда тайком. Эта таинственность тотчас же возбудила бы подозрение во всяком, сколько-нибудь знакомом с тюремными интригами; но я, чуждый всего этого, развлекавшийся попойкой с друзьями, посещавшими меня, мало обращал внимания на то, что происходило в Oeil de Boeuf.

Дней через восемь меня поблагодарили за мое одолжение, объявив мне, что просьба готова и что можно надеяться на помилование просителя, не посылая ее в Париж, так как имелась сильная протекция у народного представителя в Лилле. Все это было довольно темно; но я не обратил внимания, думая, что, не принимая никакого участия в деле, я не имел ни малейшей причины беспокоиться, хотя оно принимало оборот, который должен бы был заставить призадуматься. Не прошло двух суток по окончании просьбы, как приехали два брата Буателя и обедали с ним за столом тюремщика. После обеда вдруг является вестовой и передает тюремщику пакет; развернув его, последний восклицает:

«Добрая новость, ей-Богу! Это приказ освободить Буателя». При этих словах все с шумом встают, целуются, смотрят приказ, поздравляют Буателя, который, отправя все свои вещи еще накануне, немедленно оставил тюрьму, не простившись ни с одним из заключенных.

На другой день, в десять часов утра, тюремный инспектор пришел для осмотра тюрьмы. Тюремщик показал ему приказ об освобождении Буателя; едва взглянув на него, инспектор прямо сказал, что приказ фальшивый, и не велел выпускать Буателя до тех пор, пока не будет об этом донесено начальству. На это тюремщик возразил, что Буатель еще вчера выпущен на свободу. Инспектор выразил свое удивление, заметив, что нужно быть слишком недальновидным, чтоб позволить себя обмануть приказом с фальшивыми подписями, причем приказал ему никуда не отлучаться, а сам поехал к высшему начальству, где и удостоверился, что, независимо от фальшивых подписей, в нем есть ошибки и отступления от формы, которые не могут не броситься в глаза всякому мало-мальски знакомому с этого рода бумагами.

Я стал подозревать истину и пытался заставить Груара и Гербо высказать мне ее вполне, смутно догадываясь, что это дело может меня компрометировать; но они божились всеми святыми, что ничего другого не делали, кроме посылки прошения, и сами удивлялись столь быстрому успеху. Я не верил ни слову, но, не имея никаких доказательств противного, должен был успокоиться на этом. На следующий день меня позвали в регистратуру. На вопросы судебного следователя я отвечал, что ничего не знаю о составлении поддельного приказа и что только давал свою комнату как единственное спокойное место в тюрьме для составления оправдательной просьбы; я прибавил, что все это может подтвердить и тюремщик, так как он часто входил в комнату во время работы, по-видимому, принимая большое участие в Буателе. Груар и Гербо были также спрошены и посажены в секретную; я же

оставался в своей комнате. Тюремный товарищ Буателя раскрыл мне всю интригу, которую я едва только подозревал.

Груар, слыша постоянно, как Буатель охотно обещал сто талеров за свою свободу, сговорился с Гербо насчет этого, и они не нашли ничего удобнее, как составить подложный приказ. Буатель, конечно, был посвящен в тайну, и ему сказали при этом, что так как приходилось поделиться со многими, то он должен дать четыреста франков. Тогда-то обратились ко мне с просьбою о комнате, которая была необходима для писанья подложного приказа; тюремщик тоже был соучастником, как можно судить из его частых визитов в мою комнату и из обстоятельств, предшествовавших и последовавших за выходом Буателя. Приказ был принесен другом Гербо, по имени Стофле. По всей вероятности, Буателя убедили, что и я буду участвовать в барышах, хотя все моя услуга заключалась только в уступлении комнаты. Извещенный обо всем этом, я сначала уговаривал того, кто сообщил мне подробности, донести куда следует, но он наотрез отказался, говоря, что не желает выдавать тайну, вверенную под клятвой, и притом не желал быть рано или поздно убитым заключенными за подобную измену. Он даже меня отговорил заикаться о чем-либо судебному следователю, уверяя, что я не подвергнусь ни малейшей опасности. Между тем Буателя арестовали на родине; посаженный в секретное отделение в Лилль, он назвал соучастниками побега Груара, Гербо, Стофле и Видока. Мы снова были спрошены и, твердый в своем решении, я упорно оставался при своих первых показаниях, тогда как мог тотчас же выпутаться из дела, передавши все, что знал от товарища Буателя; я даже до такой степени был убежден, что насчет меня ничего не могло быть серьезного, что меня как громом поразило, когда по истечении трех месяцев, рассчитывая выйти, я вдруг узнал, что внесен в тюремный список как подсудимый за участие в подлоге подлинных и публичных документов.

Глава пятая

Три побега. — Я победоносно раскланиваюсь со своими преследователями, засаженными под арест. — Я безнадежно увяз в дыру. — Шайка поджаривателей (chauffeurs) и новый ловкий побег. — Самоубийство. — Обвинение в убийстве, процесс и оправдание. — Новый побег. — Контрабандисты. — Меня снова арестовали

Тогда только я начал думать, что все это дело примет дурной оборот для меня; но отпирательство от прежнего показания, не подтвержденное никакими доказательствами, было бы опаснее самого молчания; да и притом было поздно прерывать его. Все эти мысли так сильно меня волновали, что я сделался болен, и Франсина все время усердно за мной ходила. Выздоровевши, и не будучи в состоянии долее выносить неопределенное положение я решился бежать, и бежать просто через двери, хотя это и казалось довольно трудным: некоторые особенные соображения заставили меня предпочесть этот способ всякому другому. Привратник Башни Святого Петра был арестант из брестского острога, осужденный на вечную каторгу; при пересмотре приговоров, по своду Законов 1791 года, ему смягчили наказание шестилетним заключением в *Лилль*, где он оказался полезным тюремщику. Последний, думая, что человек, проведший четыре года в остроге, будет драгоценен в качестве сторожа, потому что ему должны быть известны все способы побегов, поручил ему эту должность и решил, что лучше выбора нельзя было сделать. Но я на это-то чудо проницательности и рассчитывал в своем плане и тем легче надеялся обмануть, что он был в ней слишком уверен. Словом, я решился пройти мимо привратника в мундире штаб-офицера, приезжавшего два раза в неделю для освидетельствования Башни Святого Петра, служившей в то же время тюрьмой и для военных.

Франсина, которую я видал почти ежедневно, купила мне требующийся костюм и принесла его в своей муфте. Платье было совершенно впору и сидело отлично. Видевшие меня в нем заключенные сказали, что нельзя ошибиться. Я действительно был одного роста со штаб-офицером, а гримировка сделала меня на двадцать пять лет старше. Через несколько дней он приехал для обычного осмотра. Пока один из моих друзей приостановил его, под предлогом освидетельствовать провизию, я быстро переоделся и очутился у ворот; привратник почтительно снял шляпу, отворил, и вот я на улице. Я направился к подруге Франсины, как было условлено между нами, а вскоре за тем и она сама пришла туда же.

Там я был совершенно огражден от поисков, если бы согласился не выходить, но как вынести заключение почти такое же, как и в Башне Святого Петра! Просидевши три месяца в четырех стенах, я теперь жаждал расправить крылья и пустить в ход свою деятельность. Я захотел выйти, и, благодаря своей железной воле, сопровождавшей всегда все мои даже самые странные желания, — я вышел. Первая прогулка мне удалась. На следующий день я встретил на улице городового Людвига, который видал меня в тюрьме и теперь прямо спросил: «Разве вы освобождены?» Это была плохая встреча, и притом он мог немедленно созвать человек двадцать. Я отвечал, что готов за ним следовать, и просил только дозволения проститься с Франсиной. Он согласился, и возлюбленная моя была чрезвычайно удивлена, встретив меня с подобным провожатым. Я сказал ей, что изменил намерение, и, размыслив, что побег может повредить мне во мнении судей, решился возвратиться в тюрьму и ожидать окончания дела.

Франсина сначала не могла сообразить, каким образом, заставя ее издержать триста франков, я через четыре месяца вздумал возвращаться в тюрьму; но я знаками дал ей понять, в чем дело, и даже сумел попросить насыпать мне в карман золы, пока мы с Людвигом разопьем по стакану рома. На пути

в тюрьму, в одной из пустынных улиц, я бросил в глаза своему спутнику золы, а сам пустился бежать домой изо всех сил.

Людвиг не замедлил обо всем донести. На поиски за мной подняли жандармов, полицию и, между прочим, частного пристава Жаккара, который обещался всенепременно поймать меня, если только я не выехал из города. Все это было мне известно, и вместо того, чтобы быть сколько-нибудь острожнее, я напустил на себя самую смешную отвагу. Можно было подумать, что я сам получу награду за свой арест, между тем меня усердно выслеживали.

Жаккар узнает раз, что я должен обедать в улице Notre Dame, в игорном доме. Он тотчас же прибегает с четырьмя полицейскими, оставляет их внизу и входит в комнату, где я только что намеревался сесть за стол с двумя дамами. Фурьер, который должен был присоединиться к нам, еще не появлялся. Я узнаю частного пристава, который, никогда меня не видав в лицо, не имеет этого преимущества; притом я так хорошо был переряжен, что никакие приметы не помогли бы. Я подхожу к нему без малейшего замешательства и самым натуральным тоном прошу войти в кабинет, зеркальная дверь которого выходила в залу.

— Вы ищете Видока, — сказал я ему прямо, — если хотите подождать минут десять, то я вам покажу его… Вот его прибор, он не замедлит явиться… При его приходе я сделаю вам знак, но если вы одни, то сомневаюсь, чтобы вы могли его взять, потому что он вооружен и решился защищаться.

— У меня по лестнице расставлены люди, и если он убежит…

— Сохрани вас Боже оставлять их там, — возразил я с притворной поспешностью. — Если Видок их увидит, он будет страшиться какой-нибудь засады, и тогда… прости, птичка…

— Но куда же мне их спрятать?

— А вот в этот кабинет… Особенно, ради Бога, без шуму, иначе ничего не удастся… Я больше вашего заинтересован в том, чтобы его удалить.

И вот мой почтенный пристав со своей свитой ловко засажены в кабинет. Дверь была весьма крепкая и приперта мною в два раза. Тогда, уверенный в благоприятном побеге, я закричал своим добровольным пленникам: «Вы искали Видока… так знайте же, что Видок засадил вас в клетку. До счастливого свидания!» И я исчез, как стрела, сопровождаемый криками заключенных, делавших невероятные усилия освободиться из засады и взывающих о помощи.

Еще две шалости в подобном же роде удались мне, но в заключение я все-таки был пойман и помещен в Башню Святого Петра, где, для большей безопасности, меня посадили в тюрьму вместе с Каландреном, которого наказывали за две попытки к побегу. Каландрен, знавший меня во время моего первого заключения, тотчас же сообщил мне о своей новой попытке к побегу посредством отверстия, сделанного в стене тюрьмы каторжников, с которой мы были рядом. На третий день моего заключения меня действительно вынудили бежать. Восемь из нас, прошедших вперед, были счастливым образом не замечены часовым, стоявшим неподалеку. Оставалось еще семь. Кинули жребий соломинками, как это обыкновенно делают в подобных случаях, чтобы решить, кому идти первому. Судьба назначила меня, и я раздевался, чтобы удобнее пройти сквозь весьма узкое отверстие, но, к великому отчаянию моих товарищей, я засел в нем и не мог пройти ни взад ни вперед. Тщетны были их усилия вытащить меня руками: я был как бы в тисках, и боль от этого положения сделалась столь нестерпимой, что, потерявши надежду на помощь изнутри, я стал звать часового. Он подошел с осторожностью человека, боящегося неожиданностей, и, приставив штык к моей груди, запретил мне делать малейшее движение. На его крики караул взялся за оружие, привратники сбежались с факелами, и я

был вытащен из засады, оставя там несколько клочков мяса. Несмотря на мое плачевное положение, меня тотчас же перевели в тюрьму Petit-Hotel и сковали руки и ноги.

Мои мольбы и обещания оставить всякую мысль о побеге были настолько убедительны, что через десять дней я был выпущен оттуда и посажен вместе с другими заключенными. До сих пор я жил с людьми, далеко не безупречными, с ворами, мошенниками, поддельщиками, но тут я очутился с отъявленными злодеями. Между ними был один из моих соотечественников, по имени Десфоссо, человек с замечательным умом и огромной силой, который, будучи приговорен с восемнадцати лет к каторжным работам, три раза бегал из острога. Стоило только послушать, как он рассказывал о своих подвигах, как холодно говорил, что когда-нибудь гильотина состряпает из его мяса славные сосиски. Несмотря на невольный ужас, внушаемый мне этим человеком, я любил его расспрашивать о его странной профессии, и что особенно влекло меня к нему, это надежда на возможность побега. В то же время я сблизился со многими личностями из шайки так называемых шофферов или поджаривателей, грабившей окрестные села под начальством знаменитого Салламбье. Таковы были: Август Пуассар, по прозванию Провансалец, Шопин, Карон-младший, Карон Горбач, Дугамель и Брюкселюа, прозваный Неустрашимым за беспримерный подвиг мужества, который стоит того, чтобы сообщить о нем читателю. Напавши на одну ферму с шестью товарищами, он просунул левую руку в отверстие, сделанное в ставне, но когда хотел ее вытащить, то почувствовал, что она затянута в глухую петлю. Жители фермы, разбуженные шумом, постарались устроить эту ловушку, так как, страшась многочисленности шайки, не смели выйти. Между тем близко было к рассвету, и воровская попытка, очевидно, не удалась. Брюкселюа видит замешательство своих спутников, и ему приходит в голову, что из боязни быть выданными они его подстрелят. Тогда он правой

рукой вынимает двухконечный нож, бывший всегда с ним, отрезает кисть руки и убегает вместе с другими, не обращая внимания на боль. Этот удивительный случай, приписываемый различным местностям, в действительности происходил близ Лилля и хорошо памятен жителям Северного департамента, которые видели казнь Безрукого, совершившего этот подвиг.

Представленный столь компетентным лицом, как мой соотечественник Десфоссо, я был принят в кругу разбойников с распростертыми объятиями. Они с утра до вечера только и делали, что обдумывали новые способы бегства. В этом случае, как и во многих других, я мог заметить, что у заключенных жажда свободы, сделавшись исключительной идеей, порождает такую невероятную изобретательность, которая человеку в спокойном состоянии никогда не может прийти в голову. Свобода!.. Все соединено с этой мыслью. Она преследует преступника во весь его длинный, праздный день, преследует в зимние вечера, которые он должен проводить в совершенной темноте, оставленный на произвол своему беспокойству и нетерпению. Войдя в тюрьму, вы слышите шумные возгласы веселья, так что можно принять ее за увеселительное место; но подойдите ближе, и вы увидите, что эти физиономии делают гримасы, а глаза не смеются: они неподвижны и суровы. Это условное веселье вполне искусственно в своем необузданном проявлении, подобно радости шакала, прыгающего в клетке с целью сломать ее.

Зная, с какими людьми имеют дело, наши сторожа столь тщательно за нами смотрели, что ни один план не мог нам удаться. Наконец представился единственный случай, обещавший успех, и я ухватился за него прежде, чем он мог прийти в голову кому-либо из моих сотоварищей, при всей их ловкости и дальновидности. Нас повели на допрос восемнадцать человек зараз и оставили в передней судебного следователя, под охраной армейских солдат и двух жандармов,

один из которых положил возле меня свою шапку и шинель и вышел; другого жандарма звонок тоже вскоре вызвал. Я, не думая долго, накидываю шапку на голову, закутываюсь в шинель, беру за руку одного из заключенных и, делая вид, что провожаю его за известной надобностью, смело иду к двери; сторож-капрал выпускает нас, не говоря ни слова. И вот мы на воле, но что делать без денег и без паспорта?.. Спутник мой отправляется в деревню, а я, рискуя снова быть пойманным, возвращаюсь к Франсине, которая от радости свидеться со мною готова все свое распродать и бежать со мной в Бельгию. Все уже готово было к отъезду, как вдруг самый неожиданный случай, объясняемый только моей невообразимой беспечностью, все разрушил.

Накануне отъезда, уже в сумерках, я встретился с одной женщиной из Брюсселя, по имени Элиза, с которой я там находился в интимных отношениях. Она бросилась мне на шею и, преодолев мое слабое отнекиванье, зазвала с собой ужинать и не пустила до следующего дня. Отыскивавшую меня повсюду Франсину я уверил, что, будучи преследуем полицией, бросился в один дом, откуда нельзя было выбраться до утра. Сначала она этому поверила, но, случайно узнавши, что я провел ночь с женщиной, она разразилась ревнивыми упреками и в припадке ярости побожилась, что выдаст меня. То было, конечно, самое верное средство охранить себя от измены — засадивши меня в тюрьму. Но так как Франсина способна была это исполнить, то я и нашел благоразумным удалиться на время, пока стихнет ее гнев, а затем, вернувшись, ехать вместе. Но, имея нужду в своих вещах и не желая их требовать от Франсины из боязни новой баталии, я пошел один в квартиру. Так как она была заперта, то я вошел через окно, забрал что было мне нужно, и исчез.

Дней пять спустя, одевшись мужиком, я решился оставить избранное мной убежище в предместьи. Вхожу в город и иду к портнихе, закадычному другу Франсины, надеясь че-

рез ее посредничество примириться с последней. Она встречает меня с таким замешательством, что я, видя в этом боязнь скомпрометировать себя сношением с беглым и не желая ее стеснять, прошу ее только позвать ко мне Франсину. Да!..» — сказала она каким-то необыкновенным тоном и, не поднимая на меня глаз, вышла. Оставшись один, я размышлял об этом странном приеме… Вдруг стучат; я отворяю, думая встретить, Франсину… Толпа жандармов и полицейских бросается на меня, схватывает, связывает и отводит к судье, который прямо начинает с вопроса, где я находился последние пять дней. Ответ мой был короток; я никогда не запутал бы лиц, давших мне убежище. Судья заметил: мне, что упрямство в правильности показания будет для меня гибельно, что дело идет о моей голове, и т. д. Я только посмеивался, видя в этом уловку вырвать признание, запугивая подсудимого. Итак, я остался при своем, и меня отвели в Petit-Hotel.

Едва я вошел на двор, как все взоры обратились на меня; стали перекликаться, перешептываться. Приписавши это моему переряживанью, я не обратил внимания на такую встречу. Меня запирают в конуру и оставляют одного, на соломе, в оковах. Через два часа является тюремщик и, притворяясь принимающим во мне участие, говорит, что мой отказ в признании, где я провел эти пять дней, может повредить мне во мнении судей. Я остаюсь непоколебимым. Проходит еще два часа. Приходят тюремщик с помощником, снимают с меня оковы и ведут в регистратуру, где уже были двое судей. Новый допрос и тот же ответ с моей стороны. Тогда меня раздевают с головы до ног; дают мне в правое плечо полновесный удар, чтобы выяснилось старое клеймо, предполагая, что я мог быть заклеймен прежде; отбирают мое платье, записывают его в протокол, и я возвращаюсь в свою конуру в холстинной рубашке и сюртуке, полусером и получерном, превратившемся уже в лохмотья и, по всей вероятности, выдержавшем поколения два арестантов.

Все это заставило меня сильно призадуматься. Очевидно было, что портниха донесла на меня, но с какой целью? Она не имела на меня ни малейшего неудовольствия. Франсина, несмотря на всю свою вспыльчивость, не обдумавши хорошенько, тоже не решилась бы на это, и если я ушел от нее на время, то это было не столько из боязни, сколько для того, чтобы не раздражать ее своим присутствием. И затем эти частые допросы, эти таинственные намеки тюремщика? Зачем спрятали мое платье?.. Я терялся в лабиринте предположений. А пока меня засадили в секретную, под наистрожайший надзор, и я провел там двадцать пять мучительных дней. Затем мне сделали следующий допрос, который выяснил дело.

— Как ваше имя?

— Эжен-Франсуа Видок.

— А звание?

— Я военный.

— Вы знаете девицу Франсину Лонге?

— Да, это моя любовница.

— Вы знаете, где она теперь находится?

— Она должна быть у одной из своих подруг, с тех пор, как продала свою мебель.

— Как имя этой подруги?

— Г-жа Буржуа.

— Где она живет?

— Улица Святого Андре, дом булочника.

— Сколько времени тому назад, как вы оставили девицу Лонге до вашего ареста?

— За пять дней перед арестом.

— Зачем вы оставили?

— Чтоб избежать ее гнева. Она узнала, что я провел ночь с другой женщиной, и в припадке ревности грозила донести на меня.

— С какой женщиной провели вы ночь?

— С прежней любовницей.

— Как ее имя?

— Элиза… Я никогда не знал ее другого имени.

— Где она живет?

— В Брюсселе, куда она, я думаю, вернулась.

— Где ваши вещи, которые были у девицы Лонге?..

— В месте, которое я укажу, если представится надобность.

— Каким образом вы могли их взять после того, как поссорились с ней и не хотели ее видеть?

— Вследствие нашей ссоры в кофейной, где она меня нашла и угрожала позвать полицию, чтоб арестовать меня. Зная ее дурной характер, я пошел домой не прямой дорогой и пришел раньше нее; имея нужду в некоторых вещах, я разломал окно и взял, что мне было нужно. Вы спрашивали, где они теперь: они в улице Спасителя, у Дюбока.

— Вы говорите неправду… Прежде чем расстаться с Франсиной, у нее в доме вы имели большую ссору… Уверяют, что вы даже прибегли к насилию!..

— Неправда… Я не видал Франсину у ней в квартире после нашей ссоры, стало быть, не мог ее обижать… Она сама может это заявить!..

— Узнаете вы этот нож?

— Да, я этот нож обыкновенно употреблял за столом.

— Вы видите, что лезвие и ручка покрыты кровью?.. Это не производит на вас никакого впечатления?.. Вы смутились!

— Да, — сказал я с волнением, — но что же случилось с Франсиной?.. Скажите мне, и я вам дам все возможные объяснения.

— Не случилось ли с вами чего особенного, когда вы пришли за своими вещами?

— Решительно ничего, насколько я помню, по крайней мере.

— Вы настаиваете в справедливости своих показаний?

— Да.

— Вы обманываете правосудие… Прекращаю допрос, чтобы дать вам время размыслить о вашем положении и о последствиях вашего упрямства… Жандармы, хорошенько смотрите за этим человеком… Ступайте!

Было поздно, когда я возвращался в свою конурку; мне принесли мою порцию; но волнение, причиненное допросом, не давало мне есть; спать также было невозможно, и я провел всю ночь, не смыкая глаз. Совершено было преступление; но над кем и кем? Зачем его взводили на меня? Я тысячу раз делал себе эти вопросы и не находил разумного разрешения; на другой день меня снова позвали на допрос. После обычных вопросов дверь в комнату растворилась, и вошли два жандарма, поддерживая женщину… Это была Франсина… Франсина бледная, обезображенная, почти неузнаваемая. Увидя меня, она лишилась чувств. Я хотел подойти к ней, но жандармы удержали меня. Ее вынесли, а я остался один с судебным следователем, который спросил меня, что неужели вид этой несчастной не побуждает меня во всем сознаться. Я снова стал уверять в своей невинности, прибавя, что даже не знал о болезни Франсины. Меня опять посадили в тюрьму, но уже не в секретное, и я мог надеяться, что скоро узнаю во всех подробностях происшествие, жертвою которого я сделался. Я спрашивал тюремщика; но мне не отвечали; написал Франсине; но меня предупредили, что письма, адресованные к ней, будут представлены в регистратуру, а что ко мне ее не пустят. Я был как на горячих угольях и наконец решился обратиться к адвокату, который, познакомившись с ходом дела, сказал мне, что я обвинен в убийстве Франсины. В тот самый день, как я ушел от нее, ее нашли умирающей, с пятью ранами, плавающею в крови. Мое быстрое исчезновение, тайный захват своих вещей, перенесенных в другое место, как бы для того, чтобы скрыть их от глаз правосудия; разломанное окошко, следы воровства, подходящие к моим шагам, — все это делало вероятною мою

преступность; вдобавок я был переряжен, что служило новой уликой: думали, что я пришел переодетым только за тем, чтобы удостовериться, что она умерла, не обвинивши меня. Даже то, что в другом случае служило бы к оправданию, на этот раз было мне же во вред: как только доктор позволил ей говорить, она заявила, что в отчаянии быть покинутой человеком, которому всем пожертвовала, решилась на самоубийство и сама себя ранила ножом. Но ее привязанность ко мне делала это свидетельство подозрительным; были убеждены, что она это говорила только чтобы спасти меня.

Адвокат перестал говорить уже с четверть часа… а я все еще слушал, как человек под влиянием кошмара. В двадцать лет я находился под тяжестью двойного обвинения — в подлоге и убийстве, не сделавши ни того, ни другого!!! Мне не раз приходило в голову повеситься в своей конуре, и я близок был к сумасшествию; но в заключение опомнился и настолько ободрился, что мог обдумывать лучшие средства к своему оправданию. В предыдущих вопросах сильно налегали на улику крови, которую рассыльный видел на моих руках, принимая от меня вещи; эта кровь была от раны, которую я сделал, разламывая окошко, и я даже мог привести» в этом двух свидетелей. Адвокат, которому я сообщил все придуманное мною, уверял, что все это, будучи присоединено к показанию Франсины, которое одно не имело бы никакой силы, непременно послужит к моему оправданию, что действительно вскоре и случилось. Франсина, хотя еще весьма слабая, пришла тотчас же со мной повидаться и подтвердила все, что я узнал о ней на суде.

Таким образом я избавился от одного страшного обвинения, но оставалось другое: мои частые побеги все замедляли ход процесса о подлоге, в котором я был замешан, так что Груар, не видя этому конца, тоже бежал. Но благоприятный исход первого обвинения подавал мне надежду, и я нимало не думал о побеге, когда неожиданно представился к тому

случай, за который я, можно сказать, ухватился инстинктивно. В комнате, где я содержался, находились пересыльные арестанты. Раз, пришедши за двумя из них, тюремщик забыл запереть дверь; увидевши это, я мигом спустился вниз и осмотрел местность. Так как было раннее утро и все арестанты спали, то я никого не встретил ни на лестнице, ни у ворот. Я уже был на воле, как тюремщик, пивший полынную водку в кабаке против тюрьмы, увидал меня и закричал: «Держите! Держите!» Но тщетны были его крики: улицы были пусты, а жажда свободы придавала мне крылья. Через несколько минут я исчез из вида и вскоре пришел в один дом в квартале Спасителя, где, я был уверен, меня не придут отыскивать. С другой стороны, надо было скорее оставить Лилль, где я был слишком известен, чтобы долго оставаться в безопасности.

Меня повсюду разыскивали, и при начале ночи я узнал, что городские ворота были заперты; выход был только через калитку, окруженную переодетыми полицейскими и жандармами, которые следили за всеми проходящими. Я решился спасаться через ров и, зная превосходно местность, в десять часов вечера пошел на бастион Notre-Dame, который считал самым лучшим местом для исполнения своего плана. Привязав к дереву нарочно заготовленную веревку, я стал спускаться; но вскоре, вследствие тяжести своего тела, стал лететь вниз с такой быстротой, что не в силах был удержать в руках жгучую веревку и пустил ее на расстоянии пятнадцати футов от земли. При падении я свихнул ногу, так что принужден был употреблять невероятные усилия, чтобы выбраться изо рва; но после того уже я положительно не мог двинуться далее. Я сидел, изрекая красноречивые проклятия на все рвы, на веревку, на свой вывих, хотя это нимало не помогало делу, когда мимо меня прошел человек, везя тачку, которые в таком большом употреблении во Фландрии. Я предложил ему шестифранковый талер, единственный, который у меня был, и он согласился довезти меня в своей тачке

до ближайшей деревни. Введя меня в свой дом, он уложил меня в постель и стал натирать мою ногу водкой с мылом; жена его также усердно помогала, не без удивления поглядывая на мой костюм, весь испачканный в грязи. У меня не спрашивали никакого объяснения, но я понимал, что его следует дать, и потому, чтобы обдумать его, я сделал вид, что весьма желаю успокоиться, и попросил их выйти. Спустя два часа я позвал их голосом пробудившегося человека и вкратце рассказал им, что, поднимая на вал контрабандный табак, я упал; товарищи мои, преследуемые досмотрщиком, должны были оставить меня во рву. Ко всему этому я прибавил, что судьба моя в их руках. Эти добрые люди, презиравшие всех таможенных так же искренно, как всякий пограничный житель, уверяли меня, что они меня не выдадут ни за что на свете. Для испытания я спросил, не было ли возможности переправить меня на другую сторону к отцу, — они отвечали, что это значило рисковать собою, что гораздо было лучше подождать несколько дней, пока я оправлюсь. Я согласился, и чтобы отклонить всякое подозрение, решено было, что они выдадут меня за приехавшего к ним родственника. Впрочем, никто и не обращался ни с какими расспросами.

Успокоенный с этой стороны, я стал размышлять о своих делах и о том, что мне надо решиться. Очевидно, надо было совсем выехать и отправиться в Голландию. Но для исполнения этого плана необходимы были деньги; а у меня, кроме часов, которыми я заплатил хозяину, оставалось только четыре ливра и десять су. Я мог бы прибегнуть к Франсине; но нельзя было сомневаться, что за ней тщательно наблюдают, так что послать к ней письмо значило бы предать себя в руки правосудия; по крайней мере, надо было обождать, пока перейдет первое, жаркое время розысков. И я ждал. По прошествии двух недель я решился черкнуть словечко своей возлюбленной и отправил с письмом хозяина, предупредив его, что так как эта женщина служит посредницей контрабандистам, то лучше

из предосторожности видеться с ней тайно. Он отлично выполнил поручение и к вечеру принес мне сто двадцать франков золотом. На следующий же день я простился со своими хозяевами, которые выказали весьма скромные требования за все свои услуги. Через шесть дней я прибыл в Остенде.

Цель моя была, как и в первую поездку в этот город, отправиться в Америку или в Индию; но я нашел только прибрежные датские или английские суда, куда меня не взяли без документов. Между тем небольшая сумма денег, привезенная мною из Лилля, видимо истощалась, так что предвиделось снова впасть в одно из тех положений, с которыми можно более или менее осваиваться, но которые тем не менее весьма неприятны. Деньги, конечно, не дают ни гения, ни талантов, ни ума; но самоуверенность, доставляемая ими, может заменить все эти качества, тогда как отсутствие ее, напротив, часто их совсем стушевывает. Нередко случается, что когда необходимы все способности ума для того, чтобы достать денег, эти способности вдруг пропадают именно вследствие отсутствия денег. Ко мне именно можно было отнести это; а между тем есть было необходимо; это отправление часто гораздо труднее бывает удовлетворить, нежели то кажется многим счастливцам мира, воображающим, что для него ничего не нужно, кроме аппетита.

Мне часто рассказывали об отважной и доходной жизни береговых контрабандистов; арестанты даже хвалили ее с энтузиазмом, потому что этой профессией часто занимаются по страсти, люди, состояние и общественное положение которых должны бы были отвратить их от столь опасной карьеры. Что касается до меня, то я нимало не пленялся перспективой проводить целые ночи у крутых берегов, посреди утесов, подвергаться всякой погоде и вдобавок ударам досмотрщиков. Поэтому я с большой неохотой отправился к некоему Петерсу, рекомендованному мне контрабандисту, который мог посвятить меня в дело. Чайка, прибитая к двери с рас-

простертыми крыльями, подобно сове или другой какой птице, часто встречающаяся у входа сельской хижины, легко дала мне возможность найти его. Я застал его в погребе, который можно было принять за пространство между деками на судне, так он был загроможден канатами, парусами, веслами, гамаками и бочками. Сначала контрабандист взглянул на меня недоверчиво из окружавшей его дымной атмосферы; это мне показалось дурным предзнаменованием, что не замедлило подтвердиться, потому что когда я предложил ему себя в услужение, то он бросился отчаянно колотить меня. Я, конечно, мог бы с успехом защищаться, но неожиданность и изумление отняли у меня самую мысль о защите; притом на дворе было несколько матросов и огромная ньюфаундлендская собака, которые бы могли взглянуть на это неблагосклонно. Поэтому, выскочив на улицу, я старался объяснить себе столь странный прием, и тут мне пришло в голову, что Петерс мог принять меня за шпиона. Такое заключение заставило меня отправиться к одному продавцу можжевеловой водки, которому я успел внушить достаточно доверия. Сначала он слегка посмеялся над моим приключением, а затем наставил меня, как нужно было обратиться к Петерсу. Я снова пошел к грозному патрону, запасшись, однако, большими каменьями, которые, в случае нового нападения, могли со славой прикрыть мое отступление. Со словами: «Берегитесь, акулы!» (таков был лозунг Петерса, разумевшего под акулами таможенных) я смело приблизился к нему и был принят почти дружески; моя сила и ловкость гарантировали успех в этой профессии, где часто представляется необходимость быстро переносить с места на место огромные тяжести. Один из контрабандистов, Борделе, взялся меня посвятить в тайны искусства; но мне пришлось заняться самим делом прежде надлежащей подготовки.

Я спал у Петерса в обществе двенадцати или пятнадцати контрабандистов разных наций; голландцев, датчан, шведов,

португальцев и русских; англичан не было, а французов было двое. На другой день после моего вступления, когда каждый из нас устраивал себе постель, вдруг неожиданно вошел Петерс. Надо сказать, что наше незатейливое помещение было не что иное, как погреб, до такой степени набитый тюками и бочками, что мы с трудом находили возможность развешивать свои гамаки. На Петерсе не было его обычного костюма конопатчика или парусника, а была шапка из конского волоса, красная рубашка, заколотая на груди серебряной булавкой, и огромные рыбачьи сапоги, которые, доходя до бедер, могут по произволу спускаться ниже колена.

«Ну, ну! — закричал он в дверях, стуча об пол прикладом своего карабина. — Койки долой!.. Долой койки, говорят вам!.. Мы выспимся когда-нибудь после. С нынешним приливом принесло к нам Белку… Надо посмотреть, что у ней в брюхе… Кисея или табак… Ну, ну!.. Ступайте, ступайте, мои свинки…»

Во мгновение ока все были на ногах. Открыли ящик с оружием, и каждый вооружился карабином и мушкетоном, двумя пистолетами и кортиком или интрепелем, и мы отправились, выпив предварительно несколько стаканов водки и арака. Шайка при выходе состояла только из двадцати человек; но по дороге, в разных местах, к нам присоединились отдельные личности, так что по прибытии к берегу моря мы были в числе сорока семи, не считая двух женщин и нескольких крестьян из соседних деревень, пришедших с навьюченными лошадьми, которых спрятали за утесом.

Была глухая ночь. Ветер поминутно свистал, и море бушевало с такой силой, что я не мог постичь, каким образом судно могло бы причалить к берегу; эта мысль подтверждалась тем, что при свете звезд я видел, как небольшое судно лавировало около, как бы страшась приблизиться; но мне после объяснили, что этот маневр имел целью удостовериться, что

все приготовления к выгрузке были покончены и что нет никакой опасности. Когда Петерс зажег фонарь и тотчас же погасил его, на марсе Белки тоже подняли фонарь, который все время то блеснет, то исчезнет, как светляк в летнюю ночь; затем она подплыла по ветру и остановилась от нас на один выстрел. Наша шайка разделилась на три части, две из которых были поставлены в пятистах шагах от нас, чтобы не допустить таможенных, если бы им пришла фантазия явиться. Впоследствии мы разместились по земле, привязав каждому к левой руке веревочку, которая всех соединяла вместе. В случае тревоги достаточно было легкого толчка, чтобы предупредить друг друга, а на этот знак должно было отвечать выстрелом из ружья, так чтобы по всей линии образовалась перестрелка. Третья часть, к которой принадлежал и я, осталась на берегу, чтобы охранять дебаркадер и помогать обмену.

Когда все было таким образом устроено, ньюфаундлендская собака, о которой я уже говорил и которая была с нами, по команде бросилась в пенящиеся волны и энергично поплыла к Белке; минуту спустя она показалась, держа в пасти конец каната. Петерс быстро за него ухватился и стал тянуть к себе, сделав нам знак помогать ему. Я машинально повиновался и вскоре увидал на конце каната двенадцать маленьких бочек, которые подплыли к нам; тогда я понял, что судно не хотело подплывать ближе к земле, чтобы не погибнуть в буруне. Бочки, обмазанные так, что были непроницаемы, отвязали, вынули из воды, нагрузили на лошадей и немедленно отправили. Вторая посылка была принята также удачно; но при третьей несколько выстрелов дали нам знать, что наш караул был атакован.

«Вот открытие бала, — сказал спокойно Петерс, — кто-то будет танцевать», — и, взявши свой карабин, он присоединился к обоим караулам, которые уже были вместе. Пошла весьма оживленная стрельба, стоившая нам двух убитых и

нескольких раненых. По выстрелам таможенных видно было, что они превосходят нас в числе; но, перепуганные и боясь засады, они не решались напасть на нас, так что мы беспрепятственно отступили и вернулись домой. При самом начале схватки Белка снялась с якоря и принялась улепетывать, страшась, чтобы выстрелы не привлекли в эти места правительственных крейсеров. Мне сказали, что, по всей вероятности, они выгрузят остальной товар в другом месте, где вольные экспедиторы имели многих корреспондентов.

Возвратясь домой на рассвете дня, я бросился на свою койку и мог сойти с нее только спустя двое суток: непривычный ночной труд, постоянно влажное платье, в то время как физическое упражнение беспрестанно бросало в пот, беспокойство от новости своего положения, — все это соединялось, чтобы свалить меня с ног. Со мной сделалась лихорадка. Когда она прошла, я сказал Петерсу, что нахожу ремесло слишком тяжелым и потому прошу его отпустить меня. Он гораздо спокойнее отнесся к этому, нежели я думал, и даже отсчитал мне сто франков. Впоследствии я узнал, что он следил за мною в течение нескольких дней, чтобы удостовериться, действительно ли я отправился в Лилль, как сказал ему.

Да, я имел глупость идти снова в этот город из ребяческого желания видеться с Франсиной и взять ее с собой в Голландию, где намеревался открыть маленькое заведение. Но моя опрометчивость не замедлила быть наказанной: два жандарма, бывшие в кабаке, увидали меня проходящим по улице, и им пришло на мысль нагнать меня и спросить мой паспорт. При повороте они меня настигают, и мое замешательство при их появлении побуждает их забрать меня по наружным приметам. Меня сажают в бригадную тюрьму. Я уже отыскивал средства к побегу, когда услыхал следующее обращение к жандармам: «Вот корреспонденция из Лилля — кому идти?» Два человека из лилльской бригады подошли

к тюрьме и спросили, есть ли дичь. «Да, — отвечали забравшие меня. — Вот какой-то г. Леже (я назвал себя этим именем), которого мы нашли без паспорта». Дверь отворяется, и бригадир из Лилля, часто видавший меня в Petit-Hotel, восклицает: «Тьфу пропасть! Да ведь это Видок!» Делать нечего, пришлось открыться. Мы подъехали, и через несколько часов я входил в Лилль, сопровождаемый двумя непрошеными телохранителями.

Глава шестая

Я поступаю в балаган. — Опять тюрьма и новые замыслы побега. — «Помилуйте, может ли человек пролезть в такое отверстие?» — Собравшиеся бежать арестанты сами созывают тюремную стражу. — Я поступаю в гусарский полк. — Осада тюрьмы. — Суд. — Обвинительный акт

Я нашел в тюрьме Petit-Hotel большую часть арестантов, которых выпустили еще до моего побега. Они как бы находились в отлучке и были арестованы за новые преступления. В том числе был Каландрен, о котором я уже говорил: освобожденный 11-го, он был снова посажен 15-го за воровство со взломом и за сообщничество с шайкой шофферов, к которой все тогда относились с ужасом. Основываясь на репутации, приобретенной мною многочисленными побегами, они заискивали во мне, как в человеке, на которого можно положиться. Я, со своей стороны, не мог от них отделаться: будучи обвинены в уголовных преступлениях, они из собственной выгоды не могли выдать попытки к побегу, тогда как обвиненный в каком-либо проступке мог легко донести на них из боязни быть самому замешанным с ними; такова логика тюрьмы. Побег, однако, не мог быть легким уже вследствие самого устройства тюрьмы: семь квадратных футов, стены в толщину ладони, окна с тремя решетками, поставленными одна за другой, дверь из кованого железа. С такими предосторожностями тюремщик, по-видимому, мог быть спокоен насчет своих заключенных, а между тем сумели-таки его провести. Я сидел вместе с неким Дюгамелем. Арестант, исполнявший должность привратника, за шесть франков доставил нам пилу, долото и двое щипцов. У нас были оловянные ложки, и тюремщик, по всей вероятности, не подозревал, какое употребление могут сделать из них заключенные. Я хорошо знал тюремные ключи, которые были одинаковы для всех тюрем одного этажа. Я сделал слепок из хлебного мя-

киша и картофеля. Надо было раздобыться огнем, и мы сделали себе ночник из свиного сала с фитилем из бумажного колпака. Наконец ключ был отлит из олова, но оказалось, что он не совсем подходит, так что только после многих подправок и прилаживаний мы достигли желаемого. Затем нам надо было сделать отверстие в стене, выходящей в амбар ратуши. Салламбье, занимавший последнюю тюрьму, сделал его, отпиливши одну из досок. Все было готово к побегу, который должен был совершиться вечером, как вдруг тюремщик объявил мне, что время моего одиночного заключения покончилось и меня поместят с прочими арестантами.

По всей вероятности, никогда подобная милость не была принята с меньшей радостью, чем на этот раз. Все мои приготовления оказались напрасными, и Бог весть, когда еще мог представиться столь благоприятный случай. Но пришлось смириться и следовать за тюремщиком, которого я внутренне посылал к черту с его поздравлениями. Эта помеха так меня огорчила, что все арестанты заметили это. Один из них, выпытавши у меня мою тайну, совершенно справедливо заметил, что бежать с такими личностями, как Салламбье и Дюгамель, которые, может, и дня не прожили бы без нового убийства, было весьма опасно и рискованно. Он советовал подождать другого случая. Я последовал этому совету и не раскаялся. Мало того, простер предосторожность до того, что сказал Салламбье и Дюгамелю, будто их подозревают и что им нельзя медлить ни минуты. Они приняли совет буквально и через два часа присоединились к шайке сорока семи шофферов, из которых двадцать восемь были казнены в следующий же месяц в Брюгге. Побег Дюгамеля и Салламбье наделал большего шума в тюрьме и даже по городу. Казалось, что он сопровождался особенно необыкновенными обстоятельствами; тюремщик же находил удивительнее всего то, что я не был вместе с ними. И вот надо было исправить повреждения; пришли рабочие, а внизу тюремной лестницы

поставили часового, с приказанием не выпускать решительно никого. Мне пришло в голову ловко нарушить приказ и выйти через то самое отверстие, которое было приготовлено для побега.

Франсина, приходившая ежедневно ко мне, принесла мне требуемые мною три аршина трехцветной ленты. Из одного куска я сделал себе пояс, а остальными украсил свою шляпу и в таком виде смело прошел мимо часового, который, принявши меня за муниципального офицера, отдал мне честь. Я быстро бегу по лестнице и, дойдя до отверстия, снова нахожу двух часовых, одного в амбаре ратуши, другого в коридоре тюрьмы. Последнему я замечаю, что невозможно, чтобы человек мог пройти сквозь такое отверстие; он утверждает противное, и словно по моему подсказу товарищ его прибавляет, что я пройду даже совсем одетый. Я высказал желание попробовать, просунулся и очутился в амбаре. Притворяясь, что я поранил себя, пролезая, я говорю часовым, что поблизости схожу в свой кабинет. «Ну, так обождите, я вам отопру дверь», — сказал бывший в амбаре, и он повернул ключ. В два прыжка я спустился вниз и очутился на улице, все еще разукрашенный лентами, за которые меня также могли бы арестовать, кабы не смеркалось.

Не успел я выбраться, как тюремщик, никогда не терявший меня из виду, спросил: «Где Видок?» Ему отвечали, что я пошел пройтись по двору; он сам отправился удостовериться в этом, но напрасно отыскивал меня во всех уголках дома, призывая громкими криками. Официальные розыски принесли тот же результат: никто не видал, как я вышел. Скоро стало ясно, что меня не было в тюрьме, но каким образом я убежал? Этого никто не знал, ни даже Франсина, которая простодушно уверяла, что совсем не знает, куда я делся, потому что принесла мне лент, не зная, что я хотел с ними делать. Она все-таки была задержана, но это не принесло

никакой пользы, потому что оба сторожа были далеки от того, чтобы заикаться о своем промахе.

Пока таким образом преследовали мнимых укрывателей моего побега, я вышел из города и достиг Кортрейка, где фигляр Оливье и паяц Девуа взяли меня в свою труппу для разыгрыванья пантомимы. Там я встретил многих арестантов, характеристичный костюм которых, никогда ими не покидаемый по той простой причине, что у них другого не было, отлично сбивал с толку полицию. Из Кортрейка мы прибыли в Гент, откуда вскоре поехали на английскую ярмарку. Мы были уже пять дней в Ангене, и сбор, в котором я имел свою долю, шел отлично, когда раз вечером, перед выходом на сцену, я вдруг был арестован полицейскими чиновниками. На меня донес паяц, свирепствовавший за то, что я занял первое место. Меня снова отвели в Лилль, где я с горестью узнал, что бедная Франсина была осуждена на шестимесячное тюремное заключение за мнимое содействие моему побегу.

Привратник Баптист, вся вина которого заключалась в том, что он почтительно выпустил меня из Башки Святого Петра, этот несчастный Баптист также был засажен. Большой уликой против него послужило то, что арестанты, воспользовавшись случаем отомстить, уверяли, будто врученные ему мною сто талеров заставили его признать молодого, девятнадцатилетнего человека за старого офицера, около пятидесяти лет.

Что касается до меня, то я был переведен в тюрьму департамента Дуэ и был отмечен как человек опасный, так что тотчас же помещен в отдельную тюрьму, в оковах на руках и ногах. Я встретил там соотечественника Десфоссо и одного молодого человека, Дуаннета, осужденного на шестнадцать лет за участие в воровстве со взломом вместе со своим отцом, матерью и двумя младшими братьями. Он уже четыре месяца валялся на соломе в той тюрьме, куда и меня поместили,

съедаемый насекомыми, на хлебе из бобов и на воде. Я прежде всего послал за разными яствами, которые и были мгновенно истреблены. Затем мы перешли к своим делам, и мои сотоварищи объявили мне, что уже две недели они трудятся над подкопом под полом тюрьмы, который должен прийтись в уровень со Скарпом, омывающим стены тюрьмы. Сначала я смотрел на это, как на дело весьма трудное: надо было прорыть стену в пять футов толщины, не возбудивши подозрения тюремщика, частые посещения которого заставляли нас всячески скрывать малейший след наших работ. Поэтому каждую горсть земли или цемента, выкапываемую нами, мы тщательно выбрасывали за решетчатое окно, выходившее на Скарп. Десфоссо нашел средство снять наши оковы, и мы работали с меньшей усталостью и затруднением; один из нас уже постоянно сидел в подкопе, который настолько распространился, что мог вместить человека. Работа наша была почти кончена и мы считали себя полусвободными, как вдруг оказалось, что фундамент, вместо того чтобы быть из простого камня, как мы предполагали, был из песчаника самых больших размеров. Это заставило нас распространить нашу подземную галерею, и целую неделю мы работали без устали. Чтобы скрыть отсутствие того из нас, кто работал, пока делали осмотр, мы набивали соломой его рубашку и камзол и клали это чучело в положение заснувшего человека.

Спустя пятьдесят пять дней и ночей упорного труда мы наконец приблизились к цели; оставалось только своротить один камень, и мы были бы у берега реки. И вот однажды ночью мы решились сделать попытку. По-видимому, все благоприятствовало нашему намерению, тюремщик раньше обыкновенного сделал свой обход, я густой туман подавал надежду, что часовой на мосту нас не увидит. Тяжелый камень уступил нашим соединенным усилиям и упал в подземелье; но с этим вместе туда устремилась вода, как из-под мельничной плотины. Мы плохо сообразили расстояние, и

наша яма пришлась на несколько футов ниже уровня воды, так что в несколько мгновений яма вся была затоплена; сначала мы хотели рискнуть вплавь, но быстрота течения не позволила этого; мало того, пришлось даже звать на помощь, чтобы не остаться в воде на всю ночь. На наши крики сбежались тюремщики и сторожа и остолбенели, увидя себя по колено в воде. Вскоре все разъяснилось, принялись за исправление повреждений, а нас засадили в другую тюрьму, выходящую в тот же коридор.

Эта катастрофа повергла меня в печальное раздумье, но Десфоссо старался меня ободрить, говоря на своем воровском языке, что надежда еще не потеряна и что я должен брать с него пример мужества. У Десфоссо действительно была замечательная твердость характера, которую ничто не могло сломить: валяясь полуобнаженным на соломе, в тюрьме, где почти негде было прилечь, отягощенный тридцатифунтовыми оковами, он находил еще возможность распевать во все горло и ни о чем не думал, кроме побега, чтобы снова приняться за преступление. Случай не замедлил представиться.

В одной тюрьме с нами сидели два арестанта, тюремщик лилльской тюрьмы Petit-Hotel и сторож Баптист, оба обвиненные в содействии моему побегу за деньги. Тюремщика оправдали на суде, а арест Баптиста продолжили в виду предстоящего получения от меня новых показаний. Бедняк умолял меня сказать правду. Я сначала отвечал ему уклончиво, но когда Десфоссо внушил мне, что этот человек может нам пригодиться и что его следует пожалеть, я положительно обещал исполнить его просьбу. Он принялся жарко благодарить и предлагать свои услуги. Этого только и было надо; я поймал его на слове и велел ему принести себе нож и два больших гвоздя, которые нужны были Десфоссо. Через час Баптист принес требуемое, а Десфоссо, узнав об этом, запрыгал от радости, насколько позволяла теснота нашего помещения и тяжесть оков. Дуаннет также выказал живейшую

радость, а так как веселость заразительна, то я был весьма доволен, сам не зная чем.

Когда эти восторги потухли, Десфоссо велел мне посмотреть, нет ли в своде моей тюрьмы пяти камней более других; на мой утвердительный ответ он велел ощупать пазы концом ножа; сделав это, я увидал, что в промежутках камней вместо замазки был мякиш подбеленного хлеба, и Десфоссо сообщил мне, что находившийся тут до меня арестант таким образом подготовил камни, чтобы вынуть их и бежать, как его внезапно перевели в другую тюрьму. Я передал нож Десфоссо, и он принялся устраивать себе проход до моей тюрьмы, как вдруг с нами случилось то же самое, что и с моим предшественником. Тюремщик, возымев подозрение, перевел нас всех троих в тюрьму, выходящую на Скарп; мы были скованы вместе, так что малейшее движение одного немедленно сообщалось другим; с течением времени это делалось ужасной пыткой, потому что такое положение совершенно не давало спать. Через два дня Десфоссо, видя наше ослабление, решился прибегнуть к средству, которое употреблял только в особенных случаях и которое обыкновенно берег для работы с целью бегства. Подобно многим каторжным, он носил в заднем проходе футляр с пилами: с помощью этого орудия он принялся за дело, и не прошло трех часов, как оковы наши спали и мы бросили их из окна в реку. Тюремщик, пришедший посмотреть, все ли у нас благополучно, едва не упал в обморок, найдя нас раскованными. На вопрос его, что мы сделали со своими цепями, мы отвечали шутками. Вскоре появился тюремный комиссар в сопровождении экзекутора по имени Гуртрель, и мы подверглись новому допросу. Десфоссо, потерявший терпение, вскричал: «Вы спрашиваете, где наши оковы?.. Так знайте же, что их съели черви, и опять съедят, какие бы вы на нас ни надели!» Тогда комиссар, предположив, что у нас есть в запасе знаменитая трава, разрывающая железо, не открытая, впрочем,

до сих пор ботаниками, велел нас раздеть и осмотреть с головы до ног; после того на нас надели другие оковы, которые были также разбиты в следующую же ночь, так как драгоценный футляр не был найден. На этот раз мы доставили себе новое удовольствие — внезапно сбросить их в присутствии комиссара и экзекутора, которые не знали, что об этом думать; по городу даже распространился слух, что в тюрьме сидит колдун, который одним прикосновением разбивает свои оковы. Чтобы заглушить все эти слухи и особенно чтобы не дать возможности прочим арестантам открыть средство избавляться от цепей, нас велели припереть особенно тщательно, что не помещало нам оставить Дуэ ранее, чем ожидали, и ранее, чем мы сами думали.

Два раза в неделю нам позволяли совещаться со своими адвокатами в коридоре, одна дверь которого выходила в суд; я ухитрился снять слепок, Десфоссо сделал ключ и в один прекрасный день, когда мой адвокат разговаривал с другим клиентом, обвиненным в двух убийствах, мы вышли все трое незамеченными; две другие двери, попавшиеся нам на дороге, были мгновенно взломаны, и вскоре тюрьма осталась далеко за нами. Со всем тем меня мучило беспокойство: всю нашу собственность составляли шесть франков, а с таким богатством долго ли можно пробиваться? Я сообщил об этом своим товарищам, которые посмотрели на меня со зловещим смехом; наконец они объявили мне, что в следующую ночь намерены войти с помощью взлома в одну из соседних дач, в которой они знали отличным образом все выходы.

Это было для меня дело неподходящее, все равно как табор цыган: я мог воспользоваться опытностью Десфоссо для своего побега, но не имел и в мыслях соединиться с таким злодеем, хотя все-таки нашел благоразумнее не входить в какие-либо объяснения. Вечером мы находились близ одной деревни по дороге в Камбре; мы ничего не ели с самого завтрака в тюрьме; голод пронимал нас, и приходилось отправиться

за припасами в деревню. Так как полуобнаженный вид моих товарищей мог вызвать подозрения, то было решено отправиться мне с этой целью. Я взошел на постоялый двор, взял хлеба и водки и вышел в другую дверь, направляясь в противоположную сторону от моих товарищей, с которыми желал наивозможно скорее развязаться. Я шел всю ночь и остановился только на рассвете, чтобы соснуть в стогу сена.

Через четыре дня я был в Компьене, подвигаясь к Парижу, где надеялся найти средства к существованию, пока мать прислала бы мне пособие. В Лувре я встретил отряд черных гусар, и спросил у гоффурьера, нельзя ли поступить на службу; он отвечал, что теперь не принимают. Лейтенант, к которому я после обратился, сказал то же самое, но, тронутый моим безвыходным положением, предложил мне ходить за лошадьми, взятыми им в Париж. Я поспешно согласился. Полученные мною полицейская фуражка и старый доломан избавили меня от всяких расспросов у заставы, и я поселился в военной школе, вместе с отрядом, с которым потом отправился в Гиз, где было депо. По приезде в этот город я был представлен полковнику, который хотя и подозревал меня в дезертирстве, однако взял на службу под именем Ланне, которое я принял, не будучи в состоянии доказать его никакой бумагой. В новой форме, незаметный в кругу многочисленного полка, я считал себя расквитавшимся с тюрьмой и уже надеялся составить себе военную карьеру, как вдруг несчастная случайность снова погрузила меня в пропасть.

Однажды утром меня встретил в нашем квартале жандарм, который из Дуэ был переведен в Гиз. Он так часто и так долго видал меня, что не мог не узнать с первого взгляда и тотчас же позвал меня. Куда тут деваться? Мы были посреди города, о бегстве нечего было и помышлять. Я без колебания подошел к нему и сделал вид, что весьма рад с ним встретиться. Он отвечал на мои любезности с некоторым смущением, которое было для меня дурным предзнаменованием.

В это время прошел гусар из нашего эскадрона, который, увидя меня с жандармом, приблизился и воскликнул: «Вот как, Ланне, у тебя есть даже дела с жандармской фуражкой?»

— Ланне? — переспросил жандарм с удивлением.

— Да, это военное прозвище.

— Ну, это мы посмотрим, — возразил он, хватал меня за шиворот.

Пришлось последовать за ним в тюрьму. Открывают сходство моих примет с описанием, полученным от бригады, и тотчас отправляют меня в Дуэ, по особому предписанию.

Этот последний удар окончательно привел меня в отчаяние, тем более что в Дуэ ожидали меня еще более неприятные новости: Груар, Гербо, Стофле и Буатель решили, чтобы один из них, по указанию жребия, взял на себя всю вину подлога документа, на так как подобный подлог не мог быть совершен одним лицом, то они обвинили меня, мстя этим за то, что я своими последними показаниями несколько отягчил их вину; кроме того, арестант, который бы мог показать в мою пользу, умер. Меня отчасти могло только утешать хоть то, что я успел отстать от Десфоссо и Дуаннета, которые были схвачены через четыре дня после нашего побега, с вещами, украденными со взломом в одной мелочной лавке. Я вскоре их увидал, и так как они изумлялись моему быстрому тогдашнему исчезновению, то я объяснил, что внезапный приход жандарма в таверну, где я закупал провизию, заставил меня бежать куда попало. Сойдясь вместе, мы снова принялись за составление планов побега, получившего особенный интерес ввиду скорого приговора.

Однажды вечером прибыл конвой арестантов, из которых четверо, в оковах, были посажены в одну комнату с нами. Это были братья Дюэм, богатые фермеры, пользовавшиеся превосходной репутацией, пока внезапно, неожиданной случайностью, не открылось их поведение. Четверо братьев, одаренные замечательной силой, находились во главе шайки

шофферов, наводившей ужас в окрестностях и из которой не было известно ни одного члена. Болтовня маленькой дочери одного из братьев обнаружила тайну. Девочке, бывшей раз у соседей, вздумалось рассказать, что она набралась большего страха в прошлую ночь.

— Отчего? — спросили с любопытством.

— Как же, отец опять пришел со своими черными людьми!

— С какими черными людьми?

— С которыми он часто уходит по ночам… а потом к утру они приходят и считают деньги на одеяле… Мать зажгла фонарь и тетка Женевьева тоже, потому что дяди пришли с черными людьми. Раз я спросила мать, что все это значит; она отвечала мне: смотри, не болтай, дочка; у отца есть черная курочка, которая несет ему денежки, но только ночью, и чтобы ее не рассердить, надо подходить к ней с таким же черным лицом, как ее перья. Будь скромна; если ты скажешь хоть слово, черная курица не придет больше.

Слушавшие, конечно, сразу поняли, что не для таинственной курицы Дюэм мазали себе лица сажей, а чтобы не быть узнанными. Соседка сообщила свои подозрения мужу, а последний, в свою очередь, расспросивши девочку и убедившись, что черные люди были не кто иные, как шайка шофферов, сделал заявление властям. Были приняты столь ловкие меры, что вся переодетая шайка была задержана в самое время отправления на новый грабеж.

Один из братьев ухитрился запрятать в подошву сапога лезвие ножа. Узнав, что я отлично знаю всех арестантов, он сообщил мне свой секрет, спрашивая, нельзя ли им воспользоваться для побега. Пока мы размышляли об этом, пришел мировой судья в сопровождении жандармов и сделал наистрожайший осмотр нашей комнаты и нас самих, причины которого мы совсем не знали. Я счел благоразумным спрятать во рту маленький подпилок, который всегда был со

мною, но один из жандармов заметил это движение и воскликнул: «Он проглотил ее!» Что такое? Мы все переглянулись и тут только узнали, что дело шло о печати, которою печатали фальшивый приказ об освобождении Буателя. Заподозрив, что она у меня, меня перевели в городскую тюрьму и сковали правую руку с левой ногой. Кроме того, тюрьма была так сыра, что брошенная мне солома в двадцать минут сделалась так влажна, точно ее смочили водой.

Восемь дней я оставался в этом ужасном положении, и меня только тогда решились возвратить в обыкновенную тюрьму, когда убедились, что мне невозможно отдать печати каким-либо обыкновенным образом. Узнав об этом, я притворился, как это обыкновенно бывает в подобных случаях, необычайно слабым, не выносящим дневного света. Это было вполне естественно, и жандармы так доверчиво вдались в обман, что позаботились даже прикрыть мне глаза платком. Мы ехали в фиакре, и по дороге я мгновенно сбрасываю платок, открываю дверцы и выскакиваю на улицу. Жандармы устремляются за мной; но отягощенные своими саблями и большими сапогами, они едва успели вылезть из кареты, как я был уже далеко. Я немедленно оставляю город и, с неизменной мыслью совсем бежать за море, направляюсь в Дюнкирхен с деньгами, доставленными матерью. Там я познакомился с приказчиком одного шведского брига, который пообещался взять меня на свое судно.

В ожидании отъезда мой новый друг пригласил меня в Сент-Омер. В платье моряка я не рисковал быть узнанным; притом нельзя же было отказать столь нужному человеку, и потому я согласился, но по своему буйному характеру не мог утерпеть, чтобы не вмешаться в возникшую там ссору, и за буйство был отведен на гауптвахту. Там у меня спросили паспорт, которого у меня не было, и по некоторым ответам заподозрив, что я беглый из какой-нибудь окрестной тюрьмы, на следующий день отправили меня в Дуэ, так что я даже

не успел проститься с приказчиком, который, по всей вероятности, был весьма удивлен этим происшествием. В Дуэ меня опять засадили в тюрьму, где сначала тюремщик был ко мне довольно благосклонен; но это продолжалось недолго — вследствие ссоры с привратником, в которой я принял довольно деятельное участие, меня поместили в мрачную конуру под городской башней. Там нас было пятеро арестантов, из которых один — дезертир, приговоренный к смертной казни, — только и толковал о самоубийстве. Я вразумлял его, что дело было не в этом, а что надо поискать средств выкарабкаться из этой ужасной тюрьмы, где крысы бегали безо всякого стеснения, пожирали наш хлеб и кусали нас за лицо во время сна. Штыком, украденным у национального гвардейца, находившегося по найму в услужении в тюрьме, мы принялись делать отверстие в стене по тому направлению, где, нам слышалось, башмачник прибивал подошвы. В десять дней и десять ночей работы мы уже вырыли на шесть футов глубины; шум башмачника, казалось, был ближе. На одиннадцатый день утром, вынув один камень, я вдруг увидел свет, выходивший с улицы через окно, освещавшее соседнюю с нашей тюрьмой каморку, где привратник держал своих кроликов.

Это открытие придало нам новые силы, и после вечернего осмотра мы вытащили из ямы все камни; их было не меньше, как воза на два, так как стена была очень толста. Мы положили их у двери, отворявшейся внутрь, и таким образом совершенно ее заложили; а затем принялись с новым рвением за работу, так что отверстие, имевшее при начале шесть футов ширины, в конце имело только два фута. Вскоре появился тюремщик с нашими порциями; встретя препятствие, он открыл форточку и с изумлением увидал кучу кирпичей. Он потребовал, чтобы мы отворили, и на наш отказ созвал сторожей, комиссара, публичного обвинителя, а затем явились и муниципальные офицеры со своими трехцветными шар-

фами. Начались переговоры; а между тем один из нас продолжал работать над отверстием, которое темнота не позволяла видеть. Может быть, мы бы успели убежать прежде, чем разломали дверь, но неожиданный случай отнял у нас эту последнюю надежду.

Жена привратника, принесшая пищу кроликам, заметила свежий мусор на полу. В тюрьме все имеет важность, поэтому она внимательно осмотрела стену, и хотя последние кирпичи были искусно заложены, чтобы скрыть отверстие, но она заметила, что они не держались крепко. На ее крики прибежал сторож, одним ударом наше кирпичное здание было разрушено, и мы очутились в засаде. С обеих сторон нас понуждают очистить дверь и сдаться, грозя в противном случае стрелять. Скрываясь за своей баррикадой, мы отвечаем, что первый, кто осмелится войти, будет побит камнями и железом. Такое ожесточение удивило начальство, и нас оставили на несколько часов одуматься. В полдень явился муниципальный офицер и через фортку, которую сторожили так же, как и нашу яму, предложил нам амнистию. Амнистию мы приняли, но лишь только отстранили свою баррикаду, как на нас все набросились и начали бить палками, саблями, связками ключей и чем попало; даже пес привратника, и тот не преминул принять участие в побоище; он вскочил на меня и в одно мгновение искусал. Затем нас потащили на двор, где взвод из пятнадцати человек держал над нами ружья, прицеливаясь, пока заклепывали наши кандалы. По окончании этой операции я был брошен в еще ужаснейшую тюрьму, чем прежде; и только на другой день больничный служитель Дютиллейль (впоследствии сторож в Сент-Манде) перевязал мои раны.

Не успел я оправиться от этого потрясения, когда настал день суда, который уже восемь месяцев все откладывался вследствие моих частых побегов, равно как побегов Груара,

исчезавшего всякий раз, как меня забирали. При начале открытия суда я увидал себя погибшим. Обвиняемые поголовно показывали против меня со злобой, которую можно объяснить только моими поздними показаниями, не принесшими мне, впрочем, никакой пользы и нимало не ухудшившими их положения. Буатель заявил, что вспомнил, будто я спрашивал, сколько он даст за то, чтобы выйти из тюрьмы; Гербо уверял, что он составил акт без прикладывания печати и притом только по моему наущению, а я по изготовлении акта тотчас же взял его; он же, со своей стороны, не придавал этому никакого значения. Присяжные, впрочем, признали, что ничто не доказывало, что я вещественным образом участвовал в преступлении; все обвинение заключалось в бездоказательном показании, будто злосчастная печать была доставлена мною. И со всем тем Буатель, признавшийся, что он хлопотал о фальшивом приказе, Стофле — что принес его тюремщику, Груар — в том, что присутствовал при всем этом, — все-таки были оправданы, а мы с Гербо осуждены на восемь лет заключения в оковах.

Вот изложение этого приговора, который я привожу буквально в ответ на басни, даже доселе распространяемые недоброжелательством или глупостью; одни уверяют, будто я осужден был на смертную казнь за многочисленные убийства; другие — будто я долгое время был атаманом шайки, нападавшей на дилижансы; самые снисходительные выдают за непреложную достоверность, что я был осужден на вечную каторжную работу за кражу со взломом. Дошли даже до уверения, будто я умышленно вызывал несчастных на преступления, чтобы потом, когда мне вздумается, предать их в руки правосудия и тем выказать свою неусыпную деятельность. Точно мало настоящих преступников! Как будто некого и без того преследовать! Конечно, случалось, что вероломные сотоварищи, которые везде есть, даже между ворами, иногда со-

общали мне о намерениях своих соучастников; без сомнения, чтобы доказать преступление, которое намерены предотвратить, часто приходится допускать ею начало, потому что истинные злодеи не позволяют иначе захватить себя, как на месте преступления. Но спрашивается, где же тут вызывательство на преступную деятельность? Это обвинение вышло из полиции, где у меня было много завистников; оно падает пред гласностью судебного разбирательства, которое не преминуло бы обнаружить бесчестные поступки, приписываемые мне; оно падает пред действиями охранной бригады, управляемой мною. Выказавши свои способности, незачем прибегать к шарлатанству; и притом доверие искусных администраторов, предшествовавших г. Делаво в префектуре, избавляло меня от надобности прибегать к таким гадким средствам. Он счастлив, сказали раз обо мне г-ну Англе агенты, оправдываясь насчет одного дела, которое им не удалось сделать, а я сделал. Англе ответил им на это: «Ну, так желаю и вам того же счастья», — и с этими словами повернулся спиною.

Только одного на меня и не взводили — смертоубийства; а между тем объявляю во всеуслышание, что я не подвергался никакому другому приговору, кроме нижеследующего; доказательством тому служит мое помилование; и если я заявляю, что не принимал участия в этом жалком подлоге, то мне должны верить, тем более что в конце концов все дело-то было не более, как злая тюремная шутка, которая, будучи доказана, в настоящее время повела бы только к исправительному наказанию. Но в лице моем разили не сомнительного соучастника ничтожного подлога, а беспокойного, непокорного и отважного арестанта, главного деятеля во стольких побегах, на котором надо было показать пример другим, и вот ради чего я был принесен в жертву.

ПРИГОВОР

«Во имя Французской республики единой и нераздельной.

Рассмотренный уголовным судом Северного департамента обвинительный акт, составленный двадцать восьмого вандемьера пятого года, против поименованных: Себастьяна Буателя, сорока лет, земледельца, проживающего в Аннулене; Цезаря Гербо, двадцати лет, бывшего фельдфебеля вандамского егерского полка, проживающего в Лилле; Эжена Стофле, двадцати трех лет, тряпочника, живущего в Лилле; Жана-Франсуа Груара, двадцати девяти лет с половиной, помощника кондуктора при военном транспорте, проживающего в Лилле, и Франсуа Видока, уроженца Арраса, двадцати двух лет, проживающего в Лилле, — обвиняемых старшиною суда присяжных округа Камбре в подлоге официального документа, — заключающий в себе следующее:

Нижеподписавшийся, судья гражданского суда Северного департамента, исправлявший должность старшины суда присяжных округа Каморе, излагает, что в силу решения уголовного суда Северного департамента, состоявшегося седьмого фруктидора, кассированы обвинительные акты, составленные двадцатого и двадцать шестого жерминаля председателем ассизного суда Лилльского департамента, по обвинению Цезаря Гербо, Франсуа Видока, Себастьяна Буателя, Эжена Стофле и Бриса Кокелля, находящихся налицо, и Андре Бордеро, отсутствующего, виновных и соучастников в подлоге официального документа с целью освобождения поименованного Себастьяна Буателя из тюрьмы Башни Святого Петра в Лилле, где он содержался; поименованный же Брис обвиняется сверх того за то, что с помощью этого подлога выпустил арестанта, вверенного надзору его как тюремщика означенной тюрьмы. Все обвиняемые с относящимися к ним бумагами были приведены к нижеподписавшемуся, чтобы подвергнуться новому суду присяжных. Просматривая по-

именные документы, он нашел, что в них пропущен вышеупомянутым старшиною Жан-Франсуа Груар, также замешанный в процессе; вследствие чего по заключениям комиссара исполнительной власти и в силу указа двадцать четвертого упомянутого фруктидора, он отдал приказ представить в суд вышепоименованного Груара и затем, по выслушании его, арестовать его, как соучастника означенного подлога; что по неявке пострадавшей стороны в течение двух дней пребывания подсудимых в тюрьме здешнего округа нижеподписавшийся приступил к пересмотру документов, относящихся до причин задержания и ареста всех подсудимых. Проверив род преступления, в котором они обвиняются, он нашел, что обвиненные заслуживают телесного или позорного наказания и что, вследствие этого, отдав ныне приказ, по которому все подсудимые подвергаются особому суду присяжных, в силу этого приказа нижеподписавшийся составил настоящий обвинительный акт, чтобы после формальностей, требуемых законом, представить его в вышеупомянутый суд присяжных.

Итак, нижеподписавшийся заявляет, что из рассмотрения документов, и именно из протоколов, составленных регистратором мирового суда четвертого отдела общины в Лилле, от девятнадцатого нивоза, мировым судьею общины Дуэ, и от девятого и двадцать четвертого прериаля, каковые протоколы присоединены к упомянутому акту, явствует:

Что поименованный Себастьян Буатель, арестант в Башне Святого Петра в Лилле, был освобожден в силу приказа законодательного комитета и кассационного суда, помеченного из Парижа, двадцатого брюмера четвертого республиканского года, за подписью Карно, Лесажа-Сено и Куандра, с которым вместе было предписание об исполнении от народного представителя Тало к поименованному Брису Кокеллю; что это постановление и означенное предписание, на которое

Кокелль опирался в свое оправдание, не были даны ни законодательным комитетом, ни представителем Тало; и потому несомненно, что постановление и предписание представляют фальшивый официальный документ, что подлог обнаруживается даже простым взглядом на обличительный документ, озаглавленный: Постановление законодательного комитета, кассационного суда, — смешное заглавие, смешивающее две различные власти в одну власть.

Что девятого последнего прериаля в одной из тюрем арестантского дома в Дуэ нашли медную печать без ручки, спрятанную под ножкой кровати, что подсудимый Видок прежде спал в этой тюрьме, что эта печать одна и та же с находящейся на подложном акте и дает тот же оттиск; что при посещении вышеозначенным мировым судьей южного Дуэ той тюрьмы, где находился тогда Видок, при освидетельствовании постели что-то упало и зазвенело наподобие меди, золота или серебра; бросившийся за этим предметом Видок сумел его скрыть и подменить подпилком, который и показал; между тем Гербо и Стофле заявили, что еще прежде видели печать у Видока и что он говорил, будто был лейтенантом того батальона, имя которого вырезано на печати.

Что поименованные Гербо, Франсуа Видок, Себастьян Буатель, Эжен Стофле, Брис Кокелль, Андре Бордеро и Жан-Франсуа Груар обвиняются в составлении означенного подлога или соучастии в нем, каковым подлогом они содействовали бегству Себастьяна Буателя из тюрьмы, где он содержался по приговору о его заключении.

Что поименованный Брис Кокелль, кроме того, обвиняется в том, что с помощью подложного приказа допустил бежать из тюрьмы Себастьяна Буателя, вверенного его надзору как тюремщика. Брис Кокелль сознался перед председателем Лилльского суда присяжных, что он освободил Себастьяна Буателя третьего фримера по документу, признанному подложным.

Что этот документ вручен был ему Стофле; что он признал его пред мировым судьей именно за того человека, который принес приказ; что Стофле приходил в тюрьму пять или шесть раз в течение десяти дней, всякий раз вызывал Гербо и проводил с ним от двух до трех часов; что Гербо и Буатель были вместе в одной тюрьме и что поименованный Стофле одинаково имел сношения как с тем, так и с другим; что мнимый приказ был адресован на его имя и он не мог подозревать его в фальши, не зная подписей. Стофле сознался, что его подозревали в принесении письма в тюрьму, но что это неправда, что хотя он действительно несколько раз был в тюрьме и говорил с Гербо, но никогда не носил ему писем, и что Брис Кокелль ложно указал на него у мирового судьи как на человека, принесшего ему приказ, в силу которого Буатель был освобожден.

Франсуа Видок показал, что знал Буателя только в тюрьме и что он был выпущен в силу приказа, принесенного Кокеллю, когда он сидел за бутылкой с братьями Кокелль и Прево; другой арестант пошел с ними ужинать в кабак Дордрек, после чего Кокелль и Прево возвратились уже в полночь; что мировому судье в Дуэ он, Видок, заявлял, что печать, найденная под ножкой кровати, ему не принадлежала, что он не служил в батальоне, имя которого вырезано на печати, и не знает, был ли он присоединен к батальону, где Видок служил; что если он выказал сопротивление при освидетельствовании тюрьмы, то только потому, что у него был спрятан подпилок и он страшился быть заподозренным в намерении освободиться от оков.

Буатель показал, что он содержался в Башне Святого Петра по приговору сроком на шесть лет; что хорошо помнит, как раз Гербо и Видок обратились к нему с вопросом, сколько он дал бы за свое освобождение; что он обещался им двенадцать луидоров звонкой монетой, из которых семь отдал,

а остальное должен бы был отдать, если бы не подвергся преследованию; что он вышел из тюрьмы с двумя своими братьями и Брисом Кокеллем, пил с ними вино в Дордреке до десяти часов вечера; что он хорошо знал, что освобожден по фальшивому приказу, составленному Видоком и Гербо, но не знал, кто его принес.

Груар показал, что знал об освобождении Буателя по приказу начальства, что по выходе Буателя из тюрьмы видел этот приказ, заподозрил его в подложности и нашел, что он писан рукою Гербо; что же касается до него самого, то он ни в чем не участвовал: ни в выпуске Буателя, ни в составлении подложного приказа.

Гербо заявил нижеподписавшемуся председателю суда, что однажды, сидя с Видоком и другими арестантами, они разговорились о деле Буателя; что Видок предложил ему составить приказ, по которому Буатель мог бы быть освобожден; что он согласился на это, взял первый попавшийся лист бумаги и написал приказ, не выставляя подписей. Приказ оставил он на столе, и его взял Видок; приказ, по которому был освобожден Буатель, и есть этот самый приказ, написанный им без подписей.

Что касается Андре Бордеро, не явившегося в суд, то есть вероятие, что он знал о подлоге, потому что в день выпуска Буателя из тюрьмы относил к Стофле письмо от вышеупомянутого Гербо и на другой день после этого виделся с Буателем в Аннулене, куда тот скрылся.

Изо всех этих подробностей, заимствованных из означенных бумаг и протоколов, явствует, что совершен был подлог официального документа, и с помощью этого подлога Себастьяну Буателю удалось бежать из Башни Святого Петра в Лилле, где он содержался под надзором тюремщика, каковое бегство произошло третьего фримера; двойное преступление, о котором присяжные, согласно Уложению о наказани-

ях, должны признать виновность или невиновность лиц поименованных в акте: Буателя, Стофле, Видока, Кокелля, Груара, Гербо и Бордеро.

Составлен в Камбре двадцать восьмого вандемьера пятого года республики, единой и нераздельной».

Подписано: Нолекериц.

Заявление от суда присяжных округа Камбре от шестого брюмера пятого года, написанное внизу этого акта и в котором значится, что есть повод к обвинению, рассматриваемому в этом акте.

Приказ того же дня от председателя суда присяжных означенного департамента о взятии под стражу поименованных Себастьяна Буателя, Цезаря Гербо, Эжена Стофле, Франсуа Груара и Франсуа Видока.

Протокол о препровождении означенных лиц в департаментский суд двадцать первого брюмера.

И следующее объявление от специального суда присяжных от того же числа:

1) Что подлог, упоминаемый в обвинительном акте, несомненен.

2) Что обвиняемый Цезарь Гербо уличен в совершении означенного преступления.

3) Что он уличен в совершении его со злым намерением и с целью нанесения вреда.

4) Что Франсуа Видок также уличен в совершении подлога.

5) Что он совершил его со злым умыслом и намерением причинения вреда.

6) Несомненно, что сказанный подлог был совершен над публичной официальной бумагой.

7) Что Себастьян Буатель не уличен в вызывании виновного или виновных к совершению означенного преступления подарками, обещаниями и т. п.

8) Что Эжен Стофле не уличен в содействии и помощи, ни в подготовлении и облегчении совершения означенного подлога, ни в самом подлоге.

9) Что Жан-Франсуа Груар не уличен в помощи и содействии виновному или виновным, ни в подготовлении или облегчении означенного подлога, ни в самом подлоге.

В силу этого заявления президент, согласно 424-й: статье закона 3 брюмера 4-го года Уложения о преступлениях и наказаниях, признал, что Себастьян Буатель, Эжен Стофле и Жан-Франсуа Груар освобождаются от возводимого на них преступления, и приказал немедленно их выпустить на свободу, если они только не задержаны еще по какой другой причине».

Суд по выслушиванию комиссара исполнительной власти и гражданина Депре, адвоката подсудимых, приговорил Франсуа Видока и Цезаря Гербо к восьмилетнему заключению в кандалах, согласно 44-й статье и второму отделению второй главы второй части Уложения о наказаниях, которая была прочтена на суде и заключается в следующем:

«Если означенный подлог совершен над официальным документом, то полагается наказание заключения на восемь лет в оковах».

Приказ от суда, согласно двадцать восьмой статье первой главы первой части Уложения о наказаниях, также читанной на суде и заключающейся в следующем: «Всякий, присужденный к какому-либо наказанию, кандалам, заключению в смирительном доме, пытке или тюремному заключению, должен быть предварительно отведен на городскую площадь, куда также созывается и суд присяжных; там его привязывают к столбу, поставленному на эшафот, и он таким образом остается на глазах народа на шесть часов, если он приговорен к кандалам или заключению в смирительном доме, на четыре часа — если приговорен к пытке, и на два часа — если приговорен к заключению в тюрьме; над его головой должна быть

надпись большими буквами его имени, профессии, места жительства, его преступления и приговор».

И согласно 445-й статье закона 3 брюмера четвертого года Уложения о наказаниях, которая также была прочтена, именно: выставка у позорного столба должна быть на площади общины, где заседает также уголовный суд.

Итак, согласно этим статьям, означенные Франсуа Видок и Цезарь Гербо будут выставлены на шесть часов на эшафоте, воздвигнутом для этой цели на площади общины.

Приказано по представлению комиссара исполнительной власти означенный приговор привести в исполнение.

Составлен и произнесен в Дуэ, в присутствии уголовного суда северного департамента, седьмого нивоза пятого года французской республики, единой и нераздельной, в котором заседали граждане: Делаетр, председатель, Гавен, Рикке, Реа и Легран, судьи, подписавшие подлинник означенного документа.

Извещаем и приказываем всем судебным приставам привести означенный приговор в действие, а генерал-прокурорам и прокурорам суда первой инстанции наблюдать за этим; всем комендантам и офицерам подавать вооруженную помощь, при законном на то востребовании. В удостоверение сего означенный приговор подписан председателем суда и актуариусом.

С подлинным верно.

Подписано: Лепуан, актуариус.

На полях написано:

занесен в протокол в Дуэ тринадцатого прериаля тринадцатого года, лист шестьдесят седьмой, на обороте вторая страница: получено пять франков, именно; два франка за ведение дела, два за защиту и пятьдесят сантимов добавочных сумм.

Подписано: Демаг.

На полях первого листа значится:

Помечено за нашей подписью, судья суда первой инстанции округа Бетюн, согласно со статьей двести тридцать седьмой гражданского Свода Законов и протоколу этого дня, тридцатого прериаля тринадцатого года, заменяющий отсутствующего председателя.

Подписано: Дельдик.

Глава седьмая

Отправка из Дуэ. Возмущение арестантов в Компьенском лесу. — Пребывание в Бисетре. — Тюремные нравы. — Двор сумасшедших

Измученный дурным обращением во всех видах в тюрьме Дуэ, выведенный из терпения усиленным надзором со времени моего заключения, я и не думал подавать апелляцию, которая продлила бы мое заключение еще на несколько месяцев. Меня утвердило в этом намерении известие, что заключенные будут немедленно отправлены в Бисетр и присоединены к каторжникам, отправляемым в Брестский острог. Нечего и говорить, что я рассчитывал бежать дорогой. Что же касается до апелляции, то меня уверили, что я могу подать из острога просьбу о помиловании. Но, однако, мы несколько месяцев просидели в Дуэ, и мне пришлось горько пожалеть, что я не подал апелляции.

Наконец пришел приказ об отправлении нас и был встречен нами с восторгом. Как это ни странно кажется относительно людей, осужденных на каторгу, но нас уж очень доконали притеснения тюремщика Марена. Впрочем, и новое наше положение было весьма незавидно: сопровождавший нас экзекутор Гуртрель неизвестно зачем велел сделать оковы по новому фасону, так что у каждого из нас было на ноге по пятнадцать фунтов, и, кроме того, мы были скованы попарно толстым железным обручем. Прибавьте к этому самый бдительный надзор, так что рассчитывать на свою ловкость и хитрость не было никакой возможности и оставалось только искать спасения в своей силе и дружном нападении на сопровождавшую нас стражу, что я и предложил своим товарищам. Они, в числе четырнадцати, охотно согласились и условились привести свой план в действие при проходе через Компьенский лес. В числе арестантов был и Десфоссо; нося по-прежнему в себе пилу, он в три дня распилил наши цепи,

и при помощи особой замазки распиленные места были искусно скрыты.

Входим в лес. На условленном месте, по данному знаку, оковы спадают, мы мигом выскакиваем из повозок и бросаемся в чащу. Находившиеся в конвое пять жандармов и восемь драгун бросаются на нас с саблями. Мы прячемся за деревьями, вооруженные камнями и кой-каким оружием, захваченным в минуту смятения. Сначала стража колебалась, но, будучи хорошо вооружена и на хороших лошадях, она вскоре принялась за дело. При первом выстреле двое из наших упали мертвыми на месте, пятеро были сильно ранены, а остальные бросились на колени, прося пощады. Приходилось сдаться. Десфоссо, я и некоторые другие, также уцелевшие, торопились снова забраться в свои повозки, как вдруг Гуртрель, все время державшийся в почтительном отдалении от побоища, подошел к одному несчастному, по-видимому, недостаточно поторопившемуся, и вонзил ему саблю в тело. Такая низость привела нас в негодование. Кто еще не успел сесть на свое место — схватился снова за камни, и если бы не драгуны, Гуртрель был бы убит. Они угрожали, что передавят нас, и доказали это столь очевидным образом, что пришлось сложить оружие, т. е. камни. Но во всяком случае это происшествие положило конец притеснениям Гуртреля, который уже с некоторым трепетом относился к нам.

В Санлисе нас засадили в пересыльную тюрьму, одну из ужаснейших, которые я когда-либо знал. Тюремщик в то же время занимал должность полевого сторожа, поэтому тюрьмой управляла его жена. И что за женщина! Она не стеснялась обыскивать нас даже в самых секретных местах, желая твердо удостовериться, что с нами нет чего-либо, служащего для побега. Но мы так расходились, что стены дрожали, и она закричала хриплым голосом: «Ах вы негодяи, постойте, вот я возьму свою плетку и посмотрю, как-то вы тогда станете горланить». Мы это приняли к сведению и разом притихли. На

следующий день мы прибыли в Париж. Нас повели боковыми бульварами, и в четыре часа пополудни мы были в Бисетре.

По прибытии к концу аллеи, выходящей на дорогу в Фонтебло, повозки повернули направо и въехали за решетку, над которой я машинально прочел надпись: «Богадельня для престарелых». На первом дворе прогуливалось много стариков, одетых в серые балахоны, — это были добрые бедняки. Они теснились на нашем проезде с тем глупым любопытством, которое происходит от монотонной и чисто животной жизни, потому что люди из народа, принятые в богадельню, не имея заботы о насущном существовании, часто доходят до того, что отказываются от всякого мышления своего узкого разума и кончают тем, что впадают в совершенный идиотизм. Вступив на второй двор, где находится часовня, я заметил, что большинство моих товарищей закрывали свое лицо руками или платками. Можно подумать, что они испытывали чувство стыда; ничуть не бывало, они только думали о том, чтобы не запомнили их лица, если придется удрать, когда к тому представится случай. «Вот мы и прибыли, — сказал мне Десфоссо, который сидел рядом со мной. — Ты видишь это четырехугольное здание? Это тюрьма». Нас высадили действительно перед дверью, охраняемою внутри часовым. Войдя в канцелярию, нас только записали; дознание было отложено до следующего дня. Между тем я заметил, что привратник смотрит на нас, на Десфоссо и на меня, с некоторым любопытством, и я заключил, что судебный пристав Гуртрель, который предшествовал нам на четверть часа с самого дела в компьенском лесу, отрекомендовал нас. Пройдя несколько дверей, очень низких, обитых железом, келейный тюремщик нас ввел на большой квадратный двор, где около шестидесяти заключенных играли в барры, издавая крики, от которых дрожал весь дом. Когда мы вошли, все приостановилось и нас окружили, с удивлением рассматривая оковы, которые были надеты на нас. Явиться в Бисетре с подобным

украшением было верхом гордости, потому что о достоинстве пленника, т. е. его смелости и его способности к побегу, судили по мерам, принятым против него. Десфоссо, который очутился в знакомом кругу, легко было представить нас как самых замечательных людей Северного департамента. Он сделал более, особенно расхвалив меня, и я был окружен вниманием со стороны всех наиболее знаменитых арестантов, например: Бомон, Гилльом-отец, Могер, Жосса, Малтез, Корню, Блонди, Труфлат, Ришард, один из соучастников убийства лионского курьера, не покидали меня. Только что с нас сняли дорожные кандалы, меня увлекли в кабачок, где в течение двух часов я должен был принять тысячи приглашений. Но вдруг вошел высокий человек в полицейской шапке, которого мне назвали инспектором камер; он позвал меня и повел в большую комнату, называемую форт Магон, где нас переодели в тюремную одежду, состоящую из куртки, наполовину черной и наполовину серой. В то же время инспектор мне объявил, что я буду бригадир, т. е. что я буду председательствовать при раздаче продовольствия между моими сотольниками; вследствие этого я имел хорошую постель, между тем как другие спали на походных постелях.

По прошествии четырех дней я был известен всем арестантам. Хотя все были высокого мнения о моем мужестве, но Бомон искал случая затронуть меня и затеять ссору. Мы дрались, и так как я имел дело с адептом по этим гимнастическим упражнениям, называемым кулачками, то и был совершенно побежден. Я отплатил ему в камере, где Бомон, за недостатком места, не мог пустить в ход всех приемов своего искусства, и, в свою очередь, я одержал верх. Но первая моя неудача дала, однако, мне идею посвятить себя в тайны этого искусства, и знаменитый Жан Гутель, кулачный герой, который находился с нами в одно время в Бисетре, скоро должен был меня считать в числе учеников, наиболее приносящих ему чести.

Тюрьма Бисетр — обширное четырехугольное здание, заключающее в себе различные постройки и множество дворов, которые все носят различные имена. Есть большой двор, где прогуливаются заключенные; кухонный двор, железный двор. На последнем находится новое пятиэтажное здание. В каждом этаже сорок келий, в каждой может поместиться четыре заключенных. На платформе, заменяющей крышу, бродила день и ночь собака по кличке Драгун, которая слыла за сильное и храброе животное, не поддающееся на искушения; но заключенные сумели потом ее подкупить посредством жареной баранины, к которой она имела слабость — общераспространенная страсть: известно, что нет более могущественного обольщения, как обжорство, потому что оно действует безразлично на все органические существа. Для честолюбия, для игры, волокитства есть пределы, положенные природой; но обжорство не знает лет, и если аппетит встречает иногда сопротивление, то прибегают обыкновенно к слабительным, чтоб очистить желудок. Между тем амфитрионы бежали, пока Драгун лакомился бараниной; он был обвинен и сослан на собачий двор. Там, посаженный на цепь, лишенный чистого воздуха, которым он пользовался на платформе, неутешный от своей ошибки, он чах день ото дня и покончил от угрызения совести, — жертва минуты обжорства и ошибки.

Возле строения, о котором я говорил, возвышается старое здание, почти так же расположенное и в котором устроили безопасные камеры, где запирают буйных и осужденных насмерть, В одной из этих камер прожил сорок три года тот из соучастников Картуша, который выдал его, чтоб получить пожизненное заточение. Этот чудак очень часто, желая насладиться солнечным светом, с таким совершенством притворялся мертвым, что когда испустил последний вздох, то прошло два дня, прежде чем с него сняли железный ошейник. Третий корпус здания, называемый каторжным, заключал

различные залы, где помещали осужденных, прибывших из провинций и предназначаемых, как и мы, на каторгу.

В это время тюрьма Бисетр, которая крепка только по усиленному надзору, строго там соблюдавшемуся, могла заключать тысячу двести арестантов, но они были стеснены, как сельди в бочонке, и тюремщики нисколько не обнаруживали желания облегчить хотя сколько-нибудь тяжелое положение заключенных: взгляд суровый, голос хриплый, грубые выходки. Они старались угнетать заключенных и смягчались только при виде взятки. Они не старались укрощать пороки, и лишь бы только не было замечено попыток к бегству, то в тюрьме можно было делать все, что угодно, и вас никто не тревожил и не беспокоил. Тогда как преступники, осужденные за противонравственные посягательства, открыто проповедовали практику разврата, воры упражнялись в своем отвратительном занятии внутри тюрьмы, и никто из служащих не находил в этом ничего предосудительного.

Если прибывал из провинции какой-нибудь новичок, хорошо одетый, попавший первый раз в тюрьму и потому не посвященный в тюремные нравы и обычаи, — то в одно мгновение вся его одежда исчезала и потом продавалась в его присутствии тому, кто более даст и за кем последняя цена. Если у него были вещи или деньги, то их конфисковывали в пользу общества, а так как, например, серьги долго было вынимать из ушей, то их срывали, и мученик не мог жаловаться: он был заранее предупрежден, что если будет говорить, то его повесят на задвижке в камере и объявят, что он покончил самоубийством. Из предосторожности один заключенный, ложась спать, положил свои пожитки под голову; когда он заснул первым, крепким сном, ему привязали к ноге камень, который положили на край постели: достаточно было малейшего движения, чтобы камень упал; пробужденный неожиданным стуком, он приподнимается, и прежде чем мог отдать себе отчет в том, что случилось, его узел, прицеплен-

ный к веревке, был притянут через решетку в верхний этаж. Я видал бедняков, обобранных таким образом в зимнее время, оставшихся в одной рубашке на дворе, до тех пор, пока кто-нибудь не бросал им какое-нибудь тряпье, чтобы прикрыть наготу. Во время нахождения в Бисетре арестанты могли еще зарываться в солому и таким образом бороться против суровости холода, но наступало отправление на каторгу, и тогда, не имея другой одежды, кроме балахона и панталон из упаковочного холста, они часто погибали от холода, не достигнув первой остановки.

Подобным обращением с этими несчастными объясняется способность к развращению людей, которых легко бы было возвратить к хорошей жизни, но которые, предаваясь полному разврату, стараются забыть гнетущую бедность и ищут облегчения своей участи, привыкая к преступлениям. В обществе боятся позора, среди же осужденных позор обуславливается отсутствием бесчестности. Осужденные составляют особую нацию: кто явится среди них, тот должен ожидать, что его встретят, как врага, до тех пор, пока он не станет говорить их языком, не усвоит себе их образа мыслей.

Но это еще не все — существуют злоупотребления еще более ужасные. Если заключенный будет объявлен ложным братом или бараном, то он будет безжалостно избит на месте, и ни один тюремщик не вмешается, чтобы спасти его. Дошли до того, что принуждены были назначить особое помещение для тех лиц, которые при следствии по их делу дали показания, компрометирующие их относительно их сообщников. С другой стороны, бесстыдство воров и безнравственность чиновников дошли до того, что открыто подготовляли в тюрьме плутовства и мошенничества, развязка которых происходила уже вне ее стен. Я расскажу только об одном из таких случаев. Этого будет достаточно, чтобы дать понятие о степени доверчивости глупцов и смелости мошенников. Один из преступников добыл адреса богатых людей,

живущих в провинции, что было очень легко через посредство арестантов, прибывавших оттуда чуть ли не каждый день. Заручившись адресами, он отправил им письма, называемые на воровском наречии Иерусалимскими письмами и содержание которых заключалось в следующем. Бесполезно прибавлять, что имена мест и лиц изменялись, смотря по обстоятельствам:

«Милостивый государь!

Вы, без сомнения, будете удивлены, получив это письмо от неизвестного лица, которое ожидает от вас услуги; но находясь в таком печальном положении, я погиб, если честные люди не придут мне на помощь. Вы поймете, почему я обращаюсь именно к вам, о котором слышал так много хорошего, что не мог колебаться довериться вам вполне. Я эмигрировал вместе с маркизом де… у которого служил камердинером. Чтобы не возбудить подозрения, мы путешествовали пешком, и я нес багаж, в том числе шкатулку с шестнадцатью тысячами франков золотом и бриллиантами покойной маркизы. Мы уже готовы были присоединиться к армии…, как вдруг нас открыли и стали преследовать отрядом волонтеров. Господин маркиз, видя, что нам не ускользнуть, велел мне бросить шкатулку в довольно глубокую лужу, возле которой мы находились, чтобы присутствие шкатулки не изменило нам, если мы будем арестованы. Я предполагал вернуться за ней в следующую ночь, но крестьяне, поднятые набатом, в который велел ударить начальник отряда против нас, с такой ревностью начали обыскивать лес, где мы были спрятаны, что нам оставалось только помышлять о бегстве. Прибыв за границу, господин маркиз получил пособие от принца де …, но эти средства скоро истощились, и он решился послать меня отыскать шкатулку, оставшуюся в луже. Я тем более надеялся ее найти, что на другой день, когда я ее опустил, мы на память составили план местности, на случай

если мы долго не в состоянии будем возвратиться. Я возвратился во Францию и добрался без приключений до деревни ..., соседней с лесом, где нас преследовали. Вы должны прекрасно знать эту деревню, так она находится в трех четвертях лье от вашего местопребывания. Я готов был выполнить свое поручение, когда хозяин гостиницы, где я остановился, ярый якобинец и покупщик государственных имуществ, заметив мое колебание, когда он предложил выпить за республику, арестовал меня как подозрительного субъекта. Так как у меня не было бумаг и по несчастью я имел сходство с одним лицом, преследуемым за остановку дилижанса, то меня пересылали из тюрьмы в тюрьму, чтоб делать очную ставку с предполагаемыми сообщниками. Таким образом я попал в Бисетр, где нахожусь в больнице в течение двух месяцев.

В этом ужасном положении я вспомнил, как о вас говорила мне одна родственница моего господина, которая имела поместье в вашем кантоне; и я обращаюсь к вам с просьбой известить меня, не в состоянии ли вы оказать мне услугу: вынуть шкатулку и переслать мне часть находящихся в ней денег. Это мне поможет в настоящих тяжких обстоятельствах и позволит вознаградить моего защитника, под диктовку которого я пишу и который уверяет меня, что с помощью незначительных подарков я избавлюсь от суда.

Примите, Милостивый Государь, и пр.

Подписано N...»

Из ста писем подобного рода на двадцать всегда получался ответ. Этому нечего удивляться, если принять во внимание то, что с ними обращались только к людям, известным своей привязанностью к старым порядкам, а дух партий мало способен рассуждать. При этом принималось во внимание предполагаемое неограниченное доверие просителя, которое всегда имеет влияние на самолюбие или интерес. Провинциал

отвечал, что он соглашается принять на себя заботу об отыскании шкатулки. Новое послание мнимого камердинера извещало, что лишенный всего, он заложил больничному служителю за незначительную сумму чемодан, в двойном дне которого находится известный план. Тогда присылались деньги, и сумма их иногда доходила до тысячи двухсот или пятисот франков. Некоторые, желая выказать свое благоразумие, явились из своих провинций в Бисетр, где им передавался план, который должен был их привести в таинственный лес, в который они никак не могли попасть и который вечно уходил от них, подобно фантастическим лесам рыцарских романов. Сами парижане иногда попадались в ловушку, вероятно многие помнят торговца сукнами с улицы Прувер, которого поймали, когда он подкапывал один из устоев моста Peut Neuf'a, где надеялся найти бриллианты герцогини Бульонской.

Понятно, что подобные штуки могли выполняться только с согласия и с участием чиновников, так как они получали письма искателей кладов. Но надзиратели полагали, что независимо от косвенной пользы, которую они извлекали через увеличение издержек арестантов на закуски и напитки, занятые таким образом арестанты будут менее думать о побеге. По этой же самой причине они допустили производство различных вещей из соломы, дерева, кости и даже фальшивых монет в два су, которые в одно время наводнили весь Париж, Были еще и другие промыслы, но те совершались тайно: подделывали паспорта с неподражаемым искусством; делали пилки для распиливания оков и фальшивые накладки из волос, которые отлично служили для побега из острога, так как каторжников легче всего было узнать по их бритым головам. Эти различные предметы прятались в жестяные трубки, которые можно было ввести во внутренность.

Что касается до меня, то занятый постоянно мыслью избавиться от каторги и добраться до какой-нибудь пристани,

где бы я мог сесть на корабль, я день и ночь соображал средства, чтобы покинуть Бисетр.

Наконец я решил проломать плиту в форту Магон, добраться до водопровода, находившегося под зданием, и затем, с помощью подкопа, попасть на двор сумасшедших, откуда уже легко было выбраться на волю. Проект был исполнен в течение десяти дней и стольких же ночей. Все это время заключенные, находившиеся в подозрении, выходили не иначе как в сопровождении верных людей. Надо было обождать, пока луна будет на ущербе. Наконец, 13 октября 1797 года, в два часа утра мы спустились в водопровод в числе тридцати четырех человек. С потайными фонарями мы скоро открыли подземный ход и проникли во двор сумасшедших. Теперь оставалось найти лестницу или что-нибудь вроде, чтобы перелезть через стену. Наконец нам попался под руку длинный шест, и мы кинули жребий о том, кому лезть первому; но в это время шум цепей нарушил тишину ночи.

В одном из углов двора вышла собака из конуры, и мы встали, как вкопанные, притаив дыхание, так как минута была решительная. Она потянулась, зевая, и, казалось, хотела только переменить положение; затем сделала движение, как бы желая войти в конуру, и уже положила в нее одну лапу. Мы считали себя спасенными; но вдруг она повернула голову в ту сторону, где мы были скучены, и устремила на нас два глаза, горевшие, как уголья. За глухим рычанием последовал громкий лай, раздавшийся на весь дом. Десфоссо сначала хотел попробовать задушить собаку, но она была таких внушительных размеров, что с ней сладить было бы не так-то легко. Мы сочли благоразумнее удалиться в большую открытую комнату, в которой пользовали сумасшедших, но собака не перестала лаять, другие начали ей вторить, гам усилился, и инспектор Жиру догадался, что случилось что-нибудь необыкновенное. Зная своих, он начал обход с форта Магон

и чуть не упал навзничь, не найдя там ни души. Надзиратели, тюремщики, стража — все прибежали на его крик. Путь наш был открыт, и той же дорогой они прошли на двор сумасшедших. Спущенная с цепи собака побежала прямо к нам, и в комнату, где мы находились, вошла стража со штыками наперевес, как будто ей предстояло взять редут. По тюремному обычаю на нас надели ручные цепи, потом мы возвратились, но не в форт Магон, а в каземат. Однако нас не подвергали никаким насилиям.

Это смелое покушение, какого давно уже не случалось в тюрьме, привело в такое смущение всех надзирателей, что два дня не заметили отсутствия одного заключенного из форта Магон: именно Десфоссо. Зная его ловкость, я считал его далеко, как вдруг на третий день утром увидел его, входящего в мой каземат, бледного, истерзанного, окровавленного. Когда дверь затворилась за ним, он рассказал мне свои приключения.

В то время, когда стража окружила нас, он запрятался в какой-то чан, вероятно служивший для душа или ванн. Не слыша шума, он вышел из своего убежища и с помощью шеста перелез через несколько стен, но постоянно попадал на дворы сумасшедшего дома. Между тем начало светать, и он слышал уже движенье в доме, так как нигде не встают так рано, как в больницах. Надо было избегнуть чиновников, которые не могли замедлить появиться на дворе. Решетка одной камеры была открыта, и он проскользнул туда, а для большей предосторожности хотел зарыться в большой охапке соломы, но каково же было его удивление, когда он увидал скорченного голого человека, волосы которого были в беспорядке, борода всклокочена, глаза свирепые и налитые кровью. Сумасшедший смотрел на Десфоссо страшным взглядом, потом сделал быстрый жест, и так как тот остался неподвижным, то он бросился на него, как бы желая растерзать. Несколько ласко-

вых движений, казалось, успокоили его, он взял Десфоссо за руку и посадил возле себя, подбирая под него всю солому с резкими и неровными движениями, как обезьяна. В восемь часов утра кусок черного хлеба упал за решетку; сумасшедший хватает его, некоторое время рассматривает и, наконец, бросает в бак с нечистотами, откуда через минуту снова вытаскивает и ест. В течение дня принесли еще хлеба, но сумасшедший спал, и Десфоссо воспользовался этим и утолил свой голод, рискуя быть растерзанным своим странным товарищем, который мог остаться недоволен, что он завладел его порцией. В сумерках сумасшедший проснулся и несколько времени что-то говорил скороговоркой. Наступила ночь, его волнение значительно усилилось, он начинает делать отвратительные прыжки и кривлянья, с каким-то удовольствием потрясая своими цепями.

Находясь в этом страшном положении, Десфоссо с нетерпением дожидался, чтобы сумасшедший заснул и дал ему возможность вылезть через решетку. В полночь, не слыша его движений, он подвигается, просовывает руку, голову… но его хватают за ногу. Сумасшедший сильной рукой бросает его на солому и становится перед решеткой, где остается до утра, неподвижный, как статуя. В следующую ночь — новое покушение и новое препятствие. У Десфоссо мысли в голове начинают приходить в беспорядок, и он решается употребить силу. Начинается страшная борьба, и Десфоссо, пораженный ударом цепи, покрытый царапинами, избитый, принужден призвать сторожей. Те приняли его сначала за одного из своих заблудившихся больных и хотели его тоже запереть в каморку; но в конце концов его узнали и он получил благосклонное соизволение присоединиться к нам.

Целую неделю мы оставались в каземате, после чего я был помещен в Шоссе, где нашел часть заключенных, которые так хорошо меня встретили при моем прибытии. Они жили

на широкую ногу и не отказывали себе ни в чем, так как независимо от денег, добываемых Иерусалимскими письмами, они получали еще помощь от знакомых женщин, навещавших их совершенно беспрепятственно. Находясь, как и в Дуэ, под более строгим надзором, я, тем не менее, не переставал искать средства бежать опять, когда наступил день отправления на каторгу.

Глава восьмая

Отправление каторжников. — Жалобная песнь галерников. — Человечность аргусов. — Они поощряют воровство. — Несчастное покушение к побегу. — Брестский острог. — Благословенья

20 ноября 1797 года целое утро в тюрьме было заметно необыкновенное движенье. Заключенные не выходили из камер, двери каждую минуту отворялись и затворялись с шумом; тюремщики с озабоченным видом ходили взад и вперед; на главном дворе выгружали оковы, и звук этот доходил до нас. Около одиннадцати часов два человека в голубой форме вошли в форт Магон, где уже в течение недели я находился с моими товарищами по ссылке, — это были капитан над каторжными и его помощник.

— Ну! — сказал капитан с улыбкой, выражавшей добродушную благосклонность. — Есть ли здесь обратные лошади (беглые каторжники)?

Когда он говорил, каждый спешил выказаться перед ним: «Здравствуйте, г. Виез! Здравствуйте, г. Тьерри!» — кричали со всех сторон. Приветствия повторялись даже теми заключенными, которые никогда не видели ни Виеза, ни Тьерри, но хотели заслужить их расположение, показывая вид, что они им известны. Не может быть, чтобы эти знаки уважения не льстили немного капитану Виезу, но он привык к подобным почестям, не терял головы и тотчас узнавал своих. Он заметил Десфоссо: «А! а! — сказал он. — Вот пентюх (арестант, ловко снимающий оковы), он уж путешествовал с нами. До меня дошло, что ты рисковал быть скошенным (гильотинированным) в Дуэ, мой милый. Черт побери! Ты хорошо сделал, что избежал этого; потому что, вот видишь, все лучше вернуться в луга (на каторгу), нежели позволить дядюшке (палачу) как мячику забавляться нашей сорбонной (головой). Но главное, мои дети, чтоб все были спокойны, и тогда получите говядины с петрушкой». Капитан продолжал свой

осмотр, обращаясь с такими же любезными шуточками ко всему своему товару, как он называл осужденных.

Наконец наступила критическая минута; мы сходим во двор цепей, где тюремный врач осматривает нас, чтоб убедиться, все ли могут перенести трудности дороги. Все были объявлены годными, хотя многие из нас находились в плачевном состоянии. Потом каждый из арестантов скидывает тюремное платье и надевает свое собственное; те, у которых его нет, получают полотняные балахон и панталоны, очень недостаточные для защиты от холода и сырости. Шляпы, одежда и все то немногое, что оставляется арестантам, странным образом обезображивается, чтобы предупредить побеги. Например, у шляпы обрезаются поля, у одежды — воротник. Наконец, ни один арестант не может сохранить более шести франков; весь излишек передается капитану, который выдает в дороге по мере надобности. Но этой меры легко избегают и прячут луидоры в большие медные монеты, выдолбленные по окружности.

По окончании этих предварительных мер мы выходим на большой двор, где находятся надзиратели над каторжниками, известные под именем аргусов. В большинстве случаев это овернцы — носильщики воды, комиссионеры, угольщики, которые занимаются ремеслом в промежуток между путешествиями. В середине их — большой деревянный ящик, заключающий оковы, которые последовательно служат для всех подобных отправлений. Стараясь подбирать по росту, нас соединяли попарно шестифутовой цепью, прикреплявшейся к общему железному пруту для двадцати шести арестантов, которые вследствие этого могли двигаться только массой. Каждый был прикреплен к этой общей цепи от ошейника, в виде железного треугольника, который с одной стороны отворялся на болтовом шарнире, а с другой забит был гвоздем. Заклепка гвоздем была самая опасная часть операции: самые упрямые, самые раздражительные люди

остаются в это время неподвижными, потому что при малейшем движении молот, скользящий ежеминутно мимо черепа, грозит раздробить его, вместо того, чтобы ударить по наковальне. Затем является один из заключенных, вооруженный большими ножницами, и остригает каторжникам волосы на голове и бороде, стараясь стричь неровно.

В пять часов вечера заковка окончена, аргусы удаляются и на дворе остаются только осужденные. Предоставленные сами себе, они далеко не отчаиваются, а предаются самой шумной веселости. Одни отпускают громко самые ужасные шутки, повторяемые со всех сторон отвратительным тоном. Другие стараются омерзительными телодвижениями возбудить смех товарищей. Ни слух, ни зрение не были пощажены. Все, что приходилось видеть, все было безнравственно и оскорбляло слух. Действительно, осужденный, раз закованный в кандалы, считает долгом попирать ногами все, что пользуется уважением в обществе, оттолкнувшем его. Ничто его не удерживает, кроме материальной силы: его хартия — длина цепи, а закон для него — палка, к которой приучили его палачи. Брошенный среди существ, для которых нет ничего святого, он старается скрывать серьезность и сосредоточенность, которую, естественно, пробуждает раскаяние, чтобы не сделаться целью насмешек; кроме того, его серьезность возбуждает в страже подозрение — уж не замышляет ли он заговора. Если си хочет их успокоить насчет своих намерений, то должен казаться беззаботным. Только те вне всяких подозрений, кто мирится со своей участью, хотя пример многих злодеев, ускользнувших с каторги, доказывает противное. Достоверно то, что наиболее заинтересованные из нас в побеге были менее других печальны, напротив — шумно веселы. Как только наступила ночь — они начали петь. Представьте себе пятьдесят негодяев, большей частью пьяных, ревущих на разные лады. Среди этого гвалта, одна

обратная лошадь пропела звонким голосом несколько куплетов из жалобной песни галерников:

— Каторга, это град, но все равно, оно не совсем дурно. Одежда у нас красная, вместо шляп колпаки, а галстуками мы пренебрегаем; нам напрасно жаловаться, мы избалованные дети, и боязнь потерять нас заставляет держать на цепи.

Мы будем работать красивые вещи из соломы и кокосов, мы изящно расположим их на выставке, и наша лавка не будет платить налога. Те, которые посещают острог, никогда не уйдут, не купив чего-нибудь, а полученной прибылью мы промочим себе горло.

…

Когда настает час набить брюхо, принимаемся за бобы; это не совсем вкусно, но так же питает, как лучшее фрикасе. Несчастье было бы еще гораздо больше, если бы нас обстригли, как стригут в аббатстве Mont-a-regret.

Но не все наши товарищи были одинаково счастливы. В 3-й партии, где находились менее буйные из осужденных, слышались рыдания, видно было, как лились горькие слезы; но эти признаки печали или раскаяния были встречены насмешками и ругательствами двух других отделений, где я находился в числе первых как лицо опасное по своей ловкости и влиянию. Возле меня двое не выказывали ни веселости, ни уныния, но болтали самым спокойным и непринужденным образом. Один был школьным учителем и осужден за изнасилование, другой — бывший лекарь, осужденный за подлоги.

— Мы отправимся в Брест? — говорил школьный учитель.

— Да, — отвечал лекарь, — мы отправляемся в Брест. — Я знаю эти места, Я состоял там помощником в 16-й бригаде. Хорошая сторонка, ей-Богу. Я не против того, чтоб увидать ее опять.

— Есть там удовольствия? — начал опять педагог, который показался мне не слишком далеким.

— Удовольствия? — сказал немного удивленным тоном его собеседник.

— Да, удовольствия. Я хочу спросить, можно ли там хорошо пожить, хорошо ли кормят? Дешевы ли жизненные продукты?

— Во-первых, вас будут кормить, — отвечал спокойно собеседник, — и хорошо кормить, так как в Брестском остроге надо только два часа, чтобы поймать в супе боб, между тем, как в Тулоне для этого необходима целая неделя.

Тут разговор был прерван страшными криками, послышавшимися из второй группы. Три арестанта были избиты ударами цепей; бывший военный комиссар Лемьер, офицер главного штаба Симон и один вор по названию маленький матрос. Их обвиняли в измене товарищам, замышлявшим какой-то тюремный заговор. Тот, который выдал их каторжникам, был бы счастливой находкой для художника-живописца или актера. Скверные зеленые туфли, охотничья куртка без пуговиц, нанковые панталоны, которые, казалось, презирали непогоду, и надетая, как головной убор, шапочка без козырька, в дырья которой просовывалась подкладка. В Бисетре его звали девкой, и я узнал, что это один из тех презренных, которые предаются в Париже позорной проституции, а на каторге находят арену, достойную их отвратительного сладострастия.

Аргусы, прибежавшие на шум, не сделали ни малейшего движения, чтоб освободить маленького матроса из рук каторжников. Он умер от палочных ударов через четыре дня после нашей отправки. Лемьер и Симон погибли бы тоже, если бы я не вмешался. Я знал первого в подвижной армии, где он мне оказал некоторые услуги. Я объявил, что это он доставил мне необходимые инструменты, чтобы пробить плиту форта Магон, и с тех пор его с товарищем оставили в покое.

Мы провели ночь на соломе в церкви, обращенной на время в магазин. Аргусы производили частые обходы для удостоверения, что никто не занимается игрой на скрипке (не пилит оковы). На рассвете все были на ногах, сделали перекличку и осмотрели оковы. В шесть часов мы были размещены на длинных телегах спинами друг к другу, с ногами, протянутыми наружу, покрытые инеем и пронизываемые холодом. Но, несмотря на то, по прибытии в Сен-Сир нас всех обыскали, раздевши догола. Искали в чулках, башмаках, рубашках, во рту, в ушах, в ноздрях и в других, еще более секретных местах. Искали не только пилки, но пружины от часов, с помощью которых арестанту было достаточно трех часов, чтобы перепилить оковы. Осмотр продолжался около часу, и удивляюсь, как половина из нас не отморозила носы и ноги. Спать нас поместили в бычьих хлевах, где мы были так стиснуты, что тело одного служило подушкой для другого. Если случалось запутаться в своих цепях или в цепях другого, тотчас же палочные удары сыпались на неловкого. Только что мы улеглись на нескольких охапках соломы, служившей подстилкой для скота, свисток подал сигнал к безусловному молчанию; его нельзя было прервать ни малейшей жалобой и даже в том случае, если бы аргусы ходили по нашим телам, чтобы разбудить караульного на другом конце хлева.

Ужин состоял из так называемого супа из бобов и нескольких кусков наполовину испорченной говядины. Раздача производилась из деревянных сосудов, которые заключали в себе тридцать порций, и повар, вооруженный большой разливательной ложкой, не переставал повторять каждому подходившему арестанту: «Раз, два, три, четыре… держи свою чашку, вор!» Вино раздавали в тех же чашках, которые служили для супа и говядины. Потом аргус брал свисток, который висел у него на пуговице, говоря:

— Слушайте, мошенники, и отвечайте коротко: да или нет! Получили вы хлеб?

— Да.
— Суп?
— Да.
— Говядину?
— Да.
— Вино?
— Да.
— В таком случае спите или притворяйтесь спящими.

Между тем накрывался стол при входе в хлев. Капитан, поручики, бригадиры аргусов помещались за ним кушать получше нашего, так как эти люди пользовались каждым случаем, чтобы оттягать арестантские деньги, и устраивали пиршества, не отказывая себе ни в чем. В это время хлев представлял вид самый отвратительный, какой только можно себе вообразить: с одной стороны — сто двадцать человек, помещенных, как дикие животные, с блуждающими глазами, лишенных сна от страшного горя; с другой стороны — восемь человек с мрачными лицами, жадно поедающие яства, не теряя из виду своих карабинов и палок. Несколько тонких свечей, прикрепленных к черным стенам хлева, бросали красноватый свет на эту сцену отчаяния, тишина которой прерывалась только глухим ропотом или бряцанием железа. Аргусы не ограничивались тем, что били куда попало, они потешались над арестантами и глумились над ними. Человека мучит жажда, он просит воды. Аргус провозглашает: «Кто хочет воды, пусть подымет руку». Несчастный, ничего не подозревая, исполняет приказание и тотчас осыпается ударами. Щадились, само собою, те, у которых были деньги, но таких было мало: долгое пребывание в тюрьме истощало скудные средства осужденных.

В администрации над каторжными были и другие злоупотребления. Чтобы сберечь в свою пользу часть расходов по транспорту, капитан заставлял почти всегда одну из партий идти пешком. Эта партия всегда состояла из самых сильных,

т. е. из самых неспокойных из осужденных. Горе женщинам, которые им попадались, и лавкам, которые были на их пути. Женщины подвергались самым грубым оскорблениям, что же касается до лавок, то они опустошались в одно мгновение: например, я видел в Морлэ одного лавочника, у которого не осталось ни одного пряника, ни одного фунта мыла. Может быть, спросят, чего же смотрела стража, когда совершалось преступление? Стража суетилась, но в действительности не представляла никакого препятствия, твердо убежденная, что в конце концов она попользуется от кражи, так как к ней должны обратиться каторжники, чтобы продать свою добычу или променять ее на крепкие напитки. Также обирали и арестантов, которых принимали по дороге. Только что успевали заковать их, как их окружали соседи и крали небольшое количество находившихся при них денег.

Нисколько не предупреждая и не останавливая этих грабежей, аргусы, напротив, сами часто подстрекали грабителей. Я видел, как они поступили с одним бывшим жандармом, который зашил несколько луидоров в свои кожаные штаны. «Тут жирно!» — сказали они и в три минуты покончили с беднягой. В подобных случаях жертва обыкновенно громко кричит, призывая на помощь аргусов; они непременно явятся, когда все уже кончено, чтоб осыпать палочными ударами того, которого обокрали. В Ренне эти разбойники довели наглость до того, что обобрали сестру милосердия, которая принесла нам табак и деньги в манеж, где мы должны были провести ночь. Более выдающиеся злоупотребления теперь исчезли, но существуют еще такие, которые очень трудно искоренить, если принять во внимание, каким людям доверяют надзор за каторжниками.

Наше трудное путешествие длилось двадцать четыре дня. Прибыв в Понт-а-Лезен, мы были помещены в каторжное депо, где осужденные выдерживают род карантина, пока не восстановятся их силы, и не убедятся, что они не одержимы

заразительными болезнями. Тотчас после нашего прибытия нас вымыли попарно в больших чанах с теплой водой и по выходе из ванны раздали нам одежду. Как другие, и я получил красную куртку, двое панталон, две полотняные рубашки, две пары башмаков и зеленый колпак. Каждая штука из этого приданого была намечена буквами Г. А. Л., а на колпаке была жестянка, на которой значился номер, занесенный в реестр. После раздачи одежды нас заковали в ножные кандалы, но в пары не соединяли.

Депо в Понт-а-Лезен — род лазарета, и поэтому надзор не так строг. Меня даже уверяли, что очень легко выйти из камер и перелезть потом через наружные стены. Я получил эти сведения от одного арестанта, по имени Блонди, который уже бегал из Брестского острога. Надеясь применить их, я приготовился воспользоваться первым случаем. Нам давали иногда хлеб в восемнадцать фунтов весу. Отправляясь из Морлэ, я выдолбил один из таких хлебов и положил туда рубашку, панталоны и платки. Это был чемодан нового образца, и его не осматривали. Поручик Тьерри не назначал надо мной особенного надзора; напротив, зная, за что я был осужден, он сказал обо мне комиссару, что с такими спокойными людьми можно вести каторжников, как пансион для девиц. Итак, не возбуждая никакого подозрения, я решился выполнить свой план. Дело в том, что надо было сначала пробить стену камеры, где мы были заперты. Стальные ножницы, забытые у моей кровати галерным приставом и служившие для заклепки наручников, послужили мне для пробития отверстия, а Блонди в это время распиливал мои цепи. Когда работа была окончена, мои товарищи, чтобы обмануть бдительность сторожевых аргусов, устроили и положили на мое место чучело, и затем, одетый в спрятанные вещи, я очутился на дворе депо. Стены, составлявшие ограду, были вышиной футов в пятнадцать, и я понимал, что перелезть можно было только с помощью лестницы. Шест заменил мне

ее, но он был так длинен и тяжел, что я не мог перетащить его через стену и спуститься на другую сторону.

После утомительных и бесполезных усилий я должен был решиться на скачок, но он мне плохо удался. Я так сильно повредил себе ноги, что насилу дополз до соседнего кустарника. Я надеялся, что боль стихнет и я в состоянии буду бежать до рассвета, но она все усиливалась, и ноги мои распухли до такой степени, что надо было оставить всякую мысль о побеге. Тогда я счел за лучшее доползти до дверей депо, чтоб возвратиться самому, надеясь заслужить снисхождение. Сестра милосердия, к которой я обратился и рассказал все, препроводила меня в комнату, где мои ноги были перевязаны. Эта превосходная женщина, которую я сумел разжалобить, просила за меня смотрителя депо, и он для нее простил меня. Когда я через три недели совершенно поправился, меня препроводили в Брест.

Острог расположен в середине гавани; пирамиды ружей, две пушки перед воротами указывали мне вход в камеры, куда я был введен после осмотра всеми сторожами заведения. Самые смелые и самые закоснелые преступники признавались, что невозможно избавиться от сильного волнения при виде этого места позора. Каждая камера заключает двадцать восемь лагерных кроватей, называемых нарами, на которых спят шестьсот закованных каторжников. Длинные ряды красных курток; бритые головы, впалые глаза, обезображенные лица, постоянное бряцание цепей — все это способно вселить ужас. Но для осужденного это впечатление только мимолетное; чувствуя, что здесь нет никого, перед кем ему следует краснеть, он мирится со своим положением. Чтоб не служить предметом грубых насмешек и гнусных шуток своих товарищей, он усиливается принять в них участие, даже превзойти их, и скоро испорченность от тона, от жестов переходит в самое чувство. В Антверпене, например, один бывший епископ испытал сначала все крайности подлых насмешек

каторжников. Они не называли его иначе, как монсеньор, ежеминутно испрашивали его благословения, принуждали его оскорблять свое прежнее звание бесстыдными словами, и силою повторения своих оскорблений они его изменили так, что он позже сделался маркитантом острога; его звали по-прежнему монсеньор, но не просили у него отпущения грехов — он ответил бы проклятиями.

Моим живейшим желанием было как можно скорей избавиться от острога побегом. Для этого прежде всего следует увериться в скромности своего парного товарища. Моей парой был винοделец, из окрестностей Дижона, человек около тридцати шести лет, осужденный на двадцать четыре года за вторичную кражу со взломом, что-то вроде идиота, которого бедность и дурное обращение превратили в животное. Казалось, он сохранил только одну способность — с поспешностью обезьяны или собаки отвечать на свисток аргусов. Подобная личность не подходила мне для исполнения моего проекта: мне надо было решительного человека, способного не отступать перед страхом палочных ударов, которых не щадят для каторжника, подозреваемого в содействии осужденному к побегу. Чтоб избавиться от Бургиньона, я притворился больным; его поставили в пару с другим, чтоб идти на работу; а когда я выздоровел, то меня соединили с бедняком, приговоренным на восемь лет за покражу курицы из священнического дома.

У этого сохранилась, по крайней мере, известная доля энергии. Первый раз, что мы остались одни на наре, он мне сказал: «Слушай, товарищ, ты не желаешь, как мне кажется, долго есть казенный хлеб… Будь со мной откровенен… Ты от этого ничего не потеряешь». Я признался, что имею намерение улизнуть при первой возможности. «В таком случае, — сказал он, — я тебе дам совет улепетнуть прежде, чем эти носороги аргусы привыкнут к твоей тыкве (лицу); но недостаточно только желать… есть у тебя филиппчики (золотые

экю)?». Я отвечал, что у меня есть немного денег; тогда он мне объявил, что он легко приобретет платье у одного из осужденных на двойную цепь; но для устранения подозрения необходимо мне купить хозяйство, как человеку, решившемуся спокойно провести свое время. Это хозяйство состояло в двух деревянных чашках, маленьком бочонке для вина, в патарасах (род венчиков, для того, чтоб железо не терло), наконец, в свистке (небольшой матрац, набитый паклей). Был четверг, шестой день моего прибытия в острог; в субботу у меня уже был костюм матроса, который я немедленно надел под арестантское платье. Платя продавцу, я заметил у него на ладонях круглые глубокие раны от прижигания и узнал, что, присужденный на вечные галеры в 1774 году, он выдержал в Ренне пытку огнем, не сознавшись в краже, в которой его обвиняли, С изданием свода законов 1791 года его участь была смягчена и он был осужден всего на двадцать четыре года.

На другой день после пушечного выстрела отделение, в котором я находился, отправилось на работу к водокачальне, никогда не останавливавшейся. У решетки камеры по обыкновению осмотрели наши наручники и одежду. Зная этот обычай, я наклеил на груди на костюм матроса лоскут цвета кожи. Так как я нарочно оставил свою куртку и рубашку открытыми, то стража не осматривала далее, и я прошел без затруднения. Придя к бассейну, я прошел с моим товарищем за груду досок, как будто по надобности; наручники были подпилены накануне, и припай, скрывавший след пилы, легко уступил при первом усилии. Избавившись от цепей, я скинул поспешно куртку и панталоны каторжника. Под кожаной шапкой я надел парик, принесенный из Бисетра, потом, вручив своему товарищу обещанное ему небольшое вознаграждение, я исчез среди груд четырехугольных брусьев.

Глава девятая

Охота за каторжниками. — Голос крови. — Больница. — Сестра Франциска. — Фоблаз II. — Матушка воров

Я без затрудненья прошел через решетку и очутился в Бресте, которого совсем не знал; боязнь, чтобы мол неуверенность и незнание дороги не выдали меня, увеличивала мое беспокойство. Наконец после многих остановок и поворотов мне удалось добраться до городских ворот, где издавна постоянно находился смотритель за каторжниками, прозванный Подляком, который в вас угадывал каторжника по жесту, телодвиженью, физиономии; что еще более облегчало его труд, это то, что человек, пробывший некоторое время в остроге, невольно волочил ногу, на которой была надета цепь. Но однако необходимо было пройти мимо этой страшной личности, которая с важностью курила трубку, устремив орлиный взор на всех проходивших. Я был предупрежден и устроил штуку: дойдя до Подляка, я поставил у его ног молочный горшок с маслом, который купил, чтоб дополнить свое переодеванье. Набив трубку, я попросил у него огня. Он поспешил подать мне свою трубку со всей любезностью, к какой был способен. Пустили несколько клубов дыма в лицо один другому, потом я покинул его и направился по дороге, расстилавшейся передо мной.

Я шел три четверти часа, как вдруг услыхал три пушечных выстрела, которыми извещают обыкновенно окрестных крестьян о побеге каторжника, давая им знать, что, доставив беглеца, можно заслужить награждение в сто франков. Я действительно видел много людей, вооруженных ружьями и карабинами, бегущих в поле и осматривающих тщательно кустарники. Некоторые земледельцы имели при себе оружие, из предосторожности. Один из них пересек дорогу, по которой я шел, услыхав выстрелы, но не признал меня; я был одет довольно чисто. Кроме того, снятая шляпа, которую

погода позволяла нести под мышкой, давала возможность видеть длинные волосы, которые не могли принадлежать каторжнику.

Я продолжал путь, избегая деревень и уединенных жилищ. В сумерки я встретил двух женщин, у которых спросил, где я и на какой дороге; они мне ответили на наречии, из которого я не понял ни одного слова; но я показал деньги и знаками объяснил, что хочу есть; они меня привели ко входу маленькой деревни в небольшой кабачок, содержимый… полевым сторожем, у которого при свете камина я увидел знаки его достоинства. Я с минуту находился в замешательстве, но, придя в себя, объявил, что желаю говорить с мэром. «Это я самый», — сказал старик-крестьянин в холщовом колпаке и деревянных башмаках, сидевший у маленького столика и евший галеты из гречневой муки. Новая неудача для человека, который хотел удрать по дороге от кабачка в мэрию. Но каким бы то ни было образом надо было выйти из этого положения. Я объявил чиновнику в деревянных башмаках, что, взяв в сторону по дороге из Морлэ в Брест, я заплутался и хотел узнать от него, в каком расстоянии я нахожусь от последнего города, где я должен ночевать сегодня вечером. «Вы в пяти лье от Бреста, — сказал он, — и вам невозможно добраться туда на ночь. Если вы хотите здесь уснуть, я вам дам у себя помещение, а завтра вы отправитесь с полевым сторожем, который поведет беглого каторжника, пойманного нами вчера».

Последние слова снова возбудили мое беспокойство, так как по тону я понял, что мэр не доверял моим словам. Я принял, однако, его любезное приглашение, но в то время, когда мы хотели отправиться к нему, я схватился за карман и с видом отчаявшегося человека воскликнул: «Боже мой! Я забыл в Морлэ бумажник с документами и восемь луидоров. Надо возвратиться тотчас — да, сейчас; но как найти дорогу? Если бы сторож проводил меня, — он должен знать мест-

ность, — мы бы вернулись вовремя для препровождения каторжника». Это предложение устраняло всякое подозрение, так как человек, который хочет спастись, не берет подобного сотоварища; с другой стороны, полевой сторож, предчувствуя вознаграждение, по первому слову надел сапоги. Мы отправились и на рассвете достигли Морлэ. Мой товарищ, которого я щедро подпаивал дорогой, остается вполне доволен; к довершению всего я угостил его ромом в первом погребке, попавшемся нам в городе. Он остался там, дожидаясь меня за столом, или лучше сказать под столом, а я тем временем спешил бежать.

У первого встречного я спросил дорогу в Ванн; мне ее указали, я отправился, а у самого, как говорится, душа ушла в пятки. Два дня прошли без затруднений, на третий день, в нескольких лье от Гемени, на повороте дороги я встретил двух жандармов, возвращавшихся с конвоировки. Неожиданное зрелище желтых штанов и шапок, обшитых галунами, меня поразило, и я хотел бежать, но они оба закричали, чтоб я остановился, схватившись за свои карабины. Они подошли ко мне; у меня не было бумаги, чтобы показать им, но я сочинил ответ на всякий случай: «Мое имя Дюваль, родом из Лориана, дезертир с фрегата «Кокарда», находившегося в настоящее время в гавани Сен-Мало». Бесполезно прибавлять, что я узнал эти подробности во время пребывания в остроге, куда приходили новости из всех портов. «Как! — закричал бригадир. — Вы Огюст, сын того Дюваля, который живет в Лориане на площади, рядом с «Золотым шаром»?» Я не противоречил; всего хуже было бить признанным беглым каторжником. «Черт возьми! — продолжал бригадир. — Мне жаль, что задержал вас, но теперь уж ничего не поделаешь… Надо вас препроводить в Лориан или Сен-Мало». Я настоятельно просил его не отправлять меня в первый из этих городов, опасаясь очной ставки с моими новыми родными, если бы захотели убедиться в моей личности. Но он дал приказание

отправить меня, и на другой день я прибыл в Лориан, где меня заключили в Понтаньо, морскую тюрьму, расположенную возле нового острога, наполненную каторжниками из Бреста.

Допрошенный на другой день комиссаром, я снова объявил, что я Огюст Дюваль и покинул корабль без позволенья, чтобы повидаться с родными. Тогда меня снова возвратили в тюрьму, где между другими моряками находился молодой человек, уроженец Лориана, обвиняемый в оскорблении действием старшего офицера корабля. Поговорив со мной, он мне сказал в одно утро: «Земляк, если вы заплатите за мой завтрак, я вам сообщу нечто такое, что не огорчит вас». Таинственный тон, ударение, которое он сделал на слове «земляк», меня встревожили и не позволили отказаться. Завтрак был подан, и за десертом он мне сказал следующее:

— Доверяетесь ли вы мне?

— Да!

— Итак, я вам помогу… Я не знаю, кто вы, но верно то, что вы не сын Дюваля, так как он умер два года тому назад в С.-Пьерр-Мартиник. (Я сделал движение.) Да, он умер уже два года, но здесь никто не знает ничего, таков порядок наших госпиталей в колониях. Теперь я вам могу сообщить некоторые сведения об его семействе, чтобы вас признали даже родные. Это будет тем легче, что он из дома отца поехал очень молодым. Для большей уверенности притворитесь слабоумным вследствие трудности морских путешествий и перенесенных вами болезней. Но есть еще кое-что. Прежде, нежели сесть на корабль, Огюст Дюваль татуировал себе на левой руке рисунок, как это делают многие матросы и солдаты. Я знаю превосходно этот рисунок: алтарь, украшенный гирляндой. Если вы сядете в каземат со мной дней на пятнадцать, я вам устрою такой же знак, так что все будут обмануты.

Собеседник мой казался прямым и откровенным, и участие, которое он принял во мне, я объяснил желанием подшутить над правосудием — наклонность, присущая всем

заключенным, Для них скрыть след, сбить с толку или ввести в заблуждение — составляет удовольствие мести, которое они искупают ценою нескольких недель заключения в каземате. Теперь оставалось попасть туда. Мы скоро нашли удобный предлог. Под окнами комнаты, где мы завтракали, стоял часовой, мы начали бросать хлебными шариками; он стал нам угрожать пожаловаться смотрителю, а нам только этого и нужно было. В это время пришла к нему смена; капрал, который разводил ее, пошел в канцелярию, и через несколько минут явился смотритель взять нас, не рассуждая, в чем дело. Мы очутились на дне глубокой ямы, очень сырой, но светлой. Едва нас успели запереть, как мой товарищ начал операцию, и она удалась в совершенстве. Все дело заключается просто в накалывании руки несколькими иголками, обмокнутыми в тушь и в кармин. Через двенадцать дней проколы подсохли до такой степени, что нельзя было определить время, когда они были сделаны. Мой товарищ воспользовался этим временем, чтобы сообщить мне новые подробности о семействе Дюваль, которое он знал с детства и, как я полагаю, до такой степени близко, что мог мне сообщить даже дурные привычки моего двойника.

Эти подробности мне оказали большую помощь, на шестнадцатый день нашего заключения в каземате меня вызвали, чтобы представить отцу, которого предупредил комиссар. Товарищ мой описал его так, что я не мог ошибиться. Увидев его, я бросился ему на шею. Он меня узнал; его жена, пришедшая через несколько минут, тоже узнала меня; двоюродная сестра и дядя также. И вот, я действительно превратился в Огюста Дюваля, нет возможности более сомневаться, сам смотритель был убежден. Но этого было недостаточно, чтобы меня освободить. Как дезертира с «Кокарды» меня должны были препроводить в Сен-Мало, где остались в госпитале люди из команды судна, чтобы потом явиться перед морским судом. По правде сказать, это меня

не слишком пугало, так как я был уверен, что мне удастся бежать во время дороги. Наконец я отправился, оплаканный своими родными и получив от них несколько лишних луидоров, которые я прибавил к спрятанным в трубку, как я уже говорил.

До Кимпера, где я должен был быть передан на этап, не представилось случая избавиться от приятного общества жандармов, препровождавших меня вместе со многими другими личностями: ворами, контрабандистами и дезертирами. Нас поместили в городскую тюрьму, Войдя в комнату, где я должен был провести ночь, у одной кровати я увидел хорошо знакомую красную куртку с буквами на спине Г. А. Л. …На кровати лежал человек, покрытый дрянным одеялом, и по зеленому колпаку с нумерованной жестянкой я признал его за каторжника. Узнает ли он меня? Выдаст ли? Я был в смертельной тревоге, когда он, разбуженный шумом задвижек и замков, поднялся на кровати, и я увидел молодого человека, называемого Гупи, прибывшего вместе со мной в Брест. Он был приговорен к вечной каторге за ночную кражу со взломом в окрестностях Берни в Нормандии; его отец служил аргусом в Брестском остроге и, не желая иметь его постоянно перед глазами, просил перевести в Рошфорский острог. Я рассказал ему свое дело, он обещал сохранить тайну и верно сдержал свое слово, тем более что ничего не выигрывал, выдав меня.

Между тем этап не отправился в путь и прошло две недели после моего прибытия, а о выступлении не было и речи. Эта затяжка дала мне мысль пробить стену для побега, но, увидав невозможность исполнить свой план, я принял решение, которое должно было доставить мне доверие смотрителя и, может быть, случай исполнить свой замысел, внушив ему ложную во мне уверенность. Сообщив о заговоре арестантов, который я будто бы подслушал, я указал ему то место тюрьмы, где они работали. Он тщательно обыскал

местность и, конечно, натолкнулся на отверстие, пробитое мной. Этот случай доставил мне его доверие. Но это меня мало подвинуло вперед, потому что общий надзор совершался с аккуратностью, которая разбивала все мои планы. Тогда я придумал отправиться в госпиталь, в надежде, что там мне больше посчастливится. Чтобы получить лошадиную лихорадку, мне достаточно было в течение двух дней принимать табачный сок; доктора тотчас дали мне билет. Прибыв в госпиталь, я вместо своей одежды получил серые колпак и халат и был помещен с арестантами.

Я предполагал остаться некоторое время в госпитале, чтоб узнать все выходы, но болезнь от табачного сока не могла продолжаться более трех-четырех дней, — надо было найти рецепт для другой болезни, так как, не зная никого в камере, мне трудно было достать снова табачного сока. В Бисетре я был посвящен в тайны производить раны и нарывы, посредством которых нищие возбуждают общую сострадательность и собирают подаяние. Из всех этих средств я избрал то, которое производило опухоль головы в виде подушки, этим скорее всего можно было провести докторов; кроме того, оно не сопровождается страданиями и следы могут быть уничтожены, по желанию, в один день. Голова моя вдруг получила страшные размеры и произвела переполох между докторами заведения, которые, как кажется, не могли похвалиться опытностью и не знали, что и подумать. Я подслушал, как они что-то толковали об элефантиазисе, или о водянке в мозгу. Но как бы то ни было, эта забавная консультация кончилась обычным предписанием — посадить меня на самую строгую диету.

Если бы я был при деньгах, то не стал бы беспокоиться о предписании, но в трубке заключалось только несколько золотых, и, меняя их, я боялся возбудить подозрение. Но я решился достигнуть чего-нибудь через одного освобожденного каторжника, исполнявшего обязанность лазаретного

служителя и который из-за денег готов был на все. Я заявил ему о желании отправиться на несколько часов в город; он мне сказал, что, переодевшись, это не представляет затруднения, так как стены не выше восьми футов. Это постоянная дорога, сказал он мне, по которой он и его товарищи отправляются, когда они желают покутить. Мы условились, что он доставит мне одежду и будет сопровождать меня в моем ночном похождении, которое должно было окончиться ужином с женщинами. Но единственный костюм, который он мог достать в госпитале, был слишком мал на мой рост, — надо было отказаться от исполнения этого проекта.

Эта неудача сильно меня раздосадовала, как вдруг мимо моей кровати прошла одна из сестер милосердия, за которой я уже не раз подмечал светские наклонности. Не то, чтобы сестра Франциска была одной из тех монахинь-кокеток, которых вы видите в опере «Визитандинки» прежде, чем монахини превращаются в пансионерок и рясы заменяются зелеными передниками. Сестре Франциске было тридцать четыре года. Она была смуглая брюнетка, и ее развитые формы сводили с ума и заставляли страдать многих фельдшеров и больничных служителей. При виде этого соблазнительного и полновесного существа мне пришла мысль воспользоваться на минуту ее монастырской сбруей. Я сказал об этом, в виде шутки, моему служителю, но он принял это за серьезное и обещал на следующую ночь доставить мне часть одежды сестры Франциски. Около двух часов утра он действительно явился с узлом, в котором было платье, ряса, чулки и прочее, украденное им из ящика сестры, пока она была у заутрени. Все мои товарищи по камере, все девять человек, крепко спали, но я все-таки прошел на лестницу, чтоб переодеться. Что было всего хуже, так это головной убор; я не имел понятия, как его устроить, а между тем беспорядок в нем мог меня выдать, так как монахини всегда устраивали его с мелочной аккуратностью.

Наконец туалет сестры Видок был окончен: мы проходим двор, сад и приближаемся к месту, где легче всего перелезть через стену. Я передал служителю пятьдесят франков, которые составляли почти все мое достояние, он пожал мне руку, и вот я очутился один в пустынной улице, откуда направился за город, руководствуясь смутными указаниями моего покровителя. Хотя юбки порядочно мешали мне, но к восходу солнца я отмахал два добрых лье. На дороге я встретил крестьянина, отправлявшегося в Кимпер продавать зелень; я расспросил его о дороге, и он объявил мне, что я направляюсь к Бресту, и указал мне проселочный путь, который должен был привести меня на большую дорогу, пролегающую в этот город. Я пустился по указанному пути, опасаясь каждую минуту встретить кого-нибудь из армии, угрожавшей Англии; армия эта была расположена по деревням от Нанта до Бреста. Около десяти часов утра, дойдя до одного маленького местечка, я старался разузнать, нет ли там солдат, выражая непритворный страх, чтобы они не пожелали меня затронуть, — в таком случае, было бы непременно открыто все. То лицо, к кому я обратился, был церковный причетник, большой болтун, человек любезный и сообщительный, он принудил меня войти освежиться в близлежащий священнический дом, веселого, приветливого вида, с белыми стенами и зелеными ставнями.

Пожилой священник, лицо которого дышало добродушием, принял нас с радостью: «Милая сестра, — сказал он, — теперь я иду служить обедню; когда служба кончится, вы будете завтракать с нами». Надо было идти в церковь, и мне стоило немало труда исполнять в точности все обряды и коленопреклонения, предписываемые монахине. К счастью, старуха — служанка священника — стояла возле меня, и я вывернулся из затруднительного положения, подражая ей во всем. По окончании обедни сели за стол, и начались расспросы. Я сказал этим добрым людям, что отправляюсь в Ренн

для выполнения епитимьи. Священник не расспрашивал более; но причетник приставал ко мне, за что я наказан. Я ответил ему: «Увы! За то, что была любопытна!..» И мой молодчик оставил расспросы, скушав такую пилюлю. Положение было крайне неловкое; я не смел есть, боясь выказать мужской аппетит; в разговоре я часто говорил: «господин священник», а не «любезный брат». Эти обмолвки могли бы выдать меня, если бы я не старался по возможности сократить время завтрака. Но однако я нашел возможность расспросить о местах, где войска расположились квартирами, и, получив благословение почтенного иерея, который обещал не забыть меня в своих молитвах, я пустился в путь, успев уже привыкнуть к своему новому костюму.

По дороге я встречал мало народу; революционные войны опустошили эту несчастную страну, и я проходил по селам, где не осталось ни одного целого жилища. На ночь, придя в деревню, состоявшую из нескольких хижин, я постучался в дверь одной из них. Пожилая женщина отворила мне и ввела в довольно большую комнату, которая по своей нечистоте могла поспорить с самыми грязными лачугами Галиции или Астурии. Семейство состояло из отца, матери, мальчика и двух дочерей от пятнадцати до семнадцати лет. Когда я вошел, все были заняты стряпней чего-то вроде блинов из гречневой муки; все собрались вокруг очага, и эти лица, освещенные, как у Рембрандта, светом пылавших дров, представляли картину, которая привела бы в восторг художника. Что касается до меня, то я не гнался за эффектом, но желал чем-нибудь утолить свой голод. Со всей готовностью, которую внушал мой костюм, мне предложили первые блины, которые я проглотил с быстротой, не замечая даже, что они с пылу и жгут небо. После мне случалось сиживать за пышными столами, мне предлагали самые отборные вина, самые изысканные и гастрономические кушанья; но ничто не могло

сравниться с наслаждением, которое доставили мне крестьянские блины в Нижней Бретани.

По окончании ужина громко прочли молитву; потом отец и мать закурили трубки, в ожидании часа, когда пора ложиться спать. Усталый от волнений и дневных трудов, я пожелал отправиться на покой. «У нас нет кровати для вас, — сказал хозяин дома, который, как моряк, хорошо говорил по-французски, — вы можете лечь с моими двумя дочерьми». Я ему заметил, что, отправляясь на покаяние, я удовольствуюсь углом в хлеве. «О! — продолжал он. — Ложась с Жанной и Маделеной, вы не нарушите вашего обета, — их постель состоит только из соломы. Да для вас и места нет в хлеве… там уже спят два отпускных, которые просили позволения переночевать у меня». Мне не оставалось ничего более сказать; я был счастлив избежать встречи с солдатами и отправился в спальню девиц. Это был чулан, наполненный яблоками для сидра, сырами и копченым салом; в углу сидела на насесте дюжина кур, а ниже — в загородке — приютилось восемь кроликов. Вся утварь состояла из разбитого кувшина, сломанной скамейки и осколка зеркала; кровать, по обычаю этой местности, состояла из ящика в форме гроба, наполовину наполненного соломой, и не более трех футов ширины.

Новое затруднение для меня. Молодые девушки слишком свободно раздевались передо мной, а я, как известно, имел много причин сдерживать себя. Независимо от обстоятельств, о которых можно догадаться, под женским платьем у меня была мужская рубашка, которая могла обнаружить мой пол и мое инкогнито. Чтоб не выдать себя, я медленно вынимал булавки и опрокинул, как будто невзначай, железный ночник, который нас освещал; таким образом, я без боязни мог скинуть свою женскую одежду. Эта ночь была для меня сущей пыткой; дело в том, что Жанна, хотя и не красавица собой, была свежа, как роза, и, ворочаясь, всякий раз прикасалась ко мне своими соблазнительными формами. Каково

это было переносить человеку, уже давно осужденному на сохранение строгого целомудрия! Понятно, что я не мог заснуть ни на минуту.

Я лежал неподвижно с открытыми глазами, как заяц в норке, как вдруг, еще задолго до рассвета, я услыхал стук в дверь ружейными прикладами. Первая моя мысль, как всякого человека с нечистой совестью, была та, что напали на мой след и пришли арестовать меня. Я не знал, куда запрятаться. Удары усиливались, я вспомнил о солдатах, ночевавших в хлеве, и мои опасения рассеялись.

— Кто там? — спросил хозяин дома, внезапно пробужденный.

— Ваши вчерашние солдаты.

— Что вам нужно?

— Огня, закурить трубки перед дорогой.

Хозяин встал, достал из золы огня и отворил дверь солдатам. Один из них, посмотрев на часы при свете ночника, сказал: «Четыре часа с половиною… марш!.. В поход, дрянная армия». Они удалились в самом деле; хозяин загасил лампу и лег опять. Что касается меня, то, не желая одеваться и раздеваться перед своими товарками, я тотчас встал, зажег лампу, надел снова свое платье из грубой шерстяной материи, потом встал на колени в углу, показывая вид, что молюсь, ожидая пробуждения семейства. Они не заставили меня долго дожидаться. В пять часов мать закричала со своей постели: «Жанна, вставай, надо приготовить суп для сестры, она хочет рано отправиться». Жанна встала и пошла на кухню; я с аппетитом поел приготовленного ею молочного супа и покинул добрых людей, которые меня так радушно приняли. Целый день я шел без роздыха и вечером очутился в одной деревне в окрестностях Ванна, где узнал, что был обманут ложными или превратно понятыми мной указаниями. Я ночевал в этой деревне и на другое утро прошел рано утром через Ванн. Мое намерение все-таки было достигнуть Ренна,

откуда я надеялся легко попасть в Париж, но при выходе из Ванна, вследствие одной встречи, я переменил намерение. По той же дороге медленно подвигалась женщина с маленьким ребенком, неся на спине ящик с мощами, которые она показывала в деревнях, напевая жалобные песни и продавая кольца святого Губерта и освященные четки. Эта женщина объявила мне, что она идет проселками в Нант. Я так сильно желал избежать большой дороги, что не колебался последовать за своим новым проводником, тем более что Нант представлял мне больше шансов, нежели Ренн.

Через неделю пути мы прибыли в Нант, где я расстался с женщиною, которая жила в одном из предместий. Что касается меня, то я избрал для жительства острова Фейда. Находясь в Бисетре, я узнал от одного товарища, по имени Гренье и по прозванью Нантец, что в этой части находится нечто вроде гостиницы, где, не боясь быть потревоженными, собираются мошенники. Я знал, что, заявив известное имя, можно надеяться быть принятым без затруднения, но я в точности не знал адреса и не было возможности узнать его. Я употребил способ, который мне удался: я ходил последовательно к различным съемщикам квартир и спрашивал господина Гренье. В четвертом доме, куда я попал, хозяйка, оставив двух каких-то людей, с которыми была занята разговором, повела меня в маленькую комнату и сказала:

— Вы видели Гренье? Он все болен (в тюрьме)?

— Нет, — отвечал я, — он здоров (свободен).

Поняв, что я действительно у матушки воров, я, не колеблясь, объявил ей, кто я и в каком нахожусь положении. Не отвечая мне ни слова, она взяла меня за руку, отворила дверь, проделанную в панели, и ввела в низкую залу, где восемь мужчин и две женщины играли в карты, попивая водку и ликеры.

— Вот, — сказала моя проводница, представляя меня обществу, очень удивленному появлением монахини, — вот сестра, которая явилась, чтоб обратить вас на путь истинный.

В то же время я сорвал с себя рясу, и трое из присутствующих, которых я видел в остроге, узнали меня; это были Берри, Бидо-Можер и молодой Гупи, с которым я встретился в Кимпере; прочие были беглые из Ромжорского острога. Все потешались над моим переодеваньем, ужин еще более расположил нас к веселости; одна из женщин захотела непременно примерить костюм; ее манеры и ужимки так мало подходили к этой одежде, что все присутствующие хохотали до слез, пока не разошлись спать.

Проснувшись, я нашел на моей кровати полный костюм, одежду, белье, одним словом, все необходимое. Откуда явились эти вещи? Но мне было не до того, чтобы беспокоиться об этом. Небольшая сумма денег, которую я не издержал в госпитале в Кимпере, где все было страшно дорого, была истрачена во время путешествия. Без одежды, без средств, без связей мне надо было по крайней мере время, чтобы написать матери и просить о помощи. И я принял все, что мне предложили. Но неожиданный случай сократил мое пребывание на острове Фейда. В конце недели мои сожители, увидев, что я совершенно поправился от усталости, сказали мне однажды вечером, что на другой день надо сделать дело в одном доме на площади Граслин и что они рассчитывают на мое участие; мне даже предоставлялся самый почетный пост: работать внутри с Можером.

Это не входило в мои расчеты. Я хотел воспользоваться обстоятельствами, чтобы выпутаться и добраться до Парижа, где, вблизи от моего семейства, у меня не было бы недостатка в средствах; но в мои соображения отнюдь не входило записаться в шайку воров, потому что, хотя я и посещал мошенников и жил их промыслом, но у меня было непреодолимое отвращение вступить на путь преступлений, опасности которого я познал в силу опыта. Но, с другой стороны, отказ должен был возбудить против меня подозрения моих новых товарищей, которые могли меня отравить втихомолку и спу-

стить в Луару. Мне оставалось только одно: как можно скорее отправиться, на что я и решился.

Променяв свою новую одежду на крестьянское платье и получив еще восемнадцать франков придачи, я покинул Нант, неся на конце палки корзину с провизией, что мне придавало вид окрестного жителя. Конечно, я шел проселками, где, сказать мимоходом, жандармы были бы гораздо полезнее, чем на больших дорогах, на которых редко показываются люди, имеющее какое-либо дело с правосудием. Это замечание относится до муниципальной полиции. Таким образом она имела бы возможность следить за злодеями от общины до общины, между тем, как теперь, за чертой больших городов, они презирают все поиски администрации. В различные времена, вследствие больших бедствий, — когда поджигатели распространились на севере, когда голод тяготел над Калвадосом и Эрским департаментом, когда Оаза видела каждую ночь вспыхивающие пожары, — прибегали, в частности, к этой системе и впоследствии признавали ее целесообразность.

Глава десятая

Рынок Шоле. — Прибытие в Париж в новой должности погонщика волов. — История капитана Вилледье

Оставив Нант, я шел двое суток, не останавливаясь ни в одной деревне; я и не чувствовал в этом никакой надобности, так как запасся достаточным количеством провизии. Я шел наудачу, хотя с прежним намерением достигнуть Парижа или берега моря, надеясь быть принятым на какое-нибудь судно, как вдруг очутился в предместье города, который, как мне показалось, был недавно театром войны. Большая часть домов представляла груду развалин, почерневших от огня. Все здания, окружавшие площадь, были совершенно разрушены. Уцелела только церковная башня, на которой все еще били часы для жителей, уже более не существовавших. Эта сцена разрушения дополнялась еще некоторыми странными принадлежностями: на единственной части стены, оставшейся от всей гостиницы, можно было прочесть «Хорошее помещение для конных и пеших». В одном месте солдаты поили своих лошадей из кропильницы в часовне; в другом — товарищи их плясали при звуках органа с местными женщинами, которых одиночество и нищета заставляли развратничать с синими за их жалкий, солдатский хлеб. Следы губительной войны заставляли думать, будто находишься в саваннах Америки или в каком-нибудь оазисе пустыни после того, как варварское население со слепым зверством перерезало друг друга. А между тем здесь с обеих сторон были только одни французы, обуреваемые фанатизмом. Я был в Вандее, в Шоле.

Хозяин плохонького, покрытого дроком кабачка, где я остановился, обратился ко мне с вопросом, не приехал ли я в Шоле на завтрашний рынок. Я отвечал утвердительно, сначала весьма удивленный, как это собирались на рынок посреди таких развалин и как это еще осталось что продавать у

окрестных поселян; но трактирщик заметил, что на рынок только и приводят скот из довольно отдаленных кантонов. С другой стороны, хотя еще ничего не сделано для исправления повреждений, причиненных войной, но общее спокойствие было почти восстановлено генералом Гошем, и если еще в стране остались республиканские солдаты, то это только для обуздания шуанов[4], которые могли быть опасны.

С раннего утра я был уже на рынке и, желая воспользоваться случаем, подошел к одному продавцу волов, наружность которого мне более пришлась по сердцу, и просил его выслушать меня на минуту. Он сначала взглянул на меня подозрительно, опасаясь видеть шпиона; но я поспешил разуверить его, сказав, что дело касалось лично меня. Затем мы пошли с ним под навес, где продавали водку. Я вкратце рассказал ему, что, бежав из 36-й полубригады, чтобы свидеться с родителями, живущими в Париже, я очень желал бы получить место, которое бы дало мне возможность достигнуть цели, не будучи задержанным. Добряк ответил, что места у него не было, но что если я соглашусь гнать (вести) стадо быков до Ссо, то он может взять меня с собою. Никогда предложение не было принято с большей поспешностью, и я немедленно вступил в должность, стараясь блеснуть перед новым хозяином всеми маленькими услугами, зависящими от меня.

После полудня он послал меня с письмом, и господин, получивший его, как мне показалось, нотариус, спросил меня, не поручил ли мне хозяин получить с него что-нибудь. Я отвечал отрицательно. «Все равно, — сказал он, — вы ему отдадите этот мешок с тремястами франков». Я аккуратно вручил свою сумму торговцу волов, которому моя верность, по-видимому, внушила некоторое доверие. На другой день мы отправились в путь. Через три дня хозяин призвал меня:

---

[4] Так назывались в Вандее приверженцы королевской партии во время первой революции.

— Луи, — сказал он, — ты умеешь писать?
— Да.
— Считать?
— Да.
— Вести записную книгу?
— Да.
— В таком случае, так как я должен несколько свернуть с дороги, чтобы посмотреть быков в Сент-Гобурге, то ты доведешь стадо до Парижа с Жаком и Сатурнином и будешь над ними старшим.

Затем он передал мне свои приказания и уехал.

Вследствие полученного мною повышения я перестал идти пешком, что значительно улучшило мое положение; потому что пешие погонщики волов или задыхаются от пыли, подымаемой животными, или идут по колено в грязи. Притом мне лучше платили, лучше кормили меня, но я не употреблял во зло этих преимуществ, подобно другим молодым погонщикам, которых назначали старшими над товарищами; в их ведении корм скота превращался в пулярок и баранину для них самих, а то так шел на уплату по счету трактирщиков; бедные же животные на глазах тощали.

Но я был честнее в этом случае, и хозяин, опередивший нас, сойдясь с нами в Вернейле, благодарил меня за цветущее состояние, в котором нашел стадо. По прибытии в Ссо мои быки стоили каждый двадцатью франками дороже, чем у всех других, и в дороге я издержал девяноста франками менее своих сотоварищей. Восхищенный хозяин дал мне сорок франков награды и рекомендовал меня всем откормщикам скота, как Аристида погонщиков; я был некоторым образом предметом общего внимания на рынке; но за то мои сотоварищи охотно съели бы меня. Один из них, уроженец нижней Нормандии, славившийся своей ловкостью и силой, вздумал было даже отвратить меня от ремесла; но что может сделать неповоротливый мужик перед учеником великого Гупи!..

Нормандец был поражен в одной из славнейших битв на кулачках, которую когда-либо видали на рынке откормленных быков. Эта победа была тем славнее, что я отличался большой сдержанностью в своем поведении и согласился драться уже только тогда, когда было невозможно отказаться. Хозяин, все более и более довольный мною, хотел непременно оставить меня на год в той же должности, обещал маленький процент со своего сбыта. Известий от моей матери не было; а между тем это занятие доставляло средства, которых я намерен был искать в Париже, и новый костюм так отлично меня маскировал, что я нимало не боялся быть узнанным при моих частых поездках в Париж. Я действительно встречался со многими прежними знакомыми, которые даже не обратили на меня внимания. Но раз вечером, направляясь к заставе и проходя улицу Дофин, я вдруг был остановлен ударом по плечу. Первой мыслью моей было бежать без оглядки, потому что всякий, останавливающий таким образом, обыкновенно рассчитывает на это движение, чтобы схватить вас; но в ту же минуту экипажи загородили дорогу; в ожидании, что будет, я чувствовал, что на меня напал панический страх. Причиной его был не кто иной, как Вилледье, капитан 13-го егерского полка, человек, с которым я близко сошелся в Лилле. Немало удивленный, встретив меня в клеенчатой шляпе, блузе и простых кожаных сапогах, он, однако, обошелся со мной весьма дружелюбно и пригласил меня отужинать, прибавив, что имеет рассказать мне много интересного. Сам он не был в мундире; но это не могло удивить меня, потому что офицеры, во время пребывания в Париже, обыкновенно надевали статское платье; а поразил меня его беспокойный вид и чрезвычайная бледность. Так как он имел намерение ужинать за заставой, то мы наняли фиакр и отправились в Ссо.

По прибытии в гостиницу «Большего Оленя» мы спросили себе отдельную комнату. Как только нам подали кушанье, Вилледье запер дверь и положил ключ в карман. «Друг

мой, — сказал он мне со слезами на глазах и с расстроенным видом, — я — человек погибший!.. Да, погибший!.. меня разыскивают… Надо, чтобы ты доставил мне костюм такой же, как у тебя, и если хочешь, у меня есть деньги, много денег. Мы поедем вместе в Швейцарию. Я знаю твою ловкость и искусство в побегах; только ты и можешь меня вывести из беды». Такое начало не имело для меня ничего успокоительного. И без того обеспокоенный собственным положением, я не имел ни малейшего намерения подвергать себя новой опасности быть арестованным, потому что, связавшись с человеком преследуемым, я легко мог и сам быть открытым. Это размышление, сделанное мною in petto, заставило меня быть сдержаннее с Вилледье; притом я совсем не знал, в чем дело. В Лилле я видел, что расходы его превышали его жалованье; но молодой, представительный офицер имеет столько шансов раздобыть денег, что никто не обращал на это внимания. Поэтому я был весьма удивлен, услышав от него следующий рассказ:

— Я не стану рассказывать тебе всех обстоятельств своей жизни, предшествовавших нашему знакомству; довольно тебе знать, что, будучи не хуже и не глупое всякого другого и вдобавок имея довольно могущественных покровителей, я в тридцать четыре года был капитаном егерского полка, когда встретил тебя в Лилле, в «Кофейне Горы». Там я сошелся с одной личностью, честный вид которой предрасположил меня в ее пользу; эти отношения незаметным образом сделались более интимными, и я был принят в его семью. Все в доме дышало довольством; за мной ухаживали, и если г. Лемер был приятным собеседником, то супруга его была положительно прелестна. По ремеслу ювелир, он часто ездил с товаром и отлучался из дому на шесть или восемь дней. Мне пришлось часто видеться с его женой, и ты, верно, уже догадался, что я вскоре сделался ее любовником. Лемер ничего не

подозревал или смотрел на это сквозь пальцы. Несомненно только то, что я вел весьма приятную жизнь, как вдруг раз утром застаю Жозефину в слезах. Она объявила мне, что муж ее арестован в Кортрейке со своим приказчиком за то, что продавал золотые вещи без пробы, и так как непременно придут к ним в дом, то надо все как можно скорее вынести. И действительно, самые дорогие вещи были уложены в чемодан и отнесены в мою квартиру. Жозефина попросила меня отправиться в Кортрейк, где я по своему чину мог бы быть полезен ее мужу. Я ни минуты не колебался; я так был влюблен в нее, что, казалось, весь был в ней, думал ее мыслями, желал только того, чего желала она.

Получив позволение от полковника, я взял лошадей, коляску и отправился с нарочным, который принес известие об аресте Лемера. Наружность этого человека совсем не внушала мне доверия; мне особенно не понравилось то, что он говорил Жозефине «ты» и обращался с ней весьма непринужденно. Войдя в карету, он тотчас же забился в угол, комфортабельно уселся и проспал до Менена, где я велел остановиться, чтобы что-нибудь поесть. Как бы внезапно пробужденный, он сказал мне дружески: «Капитан, я не желал бы выходить, сделайте одолжение, принесите мне рюмку водки…» Несколько удивленный этим тоном, я ему послал водку со служанкой, которая тотчас же вернулась, говоря, что мой спутник ничего не ответил и что, по всей вероятности, спит. Пришлось мне самому вернуться к экипажу, где я нашел его неподвижным в углу, с лицом, покрытым платком.

— Вы спите? — спросил я тихонько.

— Нет, — отвечал он, — и не думаю. Но, черт возьми, зачем же вы послали ко мне служанку, когда я сказал, что не намерен показываться этим людям.

Я ему принес рюмку водки, которую он, мгновенно выпил; затем мы поехали. Так как он, по-видимому, не намерен

был более спать, то я спросил его о причинах, заставлявших его сохранять инкогнито, равно как о деле, представлявшемся мне в Кортрейке и о котором я не имел понятия. Он отвечал мне очень коротко, что Лемер обвинялся в сообщничестве с шайкой chauffeurs, и прибавил, что не говорил об этом Жозефине, боясь ее огорчить.

Мы уже приближались к Кортрейку. В четырехстах шагах от города он велит почтальону на минуту остановиться; надевает на себя парик, спрятанный в его шляпе на левый глаз прилепляет пластырь, вынимает из жилета пару двуствольных пистолетов, открывает портьеру, выпрыгивает и исчезает.

Все эти эволюции, цель которых была мне неизвестна, не могли не возбудить во мне некоторого беспокойства. А что если арест Лемера был только предлогом? Если мне подставляли ловушку, если хотели заставить играть роль в какой-нибудь интриге, в каком-нибудь дурном деле? Я не решался этому поверить. Но я все-таки был в большом сомнении насчет того, что следовало делать, и большими шагами ходил по номеру в «Hotel du Damier», где мой спутник посоветовал мне остановиться, как вдруг отворилась дверь и вошла… Жозефина! При ее виде все мои сомнения исчезли; а между тем это внезапное появление, эта быстрая поездка без меня на расстояние всего нескольких часов пути, тогда как так естественно было воспользоваться экипажем, все это должно было еще удвоить мои опасения; но я был влюблен, и когда Жозефина сказала мне, что не могла выносить мысли о разлуке, то я нашел все это разумным и превосходным. Было четыре часа пополудни. Жозефина оделась, ушла и вернулась только в десять часов вечера в сопровождении какой-то личности, одетой люттихским крестьянином, хотя его манеры и выражение лица нимало не соответствовали этому костюму.

Подали закуску, и слуги вышли. Тогда Жозефина тотчас бросилась мне на шею, снова умоляла спасти ее мужа, уве-

ряя, что от меня только зависело оказать ему эту услугу. Я обещал все, чего желали. Мнимый крестьянин, до тех пор хранивший молчание, начал говорить в пользу этого и объяснил все, что нужно было делать.

— Лемер, — сказал он, — прибывши в Кортрейк с несколькими путешественниками, встретившимися ему по дороге, но которых он совсем не знал, был остановлен отрядом жандармов во имя закона. Незнакомцы стали защищаться, обменялись несколькими выстрелами, и Лемер, оставшийся на месте один со своим приказчиком, был взят, не оказав сопротивления, так как сознавал себя невинным, ни к чему не причастным и не имел причины чего-либо опасаться. Между тем против него явились довольно значительные улики: он не мог отдать точного отчета о делах, которые привели его в кантон, так как в настоящее время занимался контрабандой; затем в кустах нашли две пары пистолетов и уверяли, что они были брошены им и приказчиком во время их ареста; наконец, одна женщина уверяла, что на прошлой неделе она его видела по дороге к Генту с путешественниками, которых, по его показанию, он встретил только утром, при аресте жандармами.

При таких обстоятельствах, добавил мой собеседник, необходимо найти средство доказать:

1-е. Что Лемер оставил Лилль только назад три дня и что он находился там уже с месяц.

2-е. Что он никогда не носил с собою пистолетов.

3-е. Что перед отъездом он захватил с собою около шестидесяти луидоров.

Такое сообщение должно было бы открыть мне глаза насчет того, какого рода услуги от меня требовали; но, отуманенный ласками Жозефины, я отгонял докучливые размышления и старался забыть все страхи будущего. В ту же ночь мы все трое отправились в Лилль. По прибытии туда я целый день бегал для необходимых приготовлений и к вечеру успел

набрать всех свидетелей[5]. Их показания не успели еще дойти до Кортрейка, как Лемер и его приказчик были уже освобождены. Можно представить себе их радость; они ликовали, и я не мог отогнать от себя мысли, что, по всей вероятности, дело было нечисто, если освобождение привело их в такой восторг.

На другой день по его приезде, обедая у Лемера, я нашел в своей салфетке сверток со ста луидорами. Я имел слабость их взять и с той минуты сделался человеком погибшим.

Играя в большую игру, угощая товарищей и бросая деньги на другие вещи, я вскоре растратил эту сумму. Лемер ежедневно выражал свою готовность быть мне полезным, и я пользовался этим, чтобы занимать у него денег; вскоре этот заем дошел до двух тысяч франков, хотя я не сделался от того ни богаче, ни благоразумнее. Тысяча пятьсот франков, занятые у одного еврея под бланковый вексель в тысячу экю, и двадцать пять луидоров, доставленные квартирным хозяином, исчезли с такой же быстротой. Наконец я решился истратить даже пятьсот франков, вверенные мне под сохранение лейтенантом до приезда торговца лошадьми, которому он их был должен. Эта последняя сумма была проиграна в один вечер в «Кофейне Горы» некоему Карре, уже разорившему половину нашего полка.

Следующая за тем ночь была ужасна; волнуемый попеременно стыдом за злоупотребление доверием лейтенанта, бешенством, что оказался дураком, и необузданным желанием снова играть, я двадцать раз намеревался застрелиться. Когда пробили утреннюю зорю, я еще не смыкал глаз; так как я был

---

[5] Может быть, удивятся подобной легкости; но надо сказать, что в настоящее время ход судопроизводства вообще весьма затрудняется наплывом угодливых свидетелей. Так недавно, а Кагорском уголовном суде одна половина общины по одному делу показывала совершенно в противоположном смысле, нежели другая.

дежурным, то сошел вниз осматривать конюшни; первый, кто мне попался, был лейтенант, предупредивший меня, что ожидаемый им торговец приехал, и что он пришлет ко мне за деньгами своего слугу.

Мое смущение было так сильно, что я сам не знаю, что отвечал, и только темнота в конюшне помешала ему это заметить. Нельзя было терять ни минуты, если я не хотел утратить навсегда свою репутацию в глазах начальства и сотоварищей.

В этом ужасном положении мне даже не пришло на мысль обратиться к Лемеру, так как я находил, что и так слишком злоупотреблял его дружбой; а между тем у меня не оставалось другого средства, и я решился запиской уведомить его о своем затруднительном положении. Он тотчас же пришел и, кладя передо мной две золотых табакерки, трое часов и двенадцать серебряных приборов, сказал, что денег у него нет в настоящую минуту, но что их легко достать, заложив в ломбарде ценные вещи, которые он отдавал в мое распоряжение. Рассыпавшись в благодарениях, я послал слугу заложить все это, и он принес мне тысячу двести франков. Прежде всего я возвратил пятьсот франков лейтенанту; а затем, увлекаемый своей несчастной звездой, бросился в «Кофейню Горы», где Карре, долго не соглашавшийся дать мне отыграться, в конце концов положил в свой кошелек оставшиеся у меня семьсот франков.

Ошеломленный этим последним ударом, я несколько времени бродил без цели по улицам Лилля, составляя в голове тысячу гибельных планов. В таком настроении я незаметно приблизился к жилищу Лемера и машинально вошел. Садились за стол. Жозефина, пораженная моей чрезвычайной бледностью, с участием спросила меня о моих делах и моем здоровье. Это была одна из тех минут отчаяния, когда сознание своей слабости вызывает на откровенность самого сдержанного человека. Я сознался в своей расточительности

и прибавил, что месяца через два должен уплатить четыре тысячи франков, хотя у меня нет на это ни одного су.

При этих словах Лемер взглянул на меня пристально, взглядом, которого я не забуду во всю жизнь, как бы она ни была долга. «Капитан, — сказал он мне, — я вас не покину в затруднении… откровенность за откровенность… нечего скрывать от человека, который спас вас от…» — и с ужасным смехом он провел левой рукой вокруг шеи… Я содрогнулся, взглянув на Жозефину: она была покойна!.. Это была ужасная минута. Как бы не замечая моего волнения, Лемер продолжал свое страшное признание. Я узнал, что он принадлежал к шайке Салламбье; что когда жандармы арестовали его, то он совершил кражу с оружием в руках на одной из дач в окрестностях Гента. Так как слуги вздумали защищаться, то троих убили, а две несчастных служанки были повешены в чулане. Вещи, только что заложенные мною, были плодом кражи, последовавшей за этими убийствами! Рассказав, как именно он был остановлен неподалеку от Кортрейка, Лемер добавил, что теперь только от меня зависит вознаградить себя за потери и поправить свои дела, — стоит принять участие не более как в двух или трех предприятиях.

Я был уничтожен. До этих пор поведение Лемера, обстоятельства, сопровождавшие его арест, услуга, которую я ему оказал, казались мне подозрительными, но я тщательно старался отогнать мысль о том, что могло превратить мои подозрения в уверенность. Мне казалось, будто со мной кошмар, и я ожидал пробуждения… пробуждение было еще ужаснее!

«Ну, — сказала Жозефина с видом проницательности, — вы не отвечаете… А! Вижу, мы потеряли вашу дружбу… Я умру от этого!» И она залилась слезами… Голова моя закружилась; забывая о присутствии Лемера, я бросаюсь перед ней на колени, как безумный, восклицая:. «Чтобы я вас оставил… нет, никогда! Никогда!» Мой голос оборвался от рыданий; в глазах Жозефины тоже блистала слеза, но она тотчас же

овладела собой. Что: касается Лемера, то он предложил нам флердоранжа с покойным видом кавалера, подающего на балу мороженое танцующей с ним даме.

И вот я поступил в эту шайку, поселявшую ужас в Северном и Шельдском департаментах. Не прошло двух недель, как я был представлен Салламбье, в котором узнал люттихского крестьянина; затем Дюгамелю, Шотену, Каландрену и другим. Первая стычка, в которой я принял участие, произошла в окрестностях Дуэ. Любовница Дюгамеля, также участвовавшая в этом деле, ввела нас в замок, где она находилась в качестве горничной. Отравив собак, мы для исполнения своего плана не имели даже надобности дожидаться, пока хозяева заснут. Каландрен мог отпирать всевозможные замки, и среди глубочайшей тишины мы добрались до дверей гостиной. Семья, состоявшая из отца, матери, двоюродной бабушки, из двух молодых девиц и пришедшего в гости родственника, играла в бульотт. В комнате раздавались только монотонные восклицания игры, когда Салламбье, вдруг повернув ручку двери, появился в сопровождении десяти человек, вымазанных сажен, с пистолетами и кинжалами в руках. При виде их карты выпали из рук присутствующих, девицы хотели кричать, но Салламбье одним жестом принудил их к молчанию. Один из наших, вскарабкавшись с ловкостью обезьяны на камин, обрезал шнурки звонка, женщины упали в обморок, и их оставили без внимания. Хозяин дома, хотя сильно встревоженный, один выказывал некоторое присутствие духа. Открывши раз двадцать рот с тщетной попыткой выговорить слово, он наконец спросил, что нам нужно.

— Денег, — отвечал Салламбье, голос которого показался мне совершенно изменившимся. И, взяв свечу с игорного стола, он сделал знак хозяину следовать за собой в соседнюю комнату, где, как нам было известно, находились деньги и драгоценные вещи: это был настоящий Дон-Жуан в сопровождении статуи Командора.

Мы остались без света неподвижно на своих местах, слыша только глубокие вздохи женщин, звон денег и слова: «Еще! Еще!», которые Салламбье повторял от времени до времени гробовым голосом. Минут через двадцать он вернулся с красным платком, наполненным деньгами, углы которого были связаны; драгоценности же находились у него в кармане. Не пренебрегая ничем, у старой тетки и у матери вынули серьги, отняли часы у родственника, так хорошо выбравшего время для своего визита. Затем мы удалились, тщательно приперев всю семью, так что слуги, давно спавшие, даже и не подозревали о нападении, совершенном на замок.

Я принимал участие и во многих других смелых предприятиях, сопровождаемых большими трудностями, чем то, о котором я сейчас рассказал. Иногда нам оказывали сопротивление, а иногда деньги бывали припрятаны, и с владельцами поступали зверским образом. Им зачастую жгли подошвы раскаленными железными лопатами; но для большей скорости у упрямых вырывали ногти и так усердно угощали пощечинами, что щеки делались похожими на надутый шар. Некоторые из этих несчастных, не имея в самом деле денег, погибали в мучениях. Вот на какое поприще попал, мой друг, офицер хорошего происхождения, который двенадцатью годами беспорочной службы и некоторыми храбрыми подвигами снискал себе всеобщее уважение; это уважение он уже давно перестал заслуживать и скоро потеряет его безвозвратно.

Здесь Вилледье остановился и склонил голову на грудь, под гнетом тяжелых воспоминаний. На минуту я его оставил в этом положении, но упомянутые им имена были мне слишком известны, чтобы рассказ его мог не возбудить во мне живейшего интереса. Несколько бокалов шампанского возвратили ему энергию, и он продолжал свой рассказ:

— Между тем злодеяния принимали такие страшные размеры, что жандармов стало недостаточно, и организовали

подвижные колонны из гарнизонов различных городов. Я был назначен управлять одной из них. Ты понимаешь, что мера эта имела действие совершенно противоположное тому, которого ожидали, потому что предупреждаемая мною шапка избегала тех мест, где я проходил со своей колонной. Стало быть, дело шло все хуже к хуже. Правительство не знало, что предпринять; все-таки оно разведало, что большая часть chauffeurs находилась в Лилле, и немедленно был отдан приказ удвоить надзор у городских ворот. Однако мы нашли средство расстроить все эти планы; Салламбье раздобыл у лоскутников, которые могли бы одеть целый полк, пятнадцать мундиров 13-го егерского полка; в них одели столько же человек шайки, которые вышли со мною из города в сумерки в виде отряда, отправляющегося по тайному поручению. Хотя эта хитрость удалась, но мне стало казаться, что за мной назначен особый надзор, Распространился слух, что в окрестностях Лилля блуждают люди, переодетые в конных егерей. Полковник, казалось, не доверял мне; один из товарищей был назначен чередоваться со мной в службе при подвижных колоннах. Вместо того, чтобы отдавать мне приказ накануне, как жандармским офицерам, мне сообщали его в минуту отъезда. Наконец, меня стали прямо обвинять и вызвали на объяснение с полковником, который не скрыл от меня, что меня подозревают в сношении с шайкой chauffeurs; я кое-как оправдался, и следствие дальше не пошло, только я оставил службу в подвижных колоннах, и они стали проявлять такую деятельность, что наша шайка едва осмеливалась выходить.

Но Салламбье, не желая так долго томиться в бездействии, удвоил свою дерзость по мере накопляющихся препятствий. В одну ночь он совершил три воровства в одной и той же общине. Хозяева первого из домов, на который они напали, освободившись от своих кляпов и веревок, наделали тревогу. Забили в набат на две версты в окружности, и разбойники обязаны были своим спасением только быстроте

своих лошадей; особенно оба брата Салламбье были преследуемы с таким ожесточением, что преследователи потеряли их след только у Брюжа. В одной большой деревне они наняли карету и лошадей, сказав, что поедут за несколько верст и вернутся вечером.

С ними был один кучер. Приехавши к берегу моря, старший Салламбье ударил его сзади ножом, тот упал с козел; затем оба брата стащили его в море, надеясь, что волны увлекут с собой труп. Завладев каретой, они продолжали путь, как вдруг к сумеркам встретили одного из обывателей стороны, пожелавшего им доброго вечера. Так как они не отвечали, то встретившийся подошел к ним со словами: «Что же это, Вандек, ты меня не узнаешь?.. Это я… Жозеф…» Тогда Салламбье ответил, что карета взята им на три дня без кучера. Тон ответа и состояние лошадей, покрытых потом, и которых хозяин, по всей вероятности, не доверил бы без кучера, все это возбудило беспокойство в Жозефе. Он бежит в соседнюю деревню и подымает тревогу: семь или восемь человек садятся на лошадей и отправляются на поиски за каретой, которую вскоре настигают. Ускоряют езду, приближаются… Карета пуста… Несколько обескураженные, они отводят ее на дровяной двор ближней деревни, где намерены провести ночь. Едва они сели за стол, как послышался сильный шум: к бургомистру привели двух путешественников, обвиняемых в убийстве человека, которого рыболовы нашли зарезанным у берега моря. Бегут туда, и Жозеф узнает в них тех самых лиц, которых он видел в карете и которые ее бросили, потому что лошади отказывались везти. То были действительно оба Салламбье, которых очная ставка с Жозефом привела в очевидное замешательство. Сходство их было доказано. Подозревая их в сообщничестве с шайкой chauffeurs, их привели в Лилль, где по прибытии в Petit-Hotel они были немедленно узнаны.

Там старший Салламбье, ловко проведенный полицейскими агентами, донес на всех своих соучастников, показывая,

где и как их можно арестовать. Вследствие этого было задержано сорок три человека обоих полов, в том числе Лемер и его жена. В то же время разослан был приказ задержать меня. Предупрежденному жандармским вахмистром, которому я оказал некоторые услуги, мне удалось спастись и добраться до Парижа, где нахожусь вот уже десять дней. При встрече с тобою я искал квартиру одной старой знакомой, где надеялся скрыться или найти средства отправиться за границу; но теперь я спокоен, потому что нашел Видока.

Глава одиннадцатая

Поездка в Аррас. — Похождения в качестве школьного учителя. — Отъезд в Голландию. — Покупщики душ. — Возмущение на корабле. — Катастрофа

Откровенность Вилледье, конечно, весьма мне льстила, но, тем не менее, я находил подобное соседство опасным; поэтому на вопрос его о моих средствах к существованию и особенно моем местожительстве я рассказал ему вымышленную историю и не подумал являться на свидание, назначенное им на следующий день; в противном случае, я легко мог себя сгубить, не принеся ему никакой пользы. Расставшись с ним в одиннадцать часов вечера, я даже из предосторожности сделал несколько лишних обходов, прежде чем попасть в гостиницу, опасаясь преследования полицейских. Мой хозяин на другой день разбудил меня до рассвета и сказал, что мы тотчас же отправимся к Ногентуле-Ротру, откуда надо будет идти в его поместье, находившееся в окрестностях города.

Через четверо суток мы прибыли на место. Принятый в семье как трудолюбивый и усердный слуга, я, тем не менее, не оставлял задуманного намерения возвратиться на родину, откуда я не получал ни известий, ни денег. Возвратившись снова в Париж, куда мы привели волов, я сказал об этом хозяину, который расстался со мной с сожалением. От него я прямо пошел в одно кафе на площади Шатле, в ожидании рассыльного с моими вещами; мне попалась под руку газета и первая статья, бросившаяся мне в глаза, был рассказ об аресте Вилледье. Он сдался в руки правосудия, сразив двух полицейских, которые должны были удостовериться в его личности; сам он тоже был тяжело ранен. Два месяца спустя он был казнен в Брюже последним из семнадцати своих сотоварищей, причем смотрел на их падающие головы со спокойствием, не изменившим ему ни на минуту.

Это обстоятельство заставило меня невольно порадоваться своей предусмотрительной осторожности. Оставшись у продавца волов, я должен был бы два раза в месяц отправляться в Париж; политическая полиция, направленная против заговоров и иностранных агентов, значительно усилилась и отличалась энергией, которая могла быть тем гибельнее для меня, что полиция следила весьма тщательно за всеми лицами, которых беспрестанно призывали дела в Восточный департамент и которые могли служить посредниками между шуанами и их столичными друзьями.

Итак, я поспешно уехал и на третий день достиг Арраса; это было уже вечером, когда работники возвращались с работ. Я не хотел прямо ехать к отцу, а прибыл к одной из теток, которая предупредила родителей о моем приезде. Они считали меня мертвым, не получая моих писем; я никогда и после не мог узнать, как эти письма могли пропасть или быть перехваченными. После длинного рассказа о своих приключениях я спросил о своей семье, причем, естественно, не мог обойти молчанием жену. Я узнал, что отец приютил ее на некоторое время к себе; но ее развратная жизнь стала до такой степени скандальной, что пришлось ее выгнать. Мне сказали, что она беременна от одного адвоката, который ее преимущественно и содержит, с некоторого времени слухи о ней затихли, и дальнейших подробностей о ней не знали.

И я нимало не заботился о ней; приходилось подумать о многом другом: с минуты на минуту меня могли отыскать и арестовать у моих родителей, которых я таким образом подвергал беспокойству. Необходимо было искать убежища, где бы надзор полиции не был так деятелен, как в Аррасе. Наш выбор остановился на одной окрестной деревеньке, Амберкуре, где жил бывший кармелитский монах, друг моего отца, который согласился взять меня к себе. В то время (1798 г.) священники скрывались, чтоб совершать богослужение, хотя к ним не относились враждебно. Поэтому Ламберт,

мой хозяин, служил обедню в риге, и так как его помощник был старик, почти калека, то я предложил исполнять должность пономаря, и так хорошо с ней справлялся, что можно было подумать, будто я во всю жизнь ничего другого не делал. Точно так же сделался я помощником отца Ламберта в обучении деревенских детей. Мои успехи в преподавании даже наделали некоторого шума в кантоне, так как я нашел превосходное средство споспешествовать быстрым успехам учеников: я писал сам карандашом буквы, они обводили их чернилами, а гумиластик довершал остальное. Родители были в восторге; только ученикам моим было несколько трудно справляться без учителя, чего, впрочем, мужики не замечали, несмотря на всю свою ловкость в проделках всякого рода.

Этот род жизни был мне по сердцу: одетый в костюм невежественного монаха, терпимый властями, я не мог страшиться никаких подозрений; с другой стороны, животная жизнь, к которой я всегда относился благосклонно, была очень приятна; родители учеников посылали нам беспрестанно пива, дичи и плодов. Наконец, в число моих учениц попало несколько хорошеньких крестьянок, оказывавших большое прилежание. Все шло хорошо, но вскоре стали не доверять мне; стали за мной подсматривать, уверились, что я слишком расширил круг своих обязанностей, и пожаловались отцу Ламберту. Он, в свою очередь, стал сообщать мне об обвинениях, возводимых на меня; я вполне разуверил его, и жалобы прекратились, но надзор за мною был удвоен. Раз ночью, когда, движимый ревностью к науке, я собирался давать уроки шестнадцатилетней ученице на сеновале, меня схватили четыре молодца пивовара, отвели в хмельник, раздели донага и высекли до крови крапивой. Боль была так сильна, что я потерял сознание; придя в себя, я очутился на улице, голый, покрытый волдырями и кровью.

Что было делать? Возвратиться к отцу Ламберту — значило подвергать себя новым опасностям. Ночь еще была в

начале. Снедаемый лихорадочным жаром, я решился отправиться в Марейль, к одному из своих дядей. Смеясь над моим несчастием, мне вытерли все тело сливками с постным маслом. Через восемь дней, совершенно выздоровев, я отправился в Аррас. Но мне невозможно было оставаться там: полиция со дня на день могла узнать, где я; поэтому я поехал в Голландию с намерением там поселиться; деньги, бывшие у меня в запасе, давали мне возможность подыскивать исподволь подходящее занятие.

Проехав Брюссель, где я узнал, что баронесса И… проживает попеременно в Лондоне, в Антверпене и Бреде, я отправился в Роттердам. Мне дали адрес таверны, где я мог остановиться. Там я встретил француза, который отнесся ко мне весьма дружески, несколько раз приглашал меня обедать, обещая похлопотать о приискании мне хорошего места. Я принимал недоверчиво все эти любезности, зная, что голландское правительство не было разборчиво на средства для набора рекрутов в морскую службу. Несмотря на всю мою осторожность, моему новому другу удалось-таки опоить меня каким-то особенным напитком. На следующий день я проснулся в рейде на голландском судне. Сомнения быть не могло: невоздержание предало меня в руки покупщиков душ.

Растянувшись у вант, я размышлял о странной судьбе, скоплявшей над моей злополучной головой всевозможные затруднения, когда один человек из команды, толкнув меня ногой, сказал, что надо вставать и идти за платьем. Я притворился, что не понимаю; тогда сам лоцман отдал мне приказ по-французски. На мое замечание, что я не моряк, потому что не подписывал обязательства, он схватил веревку, намереваясь ударить меня; при этом жесте я схватил нож у матроса, завтракавшего у грот-мачты, и, прислонившись к пушке, поклялся пропороть живот первому, кто вздумает приблизиться, На судне произошла большая суматоха; на шум явился капитан. Это был человек лет сорока, приятной

наружности, с манерами, не отличавшимися угловатостью, свойственной морякам, он выслушал меня благосклонно, — это было все, что он мог сделать, потому что не от него зависело изменить морскую организацию страны.

В Англии, где служба на военных судах тяжелее, менее доходна и, главное, менее свободна, чем на судах торговых, матросы на государственную службу набираются посредством насильственного набора. В военное время насильственный набор производится на море, на торговых кораблях, куда часто отдают изнеможенных и хилых матросов за свежих и сильных; совершается он также и на суше, в больших городах, причем, однако, забирают только лиц, вид и костюм которых доказывают, что они знакомы с морской службой. В Голландии, в то время, о котором я говорю, напротив, поступали так же, как в Турции, где в случае необходимости на линейные корабли берут каменщиков, конюхов, портных и цирюльников, следовательно, людей не бесполезных обществу. Когда по выходе из гавани корабль с подобным экипажем вступал в сражение, то все маневры не удавались, и этим, вероятно, объясняется, каким образом турецкие фрегаты брались или потоплялись плохонькими греческими суденышками.

Итак, мы имели на корабле людей, которые по своим наклонностям и привычкам жизни до такой степени не подходили к требованиям морской службы, что смешно было даже подумать об их поступлении во флот. Из двухсот человек, забранных, как и я, может быть, не было и двадцати, которые когда-либо ступали ногой на судно; из них большая часть была взята просто силою или с помощью спаивания; других соблазнили обещанием доставить даром в Батавию, где они намеревались заниматься своим ремеслом; в том числе были два француза, один бухгалтер, бургундец, другой садовник, лимузинец, которые, как видите, должны были изображать из себя матросов. В наше утешение матросы ска-

зали нам, что из опасения дезертирства нас высадят на землю, может быть, не ранее полугода, что иногда делалось в Англии, где матрос может пробыть целые годы, не видя родной земли иначе, как с мачт своего корабля; надежные люди служат гребцами, и в этой должности встречаются даже не принадлежащие к экипажу. Для смягчения сурового приказа на суда призывают несколько женщин вольного поведения, которых всегда много в гаванях и которых, не знаю почему, называют дочерями королевы Каролины (Queen's Caroline daughters.) Английские моряки, от которых я впоследствии узнал эти подробности, может быть, не безукоризненно верные, прибавляли, что для некоторого прикрытия безнравственности подобной меры капитаны иногда требовали, чтобы посетительницы называли себя кузинами или сестрами путников.

Что касается до меня, давно намеревавшегося поступить в морскую службу, то это положение не имело бы в себе ничего отталкивающего для меня, если бы оно не было насильственно и если бы я не имел в перспективе угрожавшего мне рабства; прибавьте к этому дурное обращение начальника команды, который не мог мне простить мою первую выходку. При малейшем неправильном маневре удары веревкой сыпались так обильно, что заставляли сожалеть о палках острожных аргусов. Я был в отчаянии; раз двадцать приходила мне мысль бросить на голову моего преследователя марсы, блок фала или столкнуть его в море, когда я буду на вахте ночью. Я, конечно, и привел бы в исполнение один из этих замыслов, если бы лейтенант, возымевший ко мне дружбу за то, что я учил его фехтованию, не улучшил несколько моего положения. Притом мы направлялись к Гельвецлаю, где стоял на якоре «Heindrack», к экипажу которого мы должны были присоединиться: при пересаживании представлялась надежда бежать.

В день пересаживания мы отправились в числе двухсот семидесяти рекрутов на маленькой шхуне, управляемой двадцатью пятью людьми и в сопровождении двадцати пяти солдат, надзиравших за нами. Малочисленность этого отряда навела меня на мысль сделать внезапное нападение, обезоружить солдат и заставить моряков отвезти нас в Антверпен. Сто двадцать рекрутов, французов и бельгийцев, приняли участие в заговоре. Решено было, что мы сделаем внезапное нападение на караульных во время обеда их сотоварищей, при чем легко будет с ними справиться. Этот план тем легче был приведен в исполнение, что никто ничего не подозревал. Офицер, командовавший отрядом, был схвачен в ту минуту, когда садился за чай; впрочем, ему не сделали ничего дурного. Один молодой человек из Дорника, приглашенный в качестве суперкарго[6] и сделанный матросом, как красноречиво изложил ему причины нашего возмущения, что убедил его засесть без сопротивления в трюм вместе со своими солдатами. Что касается до моряков, то они остались при деле; только один из них, уроженец Дюнкирхена, перешедший на нашу сторону, взялся за румпель.

Настала ночь. Я посоветовал лечь в дрейф, чтобы не натолкнуться на какое-нибудь судно, сберегающее берега и которому моряки могли подать знаки; дюнкирхенец отказался от этого с упорством, которое могло внушить мне недоверие; поэтому мы продолжали путь, и с рассветом шхуна находилась под пушкой крепости, соседней с Гельвецлаем. Дюнкирхенец тотчас же объявил, что сойдет на землю, чтобы удостовериться, могли ли мы высадиться безопасно, и тогда я увидал, что мы проданы, но уже было поздно. Сигналы, без сомнения, были уже поданы, при малейшем движении крепость могла нас потопить; пришлось ожидать, что будет далее. Вскоре барка, заключавшая в себе человек двадцать,

[6] Судовой приказчик.

отошла от берега и атаковала шхуну; три офицера, находившиеся на барке, безбоязненно вошли на палубу, хотя она служила театром довольно оживленной драки между нашими сотоварищами и голландскими моряками, намеревавшимися стрелять в солдат, заключенных в трюме.

Первым словом старшего офицера был вопрос: «Кто зачинщик заговора?» Все молчали, а я начал говорить по-французски и объяснил, что никакого заговора не было; что просто единодушным и внезапным порывом мы вздумали освободиться от рабства, которому подчинялись; притом мы совсем не обошлись дурно с офицером, командующим шхуной, — он может сам об этом засвидетельствовать, равно как голландские моряки, которые хорошо знали, что, высадившись в Антверпене, мы оставили бы им судно. Не знаю, произвела ли моя речь какое-либо впечатление, потому что мне не дали ее окончить; только когда нас загоняли в трюм на место посаженных нами туда накануне солдат, то я слышал, как сказали лоцману: «И завтра попляшут они, голубчики, на кончике реи». Затем шхуна направилась к Гельвецлаю, куда прибыла в тот же день, в четыре часа пополудни. В гавани «Heindrack» бросил якорь. Комендант крепости отправился туда в шлюпке, и час спустя меня самого туда отвели. Я нашел там нечто вроде морского совета, который расспрашивал меня о подробностях бунта и о моем участии в нем. Я повторил то же, что сказал коменданту крепости: что, не подписавши никакого обязательства, считал себя вправе вернуть свою свободу какими бы то ни было средствами.

Тогда меня увели обратно и вызвали молодого человека из Дорника, остановившего коменданта шхуны; нас считали зачинщиками заговора, а известно, что при подобных обстоятельствах зачинщики одни и подвергаются наказанию. Нас ожидала ни более ни менее как виселица. К счастью, молодой человек, которого я успел предупредить, давал одинаковые со мной показания, с твердостью поддерживая, что

наущения не было ни с чьей стороны, что нам всем зараз пришла мысль сделать нападение; притом мы уверены были, что товарищи нас не выдадут, потому что выказывали нам живое участие и даже обещали в случае нашего осуждения взорвать судно, на которое их посадят, т. е. поджечь порох и таким образом самим взлететь на воздух. И были смельчаки, действительно способные сделать это. Из боязни ли этих угроз и дурного примера для флотских моряков, набранных на службу таким же способом; признал ли совет, что мы основывали свою защиту на законных мотивах, но за нас обещали ходатайствовать пред адмиралом с условием, что мы удержим наших товарищей в надлежащей субординации, по-видимому, столь не свойственной им. Мы обещали все требуемое, потому что ничто так сильно не понуждает к мировой сделке, как ощущение роковой веревки на шее.

По заключении этих условий товарищи наши были пересажены на корабль и размещены в пространстве между деками вместе с командой, которую они пополнили. Все совершилось в наилучшем порядке; не поднялось ни малейшей жалобы; не пришлось принимать никаких мер предосторожности. Не лишнее заметить, что с нами обращались совсем не так дурно, как на бриге, где прежний боцман распоряжался не иначе, как с веревкой в руках. С другой стороны, ко мне относились с некоторым уважением, вследствие того, что я давал уроки фехтования гардемаринам; меня даже сделали бомбардиром, с двадцатью восьмью флоринами жалованья в месяц. Таким образом прошло два месяца, в течение которых постоянное присутствие английских крейсеров не позволяло нам оставить гавань. Я свыкся со своим новым положением и даже совсем не помышлял выходить из него, когда мы узнали, что французские власти отыскивали туземцев для пополнения голландского экипажа. Случай представлялся отличный для тех из нас, кто был бы недоволен службой; но никто не думал им воспользоваться; во-первых,

нас желали иметь только для того, чтобы присоединить к линейному французскому экипажу, — перемена, не представлявшая в себе ничего привлекательного; притом большая часть моих сотоварищей имела, кажется, подобно мне, основательные причины не показываться на глаза агентам метрополии. Итак, каждый из нас хранил молчание, и когда к капитану прислали спросить список его экипажа, то просмотр его не привел ни к какому результату по той простой причине, что мы все были записаны под фальшивыми именами. Мы думали, что гроза прошла мимо.

Между тем розыски продолжались; только вместо того, чтобы наводить справки, подсылали агентов в гавань или в таверны для наблюдения над всеми, отправлявшимися на берег по делам службы или по дозволению. В одну из таких экскурсий я был арестован; этим я был обязан повару корабля, удостоившему меня своей личной неприязнью с той поры, как я нашел предосудительным, что он нам давал сало вместо масла, испорченную треску вместо свежей рыбы.

Приведенный к коменданту крепости, я назвал себя голландцем; язык был мне довольно знаком для поддержания этой лжи, притом я просил отвезти меня под караулом на корабль, чтобы взять необходимые бумаги для удостоверения своей личности. Провожать меня поручено было одному унтер-офицеру, отправились мы в лодке. Приблизившись к кораблю, я пропустил вперед своего провожатого, с которым весьма дружески беседовал; увидя, что он зацепился за вант, я внезапно отчалил от борта, приказав лодочнику грести сильнее и обещая ему за это на водку. Мы живо рассекали волны, пока унтер-офицер рвался на виду всего экипажа, не понимавшего его или притворявшегося непонимающим. Добрались до берега; я поспешил скрыться в одном знакомом доме с твердым намерением оставить корабль, куда мне нельзя было теперь показаться. Так как мой побег служил подтверждением всех подозрений на мой счет, то я предупредил

о нем капитана, который молчанием предоставил мне позволение поступать по своему усмотрению.

Дюнкирхенский капер «Barras», под командой капитана Фромантена, стоял в гавани. В те времена редко осматривали подобные суда, имевшие некоторое право на пристанище. Мне с руки было бы попасть туда. Я заявил об этом лейтенанту, который представил меня Фромантену, и тот принял меня в качестве каптенармуса. Через четыре дня «Barras» снялся с якоря для крейсирования по Зунду. Это было в начале жестокой зимы 1799 года, когда погибло столько судов у берегов Балтийского моря. Едва только вышли мы в открытое море, как поднялся противный северный ветер. Боковая качка была так сильна, что я заболел и в течение трех суток не мог ничего ни есть ни пить, кроме водки с водой; половина экипажа была в таком же положении, так что нас могла взять без боя даже какая-нибудь рыбачья лодка. Наконец, погода поправилась, ветер вдруг подул к юго-востоку, и «Barras», превосходный на ходу, делавший по два узла в час, вскоре всех нас излечил. Вдруг часовой наверху мачты закричал; «На левой стороне показалось судно!» Капитан, посмотрев в зрительную трубу, сказал, что это было английское прибрежное судно под нейтральным флагом, которое, по всей вероятности, ветром было отнесено в эту сторону. Мы приблизились к нему при полном попутном ветре и подняв французский флаг. При втором выстреле из пушки корабль пристал к берегу, не дожидаясь абордажа; экипаж поместили в трюме и направились к Бергену (в Норвегии), где груз, состоявший из леса с островов, нашел себе покупателей. Я оставался шесть месяцев на «Barras». Моя доля в добыче доставляла мне порядочную наживу, когда мы остановились в Остенде. Читатель мог заметить, что этот город был для меня гибелен; но случившееся на этот раз заставляет меня почти верить в предопределение. Едва мы прибыли на место, как появился комиссар, жандармы и полицейские чиновники для освиде-

тельствования бумаг экипажа. Впоследствии я узнал, что эта мера, вообще не бывшая в употреблении, вызвана была убийством, виновника которого предполагали найти между нами. Когда очередь дошла до меня, я назвал себя Огюстом Дювалем, уроженцем Лориана, и добавил, что бумаги мои остались в Роттердаме, в голландском морском бюро; мне ничего не ответили, и я считал уже дело улаженным. Когда были спрошены все сто три человека, нас призывали по восьми, объявляя, что отведут в разрядное бюро для отобрания показаний. Не заботясь об этом, на повороте первой улицы я тихонько улизнул и был уже впереди жандармов шагов на тридцать, как какая-то старуха, мывшая крыльцо своего дома, бросила мне щетку под ноги; я упал, жандармы подбежали и надели на меня ручные цепи, не считая обильных ударов палкой, карабином и сабельными ножнами. Таким образом меня повели к комиссару, который, выслушавши меня, спросил, не бежал ли я из Кимперского госпиталя. Я тут увидел, что попал впросак, оказалось так же опасным носить имя Дюваля, как и имя Видока; однако я остался при первом, представлявшем менее неблагоприятных шансов, чем второе, потому что, так как дорога от Остенде до Лориана длиннее, нежели от Остенде до Арраса, то мне представлялось более шансов к побегу.

Глава двенадцатая

Я снова вижу Франсину. — Мое возвращение в тюрьму Дуэ. — Затруднение для судебных властей. — Я сознаюсь, что я Видок. — Снова в Бисетре. — Отправление в Тулон. — Жоссаз — великолепный вор. — Его свидание со знатной барыней. — Буря на Роне. — Палач. — Каторжник. — Похитители государственных бриллиантов. — Семейство chauffeurs

Прошла неделя, в течение которой я только один раз увидел снова смотрителя пересылочной тюрьмы. Потом меня отправили с транспортом пленников, дезертиров и других арестантов, которых препровождали в Лилль. Можно было опасаться, что меня узнают в городе, где я так часто бывал; поэтому, зная, что мы пройдем через него, я принял меры предосторожности, чтоб меня не признали жандармы, которые прежде меня провожали. Черты моего лица, скрытые под слоем пыли и пота, кроме того, были обезображены поддельной опухолью щек, которые стали такими же полными, как на церковных фресках у ангелов, сзывающих смертных трубными звуками в день страшного суда. В таком состоянии я вступил в Эгалитэ, военную тюрьму, где должен был пробыть несколько дней. Чтоб смягчить тоску заключения, я рискнул заглянуть в кабачок с той надеждой, что, смешавшись с посетителями, мне представится случай бежать. Встреча с одним матросом, которого я знал на корабле «Barras», показалась мне счастливым предзнаменованием для исполнения этого плана. Я заплатил за завтрак и, когда закуска была окончена, вернулся в свою комнату. Я уже находился там около трех часов, мечтая о способах к освобождению, когда пришел матрос пригласить меня разделить с ним обед, который принесла его жена. Итак, у матроса была жена, и мне пришло, в голову обмануть бдительность сторожей, если она может доставить мне женское платье или какое-нибудь другое переодеванье. С этими

мыслями я спустился в кабачок и пошел к столу, как вдруг раздается крик и одна женщина падает в обморок — это была жена моего товарища. Я хочу ей помочь… и неожиданное восклицание вырывается у меня… Боже! Это была Франсина. Испуганный своей неосторожностью, я старался скрыть первое движенье, которым не в силах был овладеть. Пораженные и удивленные зрители этой сцены собираются вокруг меня и осыпают вопросами; после некоторого молчания я выдумал историю, будто бы мне показалось, что я в ней узнаю свою сестру.

Это происшествие не имело последствий. На другой день мы отправились с рассветом, и я был разочарован, увидев, что партия направляется не по дороге в Ленц, как обыкновенно, а по дороге в Дуэ. Зачем эта перемена направления? Я приписывал это какой-нибудь нескромности Франсины; но вскоре узнал, что это просто произошло от необходимости направить на Аррас толпу бунтовщиков, скученных в камбрейской тюрьме.

Франсина, которую я так несправедливо заподозрил, дожидалась меня на первом роздыхе… Несмотря на жандармов, она хотела говорить со мной, поцеловать меня; она сильно плакала, и я также. С какой горечью она упрекала себя в неверности, которая была причиной всех моих несчастий! Ее раскаяние было искреннее, и я ей простил от всего сердца. Когда, по распоряжению бригадира, нам нужно было расставаться, она сунула мне в руку сумму в двести франков золотом.

Наконец мы прибыли в Дуэ, вот мы уже у ворот департаментской тюрьмы; жандарм звонит. Кто же является отворить дверь? Дютилель, тюремщик, который после моего первого покушения к побегу ухаживал за мной в течение целого месяца. Он, казалось, не заметил меня. В канцелярии я нахожу еще старого знакомца — Гуртреля, но до такой степени пьяного, что он, наверное, потерял память. В течение

трех дней мне не говорили ни слова, но на четвертый привели к следователю, где присутствовали Гуртрель и Дютилель; последний спросил меня, не Видок ли я. Я утверждаю, что я Огюст Дюваль, в чем можно удостовериться, сделав справку в Лориане, и, кроме того, это служит причиной моего ареста в Остенде как дезертира с военного судна. Моя самоуверенность произвела впечатление на следователя, он колеблется; но Гуртрель и Дютилель продолжают утверждать, что они не ошибаются. Затем пришел посмотреть меня прокурор Россон и тоже стал уверять, что узнал меня; но так как я все-таки не поддаюсь, то остается некоторое сомнение, и, чтоб уяснить дело, прибегают к ловушке.

Однажды утром мне говорят, что кто-то меня желает видеть в канцелярии; я вхожу; это была моя мать, которую вызвали из Арраса, понятно с каким намерением. Бедная женщина бросается в мои объятия… Я вижу, что это западня… Без грубости я отстраняю ее и говорю следователю, присутствовавшему при свидании, что жестоко подавать надежду несчастной женщине свидеться с сыном, когда не были вполне уверены в возможности показать его. Между тем моя мать, предупрежденная знаком, в то время, когда я отстранял ее, начала меня рассматривать как будто с большим вниманием и наконец объявила, что поразительное сходство обмануло ее; потом она удалилась, проклиная тех, кто встревожил ее ложной надеждой.

Недоверие ко мне следователя и тюремщиков, казалось, должно было прекратиться по получении бумаги из Лориана. В ней говорилось о знаках, наколотых на левой руке Дюваля, бежавшего из Кимперского госпиталя, как о признаке, который должен был удостоверить тождество с личностью, задержанной в Дуэ. Новая явка к следователю. Гуртрель, торжествуя своей прозорливостью, присутствовал при допросе. С первых слов я понял, в чем дело, и, засучив рукав своего камзола выше локтя, показал им рисунок, кото-

рого они не ожидали и принуждены были признать положительное его сходство с описанием, присланным из Лориана. Все как бы свалились с неба; но что еще более усложняло положение, это то, что власти Лориана требовали меня как дезертира из флота. Прошло две недели, а насчет меня они не приняли никакого решения; тогда, выведенный из терпения строгими мерами, которыми хотели добиться сознания, я написал к президенту уголовного суда и заявил, что я действительно Видок. Причиной такого решения было то, что я рассчитывал немедленно отправиться в Бисетр с первой партией, в которую действительно и попал. Но я ошибся в расчете: за нами так зорко наблюдали, что мне было невозможно сделать ни малейшей попытки к побегу.

Второй раз я вступил в Бисетр 2 апреля 1799 года. Я там нашел некоторых старых заключенных, которые, хотя и были осуждены на каторгу, но получили отсрочку в отправлении, т. е. некоторое смягчение наказания, так как срок считался со дня объявления приговора в окончательной форме. Подобные снисхождения делают и в настоящее время. Если бы они простирались только на лиц, заслуживших этого своим раскаянием или обстоятельствами, сопровождавшими приговор, то еще можно бы было допустить подобные поблажки, но эти нарушения существующих законов были по большей части следствием препирательств между департаментской и высшей полицией, из которых каждая имеет своих протеже. Все осужденные подлежат ведению высшей полиции, и она может отправить кого ей угодно из Бисетра или другой тюрьмы на каторгу; из этого можно убедиться в справедливости того, что я говорю. Арестант, который до тех пор представлялся смиренным и набожным, сбрасывает маску и выказывается самым отчаянным каторжником.

Я увидал также в Бисетре капитана Лаббре, который, если помнят, когда-то снабдил меня в Брюсселе бумагами, посредством которых я обманул баронессу И… Он был осужден

на шестнадцать лет за участие в крупной краже, совершенной в Генте у содержателя гостиницы Шампона. Он должен был вместе с нами отправиться в первой партии каторжников, что предстояло очень скоро, к нашему общему огорчению. Капитан Виез, зная, с кем имеет дело, объявил, что он нам наденет ручные цепи и двойные ошейники, чтобы предупредить побеги. Однако нам удалось уговорить его отказаться от этого намерения, обещая не предпринимать никаких попыток.

После заковки, происходившей совершенно так же, как и при первом отправлении, я был помещен во главе первой цепи с одним из известнейших мошенников Парижа и провинции; это был Жоссаз, носивший обыкновенно имя маркиза Сент-Аманд де Фараль. Ему было тридцать шесть лет, он имел приятные черты лица и при случае принимал изящные манеры. Его дорожный костюм был костюмом франта, который встал с постели, чтоб перейти в будуар. Панталоны, вязанные, в обтяжку, серебристо-серого цвета; куртка и шапочка, обшитая барашком того же цвета, а на все это накинут широкий плащ, подбитый малиновым бархатом. Его издержки соответствовали одеянию. Не довольствуясь тем, что угощался роскошно на каждой остановке, он кормил еще трех или четырех человек из партии.

Воспитания Жоссаз не получил никакого, но, поступив очень молодым человеком на службу к одному богатому землевладельцу из колонии, которого сопровождал в его путешествиях, он приобрел изящные манеры и умел прилично держать себя в хорошем обществе. Товарищи его, видя, как он легко проникал повсюду, прозвали его отмычкой. Он даже так сроднился со своей ролью, что на каторге, на двойной цепи, окруженный самыми жалкими людьми, он сохранял важность под своей курткой каторжника. При нем был великолепный несессер, и он каждое утро целый час посвящал на

свой туалет, и особенно занимался руками, которые у него были очень красивы.

Жоссаз был один из тех воров, которых теперь, по счастью, уже немного и которые по целому году обдумывали и приготовляли экспедицию. Действуя преимущественно с помощью поддельных ключей, он обыкновенно прежде всего снимал отпечаток с замка от наружных дверей. Подделав ключ, он проникал в первую комнату; если он встречал препятствие перед другой дверью, то снимал новый слепок, подделывал второй ключ и так далее, пока не достигал цели. Но понятно, что имея возможность проникать туда не каждый вечер и только в отсутствие хозяина, он должен был терять много времени, дожидаясь удобного случая. Поэтому он действовал таким образом только в том случае, если не имел возможности войти в дом под другим предлогом; но если представлялся случай, то он снимал отпечатки разом со всех замков. Когда ключи были готовы, он приглашал к себе хозяев обедать в улицу Шантерен, и, пока они сидели за столом, его соучастники опустошали их комнаты, из которых он находил возможность удалить прислугу, или прося хозяев взять их с собой, или увлекая горничных и кухарок подосланными к ним любовниками. Дворники ничего не могли видеть, потому что воры большей частью брали только деньги и драгоценные вещи. Если же находились по случаю более объемистые предметы, их обертывали в грязное белье и передавали в окно соучастнику, который находился тут с прачечной повозкой.

Жоссаз на своем веку совершил массу покраж, которые все свидетельствуют о тонкой наблюдательности и изобретательности, доведенной до высшей степени. В свете, где он слыл за креола из Гаваны, он встречал часто тамошних уроженцев и ни разу не изменил себе. Часто доходило дело до того, что ему предлагали руку молодых девиц из почтенных семейств. Разузнав всегда между разговорами, где спрятано

приданое, он похищал его и исчезал в минуту подписания контракта. Но самая удивительная из его проделок была та, жертвой которой сделался один лионский банкир. Войдя в дом под предлогом деловых сношений, он в короткое время приобрел некоторую короткость, которая дала ему возможность снять отпечатки со всех замков, исключая кассу, секретное устройство которой делало все его попытки бесполезными. С другой стороны, касса была заключена в стене и закреплена железными полосами, и поэтому нельзя было думать о взломе, а кассир никогда не разлучался со своим ключом. Но Жоссаз не унывал. Сблизившись с кассиром, он предложил ему загородную прогулку в Колланж. В назначенный день они поехали в кабриолете. Доехав до С.-Рамбера, они увидали умирающую женщину, истекавшую кровью ртом и носом; возле нее находился человек, который, как казалось, был в страшном затруднении, как помочь ей. Жоссаз, взволнованный этим печальным происшествием, сказал ему, что для пресечения кровотечения необходимо за спину больной положить ключ. Но ни у кого его не оказалось, исключая кассира, который предложил сейчас ключ от своей комнаты; но одного было недостаточно. Тогда кассир, испуганный потоком крови, подал ключ от кассы, который и был употреблен с большой пользой между плеч больной. Вероятно уже догадались, что там находился воск для снимка модели и что вся сцена была приготовлена заранее. Через три дня касса была опустошена.

Как я уже сказал, Жоссаз расходовал деньги со щедростью человека, которому они достаются легко. Он был очень благотворителен, и я могу указать многие черты его странного великодушия, предоставляя судить о нем моралистам. Однажды он проник в один дом в улице Газар, на который ему указали как на хорошую добычу. Бедность обстановки его поразила, но он сообразил, что владелец, вероятно, скупец. Он продолжает обыск, роет везде, ломает ящики и наконец

находит в одном из них билет на залог вещей в Mont-de-Piete… Он вынимает из своего кармана пять луидоров, кладет на камин и, написав на зеркале слова «Вознаграждение за поломанную мебель», удаляется, старательно затворив двери, чтобы менее щекотливые воры не попользовались тем, что он оставил.

Жоссаз уже в третий раз совершал путешествие из Бисетра, потом он бегал еще два раза, был пойман и умер в 1805 году в Рошфорском остроге.

В Монтеро я был свидетелем сцены, о которой не мешает упомянуть, потому что подобные происшествия часто повторяются. Один из каторжников, по имени Можер, знал одного молодого человека из этого города, которого родные считали приговоренным к каторге; он попросил своего соседа закрыть себе лицо платком и сообщить таинственно некоторым лицам, вышедшим на нас посмотреть, что тот, который старается укрыться, и есть этот молодой человек. Затем наша партия продолжала свой путь, но не успели мы пройти и четверти лье от Монтеро, как догнавший нас человек передал капитану пятьдесят франков, собранные от подаяний в пользу человека с платком. Эти пятьдесят франков были вечером розданы участникам проделки, и, кроме них, никто не знал о причине такой щедрости.

В Сансе Жоссаз представил новую комедию: он велел позвать некоего Сержанта, содержавшего гостиницу «Экю». Увидев его, этот человек выказал все признаки глубокого сожаления: «Как, — воскликнул он, с глазами полными слез, — вы здесь, господин маркиз!.. Вы, брат моего старого господина!.. А я думал, что вы возвратились в Германию… Ах! Боже мой! Какое несчастье!» Легко было понять, что в одно из своих похождений Жоссаз находился в Сансе и выдал себя за эмигранта, возвратившегося потихоньку, и за брата графа, у которого Сержант был когда-то поваром. Жоссаз объяснил ему, что арестованный на самой границе с поддельным паспортом,

он был приговорен за подлог. Добрый трактирщик не ограничился бесплодными сожалениями, он подал благородному галернику превосходный обед, в котором я принял участие с аппетитом, не согласующимся с моим скверным положением.

Кроме жестоких палочных ударов, которыми наградили двух арестантов, намеревавшихся бежать в Бонне, с нами не случилось ничего необыкновенного до Шалона, где нас посадили на большую баржу, наполненную соломой, похожую на те, в которых привозят уголь в Париж; она была покрыта толстой парусиной. Если являлось желание взглянуть на окрестности или вдохнуть в себя чистый воздух и один из осужденных подымал полотно, то град палочных ударов сыпался на его спину. Хотя я и не подвергался такому обхождению, по тем не менее мое положение беспокоило меня, и только неиссякаемая веселость Жоссаза заставляла меня забыть на минуту, что, прибыв на каторгу, я буду под строгим надзором и бегство сделается невозможным. Эта мысль преследовала меня, когда мы прибыли в Лион.

Увидав остров Барб, Жоссаз сказал мне: «Ты увидишь диковинку». Действительно, на набережной Совы я увидел хорошенькую карету, которая, казалось, дожидалась прибытия баржи. Только что она показалась, как какая-то женщина высунула голову из окна кареты, махая белым платком. «Это она», — сказал Жоссаз и ответил сигналом. Баржа пристала к набережной, женщина вышла из кареты и смешалась с толпой любопытных; я не мог рассмотреть ее лица, покрытого плотной черной вуалью. Она оставалась там от четырех часов пополудни до вечера; толпа тогда разошлась, и Жоссаз отправил к ней поручика Тьерри, который вернулся с кишкой, где было спрятано пятьдесят луидоров. Я узнал, что Жоссаз покорил сердце этой женщины еще когда носил титул маркиза и уведомил ее теперь письмом о постигшей его беде, которую он, без сомнения, объяснил ей точно так же, как и трактирщику в Сансе. Подобные интриги, очень редкие те-

перь, в то время были очень обыкновенны вследствие беспорядков революции и связанного с ней общественного неустройства. Не понимая, что она жертва обмана, барыня под вуалью появилась на другой день на набережной, чтобы остаться до нашего отъезда. Жоссаз был в восторге: он не только пополнил денежные средства, но обеспечил себе убежище на случай бегства.

Наконец наступал конец нашего плавания, когда в двух лье от Понт-Сент Эспри мы были застигнуты бурей, которые чрезвычайно опасны на Роне; буре предшествовали отдаленные раскаты грома. Вскоре дождь начал лить как из ведра; порывы ветра, такие сильные, какие бывают только у тропиков, опрокидывали дома, вырывали с корнями деревья и вздымали волны, угрожавшие потопить нашу баржу. Она представляла в это время страшное зрелище; при свете молнии двести людей, закованных как бы для того, чтобы отнять у них все средства для спасения, дикими криками выражали свои ужасные страдания под тяжестью оков. На этих мрачных лицах можно было прочесть желание сохранить жизнь, предназначенную для эшафота, жизнь, которая с этих пор должна была протекать в бедствии и унижении. Некоторые из каторжников выказывали полное равнодушие; многие, напротив, — были в сильном волнении. Вспоминая уроки юных лет, один из несчастных бормотал затверженные слова молитвы, другие, потрясая оковами, распевали соблазнительные песни, и молитву заглушали завывания и гнусные шутки.

Упадок духа моряков, которые, казалось, отчаивались за нас, увеличивал общий ужас. Стража струсила не меньше их и даже готова была покинуть баржу, которая видимо наполнялась водой. Но вдруг картина быстро меняется, каторжники бросаются на аргусов с криком «На берег! На берег! Все на берег!». Глубокая тьма, общий ужас и тревога позволяли рассчитывать на безнаказанность; самые смелые из каторжников

объявили, что никто не сойдет с баржи, пока они не вступят на берег.

Один только поручик Тьерри не потерял присутствия духа и сохранял хладнокровие; он уверил, что нет никакой опасности, и доказывал тем, что ни он, ни моряки не думали покидать судна. Ему поверили это тем скорее, что буря начала заметно стихать. Рассвело, и на гладкой поверхности реки ничто не напоминало бы ночного бедствия, если бы грязные воды не несли мертвых тел животных, целые деревья, обломки мебели и домашней утвари.

Избавившись от бури, мы пристали в Авиньоне, где нас поместили в замке. Там началось мщение аргусов; они не забыли того, что они называли нашим возмущением; они. нам напомнили его жестокими ударами палок и мешая публике подавать помощь арестантам. «Милостыню этим разбойникам! — говорил один из них, по имени отец Лами, дамам, которые просили позволения подойти, — это чисто брошенные деньги… Кроме того, обратитесь к начальнику…» Поручик Тьерри, которого не следует смешивать с этими грубыми и бесчеловечными существами, о которых я имел уже случай говорить, дал свое согласие. Но по утонченной злобе аргусы дали знак к выступлению прежде, чем кончилась раздача. Остальной путь не ознаменовался ничем замечательным. Наконец после тридцатисемидневного мучительного путешествия транспорт прибыл в Тулон.

Пятнадцать фур, прибывших на пристань и выстроенных перед канатным заводом, высадили каторжников, которых принимал один чиновник и препровождал на двор острога. Во время переезда те, которые имели одежду получше, поспешили продать ее или бросить в толпу любопытных. Когда каторжное платье было роздано, когда наручники были заклепаны, как это я видел уже в Бресте, нас перевели на обезоруженный корабль «Газар» (в настоящее время «Фронтэнь»), служащий плавучим понтоном; пайоты (каторжники, ис-

полняющие должность писцов) переписали нас, после этого отобрали оборотных лошадей (беглых каторжников), чтоб заключить их на двойную цепь. Побег увеличивал срок наказания на три года.

Так как и я был в этом числе, то меня отвели в камеру № 3, где содержались более подозрительные каторжники. Опасаясь, чтоб не представился случай к побегу при посещении гавани, их никогда не посылали на работу. Постоянно прикованные к скамье, принужденные спать на голых досках, мучимые разными насекомыми, изнуренные дурным обращением, недостатком пищи и движенья, они представляли истинно жалкий вид.

Все, что я говорил о злоупотреблениях всякого рода, происходивших в Брестском остроге, избавляет меня от необходимости описывать те, которые я мог наблюдать в Тулоне. То же смешение арестантов, та же жестокость аргусов, тот же грабеж вещей, принадлежащих правительству: только здесь было более случаев к воровству для каторжников, работающих в арсеналах и в магазинах. Железо, свинец, медь, пенька, смола, масло, ром, сухари, копченое мясо исчезали каждый день и находили тем легче укрывателей, что арестантам помогали моряки и вольнонаемные рабочие в порту. Краденые предметы служили для оснастки множества каботажных и рыбачьих судов, владельцы которых, приобретая их по дешевым ценам, могли всегда сказать при следствии, что они купили их на торгах, где распродаются вещи, выслужившие срок.

Один из арестантов нашей камеры, находясь в плену в Англии, работал плотником в Чатаме и в Плимуте и рассказывал нам, что там грабеж еще более распространен. Он уверял, что во всех деревнях по берегам Темзы и Медвеи находятся люди, постоянно занятые расплетением канатов королевского флота, чтоб уничтожать клейма и шнурки, которые в них вплетаются для того, чтоб они не пропадали; другие заняты

только уничтожением стрелок, отчеканенных на всех металлических предметах, украденных из арсеналов. Это воровство, как бы оно ни было значительно, не может, однако, сравниться с грабежом, который совершался на Темзе в ущерб торговле. Хотя учреждение морской полиции по большей части уничтожило эти злоупотребления, но я полагаю, что небезынтересно будет сообщить некоторые подробности об этих плутовствах, которые совершаются еще и в настоящее время в некоторых портах в ущерб их владельцам.

Злоумышленники разделялись на многие категории, из которых каждая имела свое особенное наименование и назначение. Так существовали: Речные пираты, Легкая кавалерия, Жандармы, Перевозчики-ловцы, Шкиперы-ловцы, Ласточки в тине, Шумилы, Укрыватели.

Речные пираты состояли из самых смелых и самых жестоких разбойников прибережьев Темзы. Они преимущественно действовали ночью и жертвою избирали корабли, плохо охраняемые, иногда они перерезывали их немногочисленный экипаж, чтобы грабить беспрепятственно; чаще же они ограничивались кражей такелажа или тюков с хлопком. Стоя на якоре в Кастлантере, капитан одного американского брига, услыхав шум, вышел на палубу, чтоб узнать, в чем дело; лодка удалялась с пиратами, которые пожелали ему доброй ночи и крикнули, что они утащили у него якорь и канат. Сговорившись с ночными сторожами, приставленными караулить грузы, они грабили еще с большею легкостью. Когда же нельзя было действовать с помощью соглашения, они перерезывали канаты судов и спускали их до такого места, где можно было приняться за дело, не опасаясь быть открытым. Небольшие суда с углем целиком разгружались таким образом в течение одной ночи. Русское сало, несмотря на тяжесть бочек и на трудность их перетаскивания, которая, казалось, должна была бы охранить его против этих покушений, тоже

не было в безопасности; был пример ночного похищения семи таких бочек, весивших от тридцати до сорока центнеров.

Легкая кавалерия грабила также в ночное время, но она преимущественно нападала на корабли, приходящие из Вест-Индии. Этот вид воровства был следствием соглашения с боцманами и укрывателями, которые покупали сор, то есть куски сахара, зерна кофе или утечку жидкостей, остающиеся под палубой после разгрузки. Понятно, что можно было увеличить эту прибыль, прорывая мешки и раздвигая бочечные дощечки. Это открыл один канадский негоциант, который отправлял каждый год значительное количество масла. Постоянно находя более значительную убыль, нежели полагается на утечку, и не имея возможности получить на этот счет удовлетворительного ответа от своего корреспондента, он воспользовался путешествием в Лондон, чтобы проникнуть в эту тайну. Решившись произвести свое дознание до мельчайших подробностей, он пришел на пристань и ожидал с нетерпением транспортного судна, которое было нагружено еще накануне; промедление в прибытии его уже казалось ему чем-то не совсем обыкновенным. Наконец, оно появилось, и негоциант увидал целую толпу людей со зловещими лицами, бросившихся на палубу с таким жаром, как корсары, идущие на абордаж. В свою очередь и он проник под палубу и был поражен, увидав ряды бочонков втулкой книзу. Когда разгрузили судно, то в трюме осталось масла достаточно, чтобы наполнить девять бочонков. Владелец, приказав поднять несколько досок, нашел еще чем наполнить пять бочонков; таким образом из простой нагрузки одного судна утаивали четырнадцать бочонков. Но страннее всего было то, что экипаж не только не сознавал своей вины, но имел наглость роптать, что его лишают принадлежащей ему прибыли.

Не довольствуясь этого рода воровством, легкая кавалерия, совместно со шкиперами-ловцами, проламывала ночью

бочки с сахаром, который мало-помалу исчезал весь, уносимый частями в черных мешках, называемых black-strops (черные повязки). Констебли, прибывшие по поручению в Париж и с которыми я должен был вступить в сношения, уверяли меня, что они таким образом в одну ночь с разных кораблей унесли до двадцати бочек сахару и даже рому, который извлекали посредством ливеров (gigger) и наполняли им пузыри. Корабли, доставлявшие такую наживу, были известны под именем game ships (корабли с дичью). Кроме того, в это время воровство жидкостей и спиртуозных напитков было очень обыкновенно, даже в королевском флоте. Расскажу, кстати, о весьма любопытном в этом отношении случае, происшедшем на фрегате «Победа», который перевозил в Англию останки Нельсона, убитого, как известно, в сражении при Трафальгаре. Чтобы сохранить тело от порчи, его положили в бочку с ромом. Когда прибыли в Плимут, открыли бочку, — там было сухо. Во время переезда матросы, уверенные, что ночной обход не войдет в это отделение, выпили ром с помощью соломинки или giggers'a. Они называли это «почать адмирала».

Перевозчики-ловцы сновали по палубам кораблей, на которых происходила разгрузка; они принимали и препровождали тотчас же на берег краденые вещи. Так как через них производились сношения с укрывателями, то они удерживали в свою пользу значительный барыш и все жили очень роскошно. Например, рассказывали про одного молодца, который плодами своего промысла содержал очень красивую женщину и имел верховую лошадь.

Ласточками в тине называли людей, которые бродили при отливе вокруг килей кораблей, под предлогом собиранья старых канатов, железа, угля, но в сущности, чтоб принимать вещи, которые им бросали с корабля.

Шумилы были рабочие в длинных передниках, которые, под предлогом отыскивания работы, устремлялись на палубу

судна, где находили всегда средство похитить что-нибудь во время сумятицы.

Наконец, существовали укрыватели, которые, не довольствуясь покупкой всего, что приносили перечисленные нами воры, вступали в непосредственные сношения со шкиперами или с боцманами, зная, как и чем можно соблазнить их. Эти переговоры велись на арго, понятном только для заинтересованных лиц. Сахар назывался песком, кофе — бобами, индейский перец — мелким горошком, ром — уксусом, чай — хмелем, так что можно было трактовать даже в присутствии владельца товара и он не подозревал, что дело идет о его грузе.

Я нашел в камере № 3 собрание всех разудалых злодеев острога. Я видел там одного, по имени Видаль, который внушал отвращение самим каторжникам. Задержанный четырнадцати лет среди шайки убийц, с которыми он участвовал в преступлениях, он избавился от эшафота только благодаря своей смелости. Приговоренный на двадцать четыре года заточения и едва успев поступить в тюрьму, он убил товарища ударом ножа во время ссоры. Приговор на заточение был заменен приговором на двадцать четыре года каторжной работы. Он уже несколько лет находился в остроге, когда один каторжник был приговорен к смерти. В городе в это время не было палача; Видаль с готовностью предложил свои услуги; предложение было принято и казнь совершена, но потом принуждены были поместить его на скамью вместе со смотрителем за каторжниками, иначе он был бы убит ударами цепей. Угрозы, которыми его осыпали, не помещали ему чрез несколько времени снова исполнить свою отвратительную обязанность. Кроме того, он принимал на себя обязанность наказывать каторжников. Наконец, в 1794 году, когда Дюгоммье взял Тулон и там был учрежден революционный суд, Видалю было поручено исполнять его приговоры. Он считал себя окончательно освобожденным, но когда кончился

терроризм, его вернули в острог, где он был поставлен под особый надзор.

К одной скамье с Видалем был прикован еврей Дешан, один из участников кражи из государственной кладовой; каторжники слушали его рассказы со зловещей сосредоточенностью; только при исчислении бриллиантов и украденных драгоценных вещей глаза их оживлялись, мускулы конвульсивно передергивались, и по выражению их лиц можно было судить, какое употребление они сделали бы из своей свободы. Это расположение особенно замечалось у лиц, осужденных за незначительные преступления, которых унижали, подсмеиваясь над их простотой и хвастовством по поводу своих жалких подвигов. Например, вычислив на сумму двадцати миллионов украденных вещей, Дешан говорил с презрением одному бедняку, осужденному за кражу овощей: «Как видишь, это не капуста!»

Эта кража послужила предметом различных толков, свидетельствовавших о волнении умов. В вечернем заседании (16 сентября 1792 года), министр внутренних дел Ролан известил об этом происшествии с трибуны конвента, горько жалуясь на недостаток надзора со стороны служащих и военной стражи, которая оставила свои посты под предлогом сильной стужи. Несколько дней спустя Тюрье, член комиссии, назначенной руководить следствием, в свою очередь обвинял в нерадении министра, который ответил довольно сухо, что у него есть другое дело и много других забот, кроме того, чтобы смотреть за кладовыми. Прения остановились на этом, но они возбудили всеобщее внимание, и в публике только и говорили о преступном соглашении, о заговоре, агенты которого будто бы были подкуплены. Дошли до того, что обвиняли правительство в краже. Отсрочка, дарованная 10 октября некоторым личностям, осужденным за это дело и от которых ожидали сознания, придала оттенок вероятия этим толкам, тем не менее 22 февраля 1797 года в своем рапорте совету

старейшин по предложению выдать вознаграждение 5000 франков некоей госпоже Корбен, облегчившей розыск большей части украденных вещей, Тибо объявил самым положительным образом, что это происшествие не имеет никакого политического значения и что оно просто произошло по недостатку надзора сторожей и от беспорядка, царствовавшего тогда во всей администрации.

В сущности, «Монитер» разгорячил самых хладнокровных людей, рассказывая о сорока вооруженных разбойниках, которых накрыли в помещениях кладовых. В действительности никого не накрыли, четыре ночи кряду Дешан, Бернард Сейлль и один португальский жид по имени Дакоста по очереди проникали в залы без всякого оружия, кроме инструментов, необходимых для взламывания камней, вделанных в серебро, которое они не удостаивали уносить; таким образом они украли с большими предосторожностями великолепные рубины, изображавшие глаза рыб, сделанных из слоновой кости. Тогда заметили также исчезновение «Регента» (алмаз), погремушки дофина и массы других вещей, оцененных в семнадцать миллионов.

Дешан, за которым остается честь изобретения, проник первый в галерею, влезши в окно с помощью уличного фонаря, который существует до сих пор на углу Королевской улицы и площади Людовика XV. Бернард Сейлль и Дакоста, находившиеся на страже, сначала только одни сопровождали его, но на третью ночь к ним присоединились Бенуа Нэд, Филиппоно, Помет, Фромон, Гей, Мутон, поручик национальной гвардии, и Дюрон, прозванный Туркассе, ювелир с улицы Спасителя, а также многие принцы высшей пегры (заслуженные воры), которых дружески пригласили явиться принять участие в охоте. Главная квартира находилась в биллиардной на улице Роган; кроме того, так мало старались скрывать дело, что на другой день после первой покражи Помет, обедая в ресторане на улице д'Аржантейль с женщинами,

кинул им на стол целую горсть розеток и мелких бриллиантов. Полиция не была даже извещена. Дюфар был причиной открытия главных виновников кражи, он попался по обвинению в подделке фальшивых ассигнаций, и чтоб получить прощение — решился открыть все. По этим данным успели найти «Регента». Он был отыскан в Туре, зашитый в токе некоей госпожи Лельевр, которая по случаю войны не могла переехать в Англию и отправилась продавать его в Бордо одному еврею, другу Дакосты. Сначала хотели его продать в Париж, но стоимость этой вещи, определяемая в двенадцать миллионов, должна была возбудить опасные подозрения, намерение распилить его также было оставлено из опасения измены со стороны гранильщика.

Большая часть виновников были арестованы один за другим и осуждены за другие преступления; в том числе Бенуа Нэд, Дакоста, Бернард Сейлль, Фромон и Филиппоно. Этот последний, арестованный в Лондоне в конце 1791 года, в то время, когда он гравировал доску для ассигнации в 300 франков, был привезен в Париж и заключен в каземат, откуда он скрылся во время резни 2 сентября.

Перед осуждением за покражу бриллиантов Дешан был замешан в уголовное дело, но ему удалось выпутаться, чем он немало хвастался перед нами, сообщая подробности, которые не оставляли сомнения насчет его виновности. Дело заключалось в двойном убийстве — ювелира Делонга и его служанки, совершенном сообща с тряпичником Фромоном.

Делонг вел довольно значительные дела по своей части. Кроме частной покупки, он еще занимался маклерством жемчугов и бриллиантов, и так как был известен за честного человека, то ему поручали вещи значительной цены для продажи или для переделки. Он также ходил на аукционы, где и познакомился с Фромоном, посещавшим их постоянно для покупки риз и других церковных украшений, добытых от разграбления церквей (1793 г.), и которые он выжигал для

отделения металла. От привычки видеться и от конкуренции по некоторым сделкам между ними явилась некоторого рода связь, которая обратилась в близкие отношения. Делонг уже более ничего не скрывал от Фромона, советовался насчет своих предприятий, сообщал о всех получаемых ценностях, и даже сообщил секрет тайника, где он хранил драгоценные вещи.

Узнав все эти подробности и имея свободный доступ к Делонгу, Фромон составил план обокрасть его, пока он будет с женой в театре. Надо было соучастника, чтобы караулить, и, кроме того, для Фромона было опасно, чтобы в день покушения его видели в доме, где его все знали. Сначала он выбрал слесаря, беглого каторжника, тот подделал ключи, необходимые для входа к Делонгу, но этот человек, преследуемый полицией, принужден был покинуть Париж; он заменил его Дешаном.

В день, назначенный для приведения в исполнение кражи, Делонг и его жена поехали в Театр Республики; Фромон поместился для наблюдения у винного торговца, чтоб караулить возвращение служанки, которая пользовалась отсутствием господ для свидания с любовником. Дешан вошел в дом и тихо отворил дверь поддельным ключом… Каково же было его удивление, когда увидел в передней служанку, которую он считал в отсутствии (действительно, ее сестра, очень похожая на нее, вышла несколько минут тому назад). При виде Дешана, лицо которого от удивления сделалось еще страшнее, девушка выронила свою работу… Она хотела крикнуть… но Дешан бросается на нее, опрокидывает, хватает за горло и наносит пять ударов ножом, который он всегда носил в правом кармане панталон. Несчастная падает, истекая кровью… Еще было слышно хрипенье умирающей, а убийца уже обыскивал и обшаривал все углы: но встревожила ли его неожиданность, или ему послышался шум на лестнице, но он ограничился похищением некоторых серебряных вещей,

которые попались ему под руку; отправившись к своему соучастнику, сидевшему у винного торговца, он рассказал ему все происшествие. Тот был очень поражен не смертью служанки, но недостатком смышлености и уверенности в Дешане, которого он упрекал в том, что он не нашел тайника, который он так ясно ему обозначил. Более всего он был недоволен тем, что трудно будет найти такой подходящий случай.

Делонг действительно переменил квартиру после этого происшествия, сильно напугавшего его. Немногие лица, которых он принимал у себя, впускались с большими предосторожностями. Хотя Фромон и избегал появляться, но на него не было подозрения. Как подозревать, человека, который, даже совершив преступление, непременно очистил бы тайник, секрет которого ему был известен? Встретив его через несколько дней на Вандомской площади, он настоятельно звал его к себе и сблизился с ним более, чем когда-либо. Тогда Фромон вернулся к своим прежним предложениям, но, не надеясь взломать новый тайник, который был хорошо охраняем, он решился изменить план. Завлеченный к Дешану под предлогом сделки относительно значительной партии бриллиантов, Делонг был зарезан и ограблен на сумму семнадцать тысяч франков золотом и ассигнациями, захваченных им с собою по предложению Фромона, который и нанес ему первый удар.

Прошло два дня; госпожа Делонг, видя, что муж долго не возвращается не предупредив ее, чего он не делал никогда, и зная, что с ним была значительная сумма денег, стала подозревать, что с ним случилось несчастье. Она обратилась к полиции, которая страдала тоже от общей неурядицы в администрации; однако успели накрыть Фромона и Дешана, а показания слесаря, который должен был помогать в краже и который снова был арестован, могли бы погубить их; но ему не возвратили свободу, которую обещали в награду, и агент полиции Кадо, служивший посредником, не желая

быть обманщиком, дал ему возможность скрыться при переезде из тюрьмы в суд. Это обстоятельство удалило единственного свидетеля обвинения, и Дешан с Фромоном были освобождены.

Осужденный потом на восемнадцать лет каторги, Фромон был препровожден в Рошфорский острог 1-го нивоза года VII, но он еще не считал себя побежденным. С помощью денег, приобретенных в похождениях, он подкупил несколько личностей, которые должны были следовать за транспортом, чтоб облегчить ему побег, если ему удастся сделать попытку, или даже похитить его, если это возможно. Он хотел употребить свою свободу на то, чтоб убить г. Делаланда, старшего президента суда, осудившего его, и комиссара полиции Секции Единицы, который представил против него отягчающие показания. Все уже было готово для исполнения этого проекта, как вдруг одна публичная женщина, узнавшая подробности от одного из заинтересованных, сделала добровольное открытие, и поэтому были приняты соответствующие меры: конвой был предупрежден, и, когда транспорт выступил из Бисетра, на Фромона надели ручные кандалы, которые сняли с него только по прибытии в Рошфор, куда о нем было дано знать особенно. Меня уверяли, что он умер на каторге. Что касается Дешана, то он, бежавши вскоре из Турина, был арестован за кражу через три года в Отеле, приговорен к смерти Сенским уголовным судом и казнен в Париже.

В камере № 3 я был отделен от Дешана только некоим Луи Мюло, осужденным за кражу со взломом, сыном того Корню, который долго наводил ужас в селениях Нормандии и где его преступленья еще не забыты до настоящего времени. Переодетый лошадиным барышником, он являлся на ярмарки; высматривал купцов, у которых были значительные суммы, и проселками отправлялся подстерегать их в какомнибудь глухом месте, где он их зарезывал. Женатый в третий раз на молодой и хорошенькой девушке из Берна, он скрыл

сначала от нее свое страшное ремесло, но вскоре заметил, что она вполне достойна его. С тех пор он сделал ее участницей во всех своих экспедициях. Являясь тоже на ярмарках как торговка, она легко втиралась в доверие к богатым земледельцам долины Ожа, и не один из них нашел смерть в любовном свидании. Не раз находясь в подозрении, они постоянно с успехом представляли алиби, благодаря быстроте своих превосходных лошадей.

В 1794 году семейство Корню состояло из отца и матери, трех сыновей, двух дочерей и любовников этих последних, которых приучили к преступлениям с самого нежного возраста, заставляя служить шпионами или посылая подкладывать огонь в овины. Младшая из дочерей, Флорентина, выказывала сначала отвращение к пороку, но ее вылечили, заставив нести два лье в переднике голову одной фермерши из окрестностей Аржантана.

Позже, совершенно сбросив с себя прежнюю щекотливость, она имела любовником убийцу Капелю, казненного в Париже в 1802 году. Это милое семейство образовало шайку chauffeurs и стало грабить местности, расположенные между Канном и Фалезом. Они подвергали допросу несчастных фермеров, подставляя им под мышку зажженную свечу или положив трут на большой палец ноги.

Настойчиво преследуемый руанской полицией, которая арестовала двух из молодых людей в Брионне, Корню принял решение удалиться на некоторое время в окрестности Парижа, надеясь таким образом выследить своих товарищей. Поместившись в уединенном доме на Севрской дороге, он, однако, не боялся появляться на Елисейских полях, где он постоянно встречал некоторых из своих товарищей воров.

— Ну, дядюшка Корню, — спрашивали они его однажды, — что вы теперь поделываете?

— Да что, ребята, — черную работу делаю (убийства).

— Чудак вы, дядюшка Корню… а качалка (виселица)...

— Э! Что ее бояться, когда нет крестных (свидетелей)… Если бы я холодил все плуги, которые спаивал, то у меня не было бы теперь ожогов. (Если бы я убил всех фермеров, которых пытал огнем, то ничего бы теперь не боялся.)

В одну из своих прогулок Корню встретил старого товарища, который предложил ему забраться в один павильон, находящийся в лесу Вилль д'Авре. Кража была совершена, добыча разделена, но Корню счел себя обиженным. Дойдя до середины леса, он уронил свою табакерку, подавая ее своему товарищу; тот сделал движенье, чтоб поднять ее, и в ту минуту, когда он нагнулся, Корню размозжил ему голову выстрелом из пистолета, обобрал его и возвратился домой, где рассказал происшествие своему семейству с громким хохотом.

Арестованный близ Вернона в ту минуту, когда хотел проникнуть на ферму, Корню был препровожден в Руан, предан уголовному суду и осужден на смерть. В промежуток времени до исполнения казни жена его, остававшаяся свободной, каждый день приносила ему провизию и утешала его:

— Слушай, — говорила она ему однажды утром, когда он казался мрачнее обыкновенного, — ведь скажут, что моська (смерть) тебя пугает… не корчи барана (дурака), когда ты будешь на плакарде (место казни)… Деревенские мальчишки (разбойники больших дорог) славно посмеются над тобою…

— Да, — сказал Корню, — все бы это было прекрасно, если бы дело шло не о тыкве (голова), но когда Шарло (палач) с одной стороны, Кабан (исповедник) с другой, и михлютки (жандармы) позади, то это не совсем-то утешительно!

— Полно, Жозеф, брось эту мысль; я женщина, но я пойду туда как на праздник, особенно с тобой, мой бедный Жозеф! Да, я тебе повторяю, верь Маргарите, я хотела бы идти с тобой.

— Правда? — спросил Корню.

— Да, да, правда, — прошептала Маргарита. — Но для чего ты встаешь, Жозеф?.. Что с тобой?

— Я ничего, — возразил Корню; потом, подойдя к тюремщику, который стоял у входа в коридор, он сказал:

— Рош, позовите смотрителя, я желаю говорить с прокурором.

— Как! — воскликнула жена. — Прокурора!.. Ты хочешь съесть кусок (сделать открытие)? Ах, Жозеф, какую репутацию ты оставишь своим детям!

Корню молчал до прихода прокурора; тогда он донес на свою жену, и эта несчастная, осужденная на смерть вследствие его показания, была казнена в одно время с ним. Мюло, от которого я узнал подробности этой сцены, постоянно рассказывал ее с громким хохотом до слез. Однако он не думал, что можно шутить с гильотиной, и уже давно избегал всякого дела, которое бы могло его отправить соединиться с отцом, матерью, одним из братьев и сестрой Флорентиной, которые были все казнены в Руане. Говоря о них и об их кончине, он часто прибавлял:

— Вот что значит играть с огнем! Меня на этом не поймают!

И действительно, его игра была не так ужасна: он ограничивался одним родом воровства, в котором был неподражаем. Старшая из его сестер, которую он привез в Париж, помогала ему в его похождениях. Одетая прачкой, с корзиной на плечах, она входила в дома без привратника, стучалась во все двери, и когда удостоверялась, что жильца нет дома, возвращалась, чтоб дать знак о своем открытии Мюло. Тогда тот, переодетый слесарем, являлся с отмычками в руках и в два оборота преодолевал самые сложные замки. Очень часто, чтоб не возбудить подозрения, в случае, если кто-нибудь пройдет, сестра с передником, в скромном чепчике и с озабоченным видом служанки, потерявшей свой ключ, присутствовала при работе. Мюло, как видно, не имел недостатка в предусмотрительности, но все-таки был пойман на месте преступления и через несколько времени осужден на каторгу.

Глава тринадцатая

Дядюшка Матье. — Выделка игрушек. — Я калека. — Ecce Homo, или продавец гимнов. — Держите, это каторжник! — Милосердие комиссара. — Мое бегство, — Покровительница беглых арестантов и похороны. — Шайка разбойников. — Открытие вора. — Меня отпускают на все четыре стороны

Никогда я не был так несчастлив, как со времени моего поступления в Тулонский острог. В двадцать четыре года, смешанный с самыми отъявленными злодеями, имея с ними непосредственные сношения, я во сто раз предпочел бы жить среди зачумленных. Принужденный видеть и слышать только испорченных людей, ум которых беспрестанно изощрялся во зле, я страшился даже заразиться их примером. Так как день и ночь в моем присутствии восхваляли поступки, противные нравственности, то я не надеялся на достаточную твердость своего характера, чтобы не свыкнуться с этим ложным и опасным взглядом на вещи. Правда, что я уже противостоял многим искушениям; но нужда, нищета, а в особенности желание вернуть свободу, невольно влекли к преступлению. Никогда я еще не был в положении, более вызывающем на побег, и все мысли мои сосредоточились на шансах побега.

Я замышлял разнообразнейшие планы, но этого было мало; надо было выждать благоприятной минуты для их выполнения; а до тех пор оставалось только терпеть и терпеть. Поставленный на одну доску с ворами по профессии, бегавшими из острога уже несколько раз, я был подобно им предметом бдительного надзора, который трудно было провести. Сидя в своих каморках, в близком расстоянии от нас, надзиратели могли следить за каждым нашим движением. Начальник их, дядя Матье, имел рысьи глаза и так изощрился в искусстве распознавать людей, что с первого же взгляда догадывался, что его намерены обмануть. Этой старой лисице

было уже почти шестьдесят лет, но одаренный одним из тех сильных организмов, на которых года как будто не имеют влияния, он отличался еще замечательной бодростью и силой мускулов. Я как сейчас его вижу — с его маленькой косичкой, седыми напудренными волосами и сердитым лицом, которое так шло к его профессии. Он никогда не разговаривал без того, чтобы не коснуться своей палки; казалось, ему доставляло невыразимое удовольствие рассказывать, как он ею орудовал. Всю жизнь находясь в постоянной борьбе с каторжными, он знал наизусть все их хитрости и уловки. Его недоверчивость была так сильна, что часто он их обвинял в заговоре, когда они ни о чем и не помышляли. Однако я решился снискать его благосклонность, что до тех пор никому не удавалось. Вскоре я убедился, что надежды мои сбывались: я видимо стал пользоваться его расположением. Дядя Матье иногда удостаивал разговаривать со мной, а это, как уверяли другие, было признаком, что я ему нравлюсь; просьба с моей стороны не показалась бы ему неприличной. Я попросил у него позволения заниматься выделкой детских игрушек из кусков дерева, которые мне приносили каторжные, ходившие на работу. Он дозволил, с условием только, что я буду благоразумен, и на следующий же день я принялся за дело. Товарищи мои подготовляли материал, а я заканчивал. Дядя Матье нашел, что я делаю хорошие вещи; заметив, что у меня есть помощники, он выразил свое удовольствие, чего с ним давно не было. «В добрый час! — заметил он. — Люблю, чтобы так развлекались; желательно бы, чтобы и все так поступали, это вас займет, а вместе с тем заработок вам пригодится на что-нибудь». Через несколько дней наша скамья превратилась в мастерскую, где четырнадцать человек, убегая от скуки, а также желая зашибить копейку, энергично принялись за дело. У нас всегда было много товара наготове, и сбыт его производился при посредстве тех же каторжников, которые доставляли нам материал. В продолжение месяца торговля

наша была в самом цветущем состоянии; у нас оказалась значительная выручка, из которой ни полушки не поступило в кассу: как водится, дядя Матье, за приличное вознаграждение, дозволил нам взять в казначеи Пантарага, каторжника, который продавал яства и пития в той камере, где мы сидели. К несчастью, есть вещи, которые не могут развиваться без того, чтобы не нарушилось равновесие между производством и потреблением, — это известная политико-экономическая аксиома: настала минута, когда фабрикация должна была замедлиться по недостатку сбыта; Тулон наводнился игрушками всевозможных фасонов, и нам пришлось сидеть сложа руки. От нечего делать, я изобрел боль в ногах, чтобы поступить в госпиталь. Врач, которому представил меня дядя Матье, не шутя принял меня под свое покровительство, вообразив, что я совсем не в состоянии ходить; при намерении бежать всегда не мешает внушить о себе подобное мнение. Г-ну Феррану даже и на мысль не пришло, что я его обманываю; это был один из тех учеников Эскулапа, которые, подобно большей части врачей Монпелье, откуда он приехал, думали, что поспешность есть один из необходимых атрибутов его профессии; впрочем, у него не было недостатка в человеколюбии, и притом ко мне он был необыкновенно добр. Главный фельдшер тоже возымел ко мне дружбу и доверил мне свой ящик, так что я распоряжался корпией, приготовлял компрессы, — словом, старался быть полезным, и любезность моя вознаграждалась всеобщим расположением; даже лазаретный смотритель старался быть ко мне благосклонным, а между тем никто не превосходил суровостью Ломма (таково было имя смотрителя), которого в шутку прозвали Ecce Homo, потому что он прежде торговал гимнами. Хотя меня отрекомендовали ему как опасного субъекта, но он так был восхищен моим поведением, а еще более бутылками старого вина, которыми я угощал его, что видимо смягчился. Убедившись, что не внушаю ему более недоверия, я принялся

за меры с целью обмануть его бдительность, равно как и его сослуживцев. Я раздобылся париком и черными бакенбардами; спрятал в свой соломенный тюфяк пару старых сапог, которым вакса придала новый глянец; что касается остальных частей туалета, то я рассчитывал на главного фельдшера, имевшего привычку класть на мою постель свой сюртук, шляпу, палку и перчатки. Однажды утром, когда он отнимал руку, и Ломм последовал за ним, чтобы наблюдать за операцией, происходившей на другом конце зала, я нашел, что это был удобный случай для побега. Спешу им воспользоваться и в новом своем костюме прямо направляюсь к выходу; мне приходилось проходить мимо толпы помощников смотрителей; смело иду им навстречу, никто из них не обращает на меня внимания, и я уже считаю себя вне опасности, как вдруг слышу крик: «Держи! Держи! Это арестант бежал!» Мне оставалось не более двадцати шагов до дверей арсенала. Не теряя присутствия духа, удваиваю скорость, дохожу до почты и, указывая человека, только что входившего в город, говорю сторожу: «Ловите со мной, этот бежал из госпиталя». Такая смелость и решимость, может быть, спасли бы меня; но когда я хотел перепрыгнуть через решетку, я почувствовал, что меня схватили за парик. Оборачиваюсь и вижу Ломма… Сопротивление угрожало смертью, и я решился следовать за ним, меня снова привели в острог, где посадили на двойную цепь. Ясно было, что меня намерены наказать, и, желая избежать этого, я бросился к ногам комиссара: «Ах, г. комиссар, — воскликнул я, — лишь бы только меня не били, это единственное, о чем я прошу, я лучше просижу лишних три года». При этой просьбе комиссар растрогался и сказал, что прощает меня, благодаря моей смелости и новизне проделки; но требует, чтобы я указал ему того, кто доставил мне костюм, так как я у фельдшера не мог позаимствоваться им. «Вам, конечно, небезызвестно, что приставленные к нам люди — негодяи, на все готовые за деньги, но ничто в мире не

заставит меня выдать оказавшего мне такую услугу». Довольный моей откровенностью, он тотчас же велел снять с меня двойные оковы, и, когда смотритель стал ворчать на такое снисхождение, он велел ему замолчать и добавил: «Вместо того, чтобы сердиться на него, вы должны были бы поблагодарить его за данный им урок, из которого вы можете извлечь пользу для себя». Я поблагодарил комиссара и был отведен снова на роковую скамейку, на которой мне предстояло остаться еще шесть лет. Я льстил себя надеждой снова приняться за фабрикацию игрушек; но дядя Матье воспротивился этому, и я поневоле должен был остаться в бездействии. Прошло два месяца без всякой перемены в моем положении. Раз ночью я не мог заснуть; вдруг мне приходит одна из тех блестящих мыслей, какие являются только в темноте. Жоссаз тоже не спал, и я ему сообщил ее. Читатель без сомнения догадался, что дело снова шло о побеге. Жоссаз нашел выдуманный мною способ превосходным, гениальным и советовал не пренебрегать им. И действительно — я не забыл его совета.

Раз утром острожский комиссар, делая свой осмотр, прошел мимо меня; я попросил позволения сказать ему несколько слов. «Ну! Что тебе надо? — сказал он. — Уж не хочешь ли на что-нибудь пожаловаться? Говори, брат, говори смело, я разберу по справедливости». Ободренный этой благосклонной речью, я воскликнул: «Ах, г. комиссар, вы видите пред собою второй пример честного преступника. Может быть, вы припомните, что по приезде сюда, я заявлял вам, что сижу здесь вместо моего брата; я его не обвиняю, думаю даже, что он был не виновен в подлоге, который ему приписывали: но это его осудили под моим именем, и он, а не я, бежал из брестского острога; теперь, скрывшись в Англии, он на свободе, а я, жертва злосчастной ошибки, несу за него наказание. Как я несчастлив, что похож на него! Не будь этого, меня не отвели бы в Бисетр и сторожа не сказали бы, что

узнают меня. Напрасно я просил расследования дела; основываясь на их показаниях, признали между мною и обвиняемым тождественность, которой, в сущности, не существовало. Дело сделано, и я человек погибший. Я знаю, что не от вас зависит изменить безапелляционное решение, но есть милость, которую вы мне можете оказать: из предосторожности меня посадили в одну камеру с находящимися в подозрении, где я очутился среди всякого сброда — воров, убийц и закоснелых злодеев. Ежеминутно я трепещу при рассказах о совершенных ими преступлениях, при их планах совершить такие же, если не хуже, если только когда-либо им удастся освободиться от оков. Ах, умоляю вас во имя чувства человеколюбия, не оставляйте меня долее в сообществе этих развращенных существ. Посадите меня в тюрьму, наложите на меня оковы, делайте со мной все, что хотите, только не оставляйте меня с ними. Если я старался убежать, то только чтобы избавиться от присутствия этих негодяев. (В эту минуту я обернулся в ту сторону, где были арестанты.) Взгляните, какими зверскими глазами они на меня смотрят, они хотят, чтобы я раскаялся в сказанном мною, они жаждут обагрить руки в моей крови; еще раз умоляю вас, не подвергайте меня мести этих чудовищ». Во время этой речи каторжные как бы остолбенели от изумления; они не могли постичь, каким образом один из их собратьев осмеливался так поносить их в лицо; сам комиссар не знал, что подумать о моей странной выходке, и молчал; я видел, что он был сильно тронут и озадачен. Бросившись к его ногам, я продолжал со слезами на глазах: «Сжальтесь надо мною! Если вы мне откажете, если уйдете, не выпустив меня из этой камеры, вы меня больше не увидите». Последние слова произвели ожидаемое мной действие: комиссар, добряк в душе, велел при себе снять с меня оковы и назначил меня на работы. Меня поставили с неким Салесом, отличавшемся такой хитростью, какая только доступна каторжному. Как только мы остались одни, он спросил меня, намерен ли я бежать.

«И не помышляю, — отвечал я, — я счастлив и тем, что мне можно работать». Но Жоссаз все-таки знал мою тайну, он и устраивал все для моего побега. На мне было партикулярное платье, скрытое под одеждой каторжника так искусно, что даже мой парный товарищ не заметил этого; винтовой шкворень заменил заклепку наручников, и я был совсем наготове. На третий день после моего отделения от товарищей я шел на работу и при этом представился на осмотр смотрителя: «Пошел, негодяй, — сказал мне дядя Матье, — теперь не время». И вот я очутился за работой канатов; место показалось мне удобным и я сказал товарищу, что отправлюсь по надобности; он указал мне место за бревнами, и едва только потерял меня из виду, как я сбросил свой красный плащ, отвинтил шкворень и пустился бежать по направлению к докам. Там исправляли в это время фрегат «Muiron», один из тех, которые привезли из Египта Наполеона и его свиту. Я вошел на судно и спросил Тиммермана, о котором знал, что он находится в госпитале. Петух (повар), к которому я обратился, принял меня за кого-нибудь из новой команды. Я был в восторге от этой ошибки и для поддержания ее, услыхав по выговору, что повар овернец, завел с ним разговор на родном его языке и болтал с большим апломбом; но между тем я был, как на угольях: сорок пар каторжных работали в двух шагах от нас, с минуты на минуту меня могли узнать. Наконец я вскочил в лодку, которую отправляли в город, и взявшись за весло, стал рассекать волны, как истый моряк. Скоро мы уже были в Тулоне. Торопясь куда-нибудь за город, я побежал в итальянскую гавань, но увидел, что все выходят с зеленым билетиком, выдаваемым муниципалитетом. Меня не пропускают, и пока я мысленно отыскиваю в уме средство доказать, что запрещение меня не касается, раздаются три пушечных выстрела, возвещающие о том, что побег мой открыт. Дрожь пробежала у меня по всему телу, я уже видел себя во власти аргусов и всей острожной милиции;

я представлял себе, как я предстану пред добрым комиссаром, которого так нагло обманул; если я попадусь, думал я, то пропал безвозвратно. Предаваясь этим печальным размышлениям, я продолжал бежать без оглядки и, чтобы не попадаться на глаза народа, направился к валу.

Дойдя до уединенного места, я замедлил шаги, как человек, который, не зная, куда идти, рассуждает сам с собою. Какая-то женщина подошла ко мне и спросила на провансальском наречии, который час. Я ответил, что не знаю, тогда она стала болтать о дожде и хорошей погоде и заключила просьбой проводить ее. «Это в четырех шагах отсюда, — добавила она. — Никто нас не увидит». Случай найти убежище был слишком хорош, чтобы упустить его. Я пришел со своей спутницей в бедную лачугу и спросил у нее чего-нибудь поесть. Пока мы беседовали, послышались снова три пушечных выстрела.

— А! — воскликнула незнакомка с довольным видом, — вот уж другой сегодня убежал.

— Стало быть, это тебе приятно, красотка? Или ты рассчитываешь на награду? — сказал я.

— Я-то?.. Мало же ты меня знаешь.

— Полно, полно! — возразил я, — пятьдесят франков никогда не мешает получить, и если бы кто-нибудь из этих дерзких попал мне в руки…

— Несчастный, — вскричала она, делая жест, чтобы оттолкнуть меня. — Я не более, как бедная девушка, но все-таки никогда не буду есть хлеба, заработанного таким образом.

При этих словах, произнесенных с оттенком правдивости, не дозволявшей мне сомневаться более, я доверил ей свою тайну. Узнав, что я каторжный, она несказанно заинтересовалась мной. «Боже мой, — воскликнула она, — их так жаль, что я готова была бы их всех спасти, я и спасла многих». Затем, остановившись на минуту, как бы в размышлении, она продолжала: «Погоди, я все устрою; у меня есть любовник

с зеленым билетом; завтра я возьму у него этот билет, ты им воспользуешься, а выйдя из города, положишь его под камень, который я укажу; а пока, так как это место небезопасное, то я отведу тебя в свою комнату». Придя туда, она сказала, что на минуту оставит меня. «Надо предупредить моего приятеля, — сказала она, — я скоро вернусь». Женщины иногда такие искусные актрисы, что несмотря на столько заявлений благосклонности, я боялся предательства; может быть, Селестина только и ушла за этим. Не успела еще она выйти на улицу, как я уже пустился по лестнице. «Ну вот, ну вот! — закричала она. — Или ты боишься? Если не веришь мне, лучше ступай со мной». Я счел благоразумнее вблизи наблюдать за ней, и мы пошли вместе, а куда, я не знал. Едва сделали несколько шагов, как мимо нас потянулась похоронная процессия. «Ступай за похоронами, — сказала она, — и ты спасен». Я не успел ее поблагодарить, как она исчезла. Проводы были многолюдные, я замешался в толпе и, чтобы меня не сочли посторонним, завязал разговор со старым моряком, и несколько слов его дали мне возможность тоже распространяться о добродетелях покойного. Я вскоре убедился, что Селестина не обманула меня. Оставив позади себя вал, от которого мне так необходимо было удалиться, я почти заплакал от радости, но, чтобы не выдать себя, разыграл роль огорченного до конца. Дойдя до кладбища, я подошел к могиле, бросил на гроб горсть земли и отстал от общества, направившись по боковым дорожкам. Долго я шел, не теряя из вида Тулона. Часов в пять вечера, при входе в сосновый лес, я вдруг увидел человека с ружьем; так как он был порядочно одет и имел охотничью сумку, то я принял его за охотника, но, заметив торчавший из кармана пистолет, со страхом подумал, не один ли он из тех провансальцев, которые при пушечном выстреле пускаются в погоню за беглыми арестантами. Если это предположение было верно, то никакое бегство не поможет: лучше даже было идти ему навстречу,

нежели отступать; я действительно принял последнее решение и, подойдя к нему так, чтобы остановить его первое движение, в случае, если оно будет враждебно, спросил дорогу в Алек.

— Большую дорогу или проселок? — спросил он с очевидным преднамерением.

— Мне все равно, — отвечал я, стараясь этим устранить подозрение.

— В таком случае идите по этой тропинке, которая вас прямо приведет к посту жандармов; если вы не любите путешествовать один, то можете воспользоваться их обществом.

При слове «жандарм» я невольно побледнел; незнакомец заметил действие своих слов: «Ладно, ладно, вижу, что вы не намерены идти большой дорогой. В таком случае, если вам некуда спешить, то я готов проводить вас до деревни Пурьер, находящейся в двух милях от Ахена». Он, по-видимому, отлично был знаком с окрестностями, и я согласился подождать его. Тогда с того же места он указал мне чащу невдалеке, сказав, что не замедлит прийти туда. По прошествии двух часов он присоединился ко мне. «Марш!» — сказал он. Я встал, последовал за ним и, считая себя еще в лесной чаще, очутился у опушки, в пятидесяти шагах от дома, перед которым сидели жандармы. При виде их мундиров я содрогнулся! «Что с вами? — сказал мой проводник. — Или вы боитесь, что я вас выдам? Если это так, то вот чем вы можете защититься». И он подал мне пистолеты. Я от них отказался. «Ну и слава Богу!» — и он пожал мне руку в знак удовольствия за мое доверие. Скрытые кустарниками, окаймлявшими дорогу, мы остановились; я не понимал цели подобного роздыха вблизи неприятеля. Остановка была продолжительна. Наконец уже в сумерках мы увидали по дороге из Тулона почтовую карету, сопровождаемую четырьмя жандармами и столькими же солдатами из бригады; присутствие их привело меня в отчаяние. Экипаж продолжал свой

путь и скоро исчез из вида. Тогда мой спутник схватив меня за руки, сказал отрывисто: «Пойдемте, сегодня нечего делать».

Мы тотчас же ушли, переменив направление. После часовой ходьбы товарищ мой подошел к дереву и провел рукой по стволу; я увидал, что он считает зарубки, сделанные на нем ножом. «Это хорошо! — воскликнул он с видом удовольствия, которое я не мог себе объяснить, и, вынув из своей сумки кусок хлеба, поделился им со мною, дав мне выпить из своей горлянки. Подкрепление пришло как нельзя более кстати, потому что я чувствовал в нем большую необходимость. Несмотря на темноту, мы шли так скоро, что я устал: ноги мои, давно отвыкшие от движения, отказывались служить, и я уже готов был объявить, что не могу более продолжать путь, когда пробило три часа на деревенских часах. «Тише, — сказал мой спутник, прикладывая ухо к земле, — прилягте, как я, и слушайте; с этим проклятым польским войском надо всегда быть настороже. Вы ничего не слышите?» Я отвечал, что мне послышались шаги многих людей. «Да, — сказал он, — это они; не двигайтесь, или нас заберут». Не успел он договорить, как к кустам, где мы были спрятаны, подошли патрули.

— Видите ли вы что-нибудь? — послышался вопрос шепотом.

— Ничего, сержант.

— Черт возьми! Я думаю, так темно, хоть глаз выколи. Этот бешеный Роман — провались он в преисподнюю — заставил нас бродить всю ночь по лесу, как волков. Ну уж попадись он мне или кто-нибудь из его компании!

— Кто там? — крикнул вдруг солдат.

— Ты кого-нибудь видишь? — сказал сержант.

— Никого, но мне послышался вздох с этой стороны, — и, вероятно, он указал на место, где мы были.

— Ну, ты бредишь… тебя так напугали Романом, что он тебе всюду грезится.

Другие солдаты тоже подтвердили, что действительно послышался шорох.

— Да полно вам, — возразил сержант, — ведь говорю вам, что никого нет, и на этот раз, как всегда, нам придется вернуться в Пурьер, не встретивши дичи; слушайте, други мои, нам пора убраться.

Стража, по-видимому, намеревалась уйти.

— Это военная хитрость, — сказал мой сотоварищ, — я уверен, что они изъездят лес и затем оцепят нас полукругом.

Мне трудно было развеселиться.

— Или вы боитесь? — спросил он еще раз.

— Это было бы совсем неуместно.

— В таком случае следуйте за мною, вот мои пистолеты, когда я буду стрелять, выстрелите и вы, так чтобы из четырех выстрелов вышел один звук… Пора! Пли!

Разом раздалось четыре выстрела, мы побежали без оглядки, но никто не стал преследовать нас. Боязнь попасть в западню остановила солдат, и мы продолжали путь. Придя к уединенной мызе, незнакомец сказал мне: «Здесь мы безопасны». Он прошел вдоль садового забора и вынул из древесного ствола ключ от мызы, в которую мы сейчас же вошли.

Железная лампа, повешенная у камина, освещала простое и грубое жилье; в углу виднелся бочонок, по-видимому, наполненный порохом; выше, по доске разбросаны были патроны. Женское платье, повешенное на стуле, и черная с широкими полями шляпка обнаруживали присутствие спящей женщины, до нас доносилось даже ее храпенье. Пока я окидывал комнату быстрым взглядом, спутник мой достал из старого сундука часть козленка, луку, масла, козий мех с вином и пригласил меня поесть, что было крайне необходимо. Он имел очевидное намерение порасспросить меня кое о чем, но я ел с такой жадностью, что он не рискнул приостановить меня. Когда я окончил, т. е. когда более ничего не было на столе, он повел меня в род сеновала, повторяя, что здесь

вполне безопасно; затем он удалился, и не знаю уже, оставался ли в хижине, потому что, едва я растянулся на соломе, как непреодолимый сон овладел мною.

Проснувшись, я решил, судя по высоте солнца, что должно было быть два часа пополудни. Крестьянка, без сомнения та самая, которой платье мы видели, услышала, что я зашевелился, просунула голову в мою каморку и сказала: «Не шевелитесь; окрестности полны соснами (жандармами), которые везде шныряют». Я тогда не понял, что она хотела выразить словом сосны, но знал, что в нем не было ничего хорошего.

В сумерках я снова завидел вчерашнего попутчика, который после нескольких незначительных слов прямо спросил, кто я, откуда и куда направляюсь. Приготовившись к этому неизбежному допросу, я отвечал, что я дезертир с корабля «Океан», стоявшего тогда в гавани Тулона, и что шел в Алек, откуда намеревался пробраться в свою сторону.

— Хорошо, — сказал он, — теперь я вижу, кто вы такой; ну, а как вы думаете, кто я?

— По правде сказать, сначала я вас принял за полевого сторожа, потом за начальника контрабандистов, а теперь уже не знаю, что и подумать.

— Скоро вы узнаете… Надо вам сказать, что в нашей стороне народ храбрый, но не любит быть солдатом насильно, поэтому подчиняется призыву только тогда, когда его избегнуть невозможно. Пурьерский контингент даже весь отказался ехать. Явились жандармы забирать непокорных; те оказали сопротивление; с обеих сторон было много пролито крови, и жители, принимавшие участие в битве, бросились в леса, чтобы избежать военного суда. Так мы собрались в числе шестидесяти под начальством Романа и братьев Биссон де Трец. Если вам угодно остаться с нами, я буду очень рад, потому что в эту ночь я мог заметить, что вы хороший товарищ, и мне кажется, вы тоже не имеете охоты сталкиваться с жандармами. Притом мы не терпим недостатков и не подвержены

особенным опасностям… Крестьяне предупреждают нас о всем происходящем и доставляют провизию, даже больше чем требуется. Ну, итак, вы согласны присоединиться к нам?

Не желая отклонить предложения и не думая о последствиях, я изъявил согласие. Еще два дня пробыл я в хижине, на третий мы пошли опять вместе, и он снабдил меня карабином и двумя пистолетами. После нескольких часов ходьбы по горам, покрытым лесом, мы подошли к жилью, гораздо большему, чем первое: это была квартира начальника Романа. Я подождал с минуту за дверью, потому что спутник мой должен был предупредить обо мне. Вскоре он вернулся и ввел меня в большую ригу, где я очутился среди сорока человек, окружавших одного. Полумужицкая, полумещанская осанка его напоминала деревенского помещика; этой-то личности меня и представили. «Очень рад вас видеть, — сказал он, — мне говорили о вашем хладнокровии, познакомили и с другими качествами. Если вы согласны разделять наши опасности, то найдете здесь дружбу и привет; мы вас еще не знаем, но с такой счастливой наружностью, как ваша, везде можно найти друзей. Все честные люди на нашей стороне, равно как и все храбрые, потому что мы одинаково ценим как честность, так и храбрость». После этой речи, которая могла быть произнесена только Романом, оба Биссона и вся остальная компания сделали мне братский прием. Таково было мое вступление в это общество, которому глава его придавал политическое значение; но достоверно то, что начав, как и шуаны, с того, что останавливал дилижансы с казенными деньгами, Роман перешел к грабежу путешественников. Рекрутам, из которых преимущественно состояла его шайка, были не по сердцу подобные экспедиции; но привычка к бродячей жизни, лень и особенно трудность возвращаться в семьи, заставляли их решаться на все.

На другой день моего поступления Роман назначил меня с шестью другими товарищами идти к окрестностям Сен-Мак-Симена; я не знал, в чем дело.

Около полуночи, дойдя до опушки маленькой рощи у самой дороги, мы засели в ров. Помощник Романа, Биссон Трец, велел нам сидеть как можно тише. Вскоре послышался шум приближавшейся кареты. Биссон осторожно поднял голову: «Это дилижанс из Ниццы… тут делать нечего… в нем больше драгунов, чем тюков». Он велел отступить и, когда мы вернулись домой, Роман, рассерженный, что мы пришли с пустыми руками, закричал с ругательствами: «Хорошо же! Завтра он поплатится!»

Не оставалось более сомнений насчет свойства общества, в которое я попал: я очутился среди тех грабителей по большим дорогам, которые наводили ужас в Провансе. Если бы меня схватили, то, в качестве бежавшего каторжника, я не мог даже надеяться на прощение, которое, по всей вероятности, было бы дано некоторым молодым людям из нашей среды. Размышляя об этом, я пытался бежать; но, естественно, за мной постоянно следили, коль скоро раз я попал в шайку; с другой стороны, обнаружить желание удалиться — не значило ли внушить подозрение и, пожалуй, поплатиться за него жизнью? Не мог ли Роман принять меня за шпиона и велеть расстрелять? Смерть и бесчестье грозили мне отовсюду…

Находясь в этом затруднительном положении, я решился выведать у того, кто ввел меня в шайку, нельзя ли получить у атамана отпуск на несколько дней; он отвечал мне сухо, что это делалось только для людей, вполне известных, и повернулся спиною. Я уже одиннадцать дней прожил с разбойниками в твердой решимости избежать участия в их экспедициях, когда раз ночью, уснув глубочайшим сном от усталости, я был разбужен необычайным шумом. У одного из товарищей украли туго набитый кошелек, и он поднял тревогу. Так как я был новичком, то, естественно, что на меня пали подозрения. Он голословно осуждал меня, и вся шайка ему поддакивала. Напрасно я заявлял о своей невинности, решено было обыскать меня. Я спал совсем одетый, и меня

стали раздевать. Каково было удивление разбойников при виде на моей рубашке… клейма каторжника!

— Каторжник!.. — вскричал Роман, — между нами каторжник… это только может быть шпион… в песок его[7] … или нет, лучше расстрелять… Это будет скорее…

Я слышал, как стали заряжать ружья.

— Стой! — воскликнул атаман. — Надо, чтобы он прежде отдал деньги.

— Да, — сказал я, — деньги будут возвращены, но мне необходимо переговорить с вами наедине.

Роман согласился меня выслушать. Оставшись с ним, я снова стал утверждать, что не брал денег, и указал на средство, как их разыскать, которое, как помнится, когда-то вычитал у Беркена. Роман появился, держа в руке столько соломинок, сколько было всех нас. «Заметьте, — сказал он, — что самая длинная обозначит вора». Все стали дергать, и по окончании тиража всякий поспешил подать свою соломинку. Одна была короче всех, ее подал Жозеф Бриолль. «Так это ты? — сказал Роман. — Все соломинки были одинаковой длины, ты свою укоротил и сам себя этим выдал». Тотчас же его обыскали, и деньги были найдены за поясом. Оправдание мое было полное; сам атаман извинился передо мной, но в то же время объявил, что я не могу более принадлежать к шайке: «Это несчастье, — добавил он, — но согласитесь сами… что, раз побывавши на каторге…»

Он не докончил, положил мне в руку пятнадцать луидоров и просил не заикаться никому о всем виденном в течение двадцати пяти дней. Я был скромен.

---

[7] В Англии умерщвляют мешками, наполненными песком, в Провансе мешки заменяют кожей угря, один удар которой между плеч достаточен для отделения легких, за чем, конечно, следует смерть.

Глава четырнадцатая

Перекупен. — Донос. — Первые сношения с полицией. — Отъезд в Лион. — Ошибка

Судя по опасностям, которым я подвергался, оставаясь с Романом и его шайкой, можно составить себе понятие о радости, которую я ощущал, расставшись с ними. Очевидно было, что правительство, раз прочно установившись, примет более действительные меры для охранения внутренней безопасности. Я знал, что остатки шаек, образовавшихся под именем Рыцарей Солнца или Общества Иисусова, в ожидании политической реакции, непременно будут уничтожены, коль скоро правительство этого пожелает. Единственный извинительный предлог для их разбоя — роялизм — более не существовал, и хотя люди, подобные Иверу, Лепретру, Буланже, Бастиду, Жозиону и другим, еще считали для себя славой нападать на курьеров, потому что это было для них выгодным, но все-таки они стали выходить из моды. Эти люди, находившие весьма пикантным останавливать с пистолетом в руках почту и сборщиков податей и присваивать казенные суммы, теперь возвращались к своему очагу — кто имел его, — или старались, чтобы о них позабыли на театре их подвигов. Словом, мало-помалу порядок водворялся снова и наступало время, когда все разбойники различных оттенков и целей должны были утратить всякую силу и обаяние. При подобных обстоятельствах, если бы мне и хотелось поступить в шайку воров, я не сделал бы этого уже из одной уверенности в скором времени попасть на эшафот. Но меня одушевляла другая мысль: я хотел во что бы то ни стало избегать порока и преступления, я хотел пользоваться свободой. Я еще не знал, как мне удастся выполнить свое желание, но все равно, я твердо решился и, так сказать, навсегда отрекся от каторги. Так как я пылал желанием как можно дальше удалиться от ненавистных галер, то направился в Лион, избегая

больших дорог до окрестностей Оранжа; я встретил на пути провансальских возчиков и по их грузу сейчас же узнал, что они поедут по одной дороге со мной. Вступив с ними в разговор и заметив тотчас же, что они, должно быть, люди добрые, я не побоялся доверить им, что я дезертир и что они оказали бы мне важную услугу, если бы согласились взять меня под свою опеку, чтобы избавить меня от бдительности жандармов.

Это предложение нисколько не удивило их; казалось, они заранее ожидали, что я попрошу у них покровительства и охраны. В это время, в особенности на юге, нередко можно было встретить храбрецов, которые, чтобы улизнуть от своих знамен, благоразумно доверяли судьбу «в руки Провидения». Поэтому было весьма понятно, что мне тотчас же поверили на слово. Возчики сделали мне радушный прием; немного денег, которые я как бы случайно показал им, окончательно расположили их в мою пользу. Было решено, что меня будут выдавать за сына хозяина извозных телег. Меня одели в блузу, и так как я будто бы совершал первое путешествие, то меня разукрасили лентами и букетами, праздничными знаками, благодаря которым в гостинице меня осыпали поздравлениями.

Я довольно сносно выполнил свою почетную роль; к несчастью, подобающая случаю щедрость нанесла довольно чувствительный ущерб моему кошельку, так что, по прибытии в Гильотьер, где я расстался со своими покровителями, у меня осталось всего-навсего восемь су. С такими скудными средствами нельзя было, конечно, и помышлять об отелях на площади Терро.

Проскитавшись несколько часов по грязным и мрачным улицам города, я заметил в улице Четырех Шляп нечто вроде таверны, где я надеялся получить ужин, сообразуясь с моими скромными финансами. Я не ошибся: ужин был умеренный и кончился, к несчастью, слишком скоро. Не удовлетворить своего аппетита — вещь уже очень неприятная, но еще неприятнее не знать, куда склонить голову. Вытерев свой нож, я

с грустью подумал о том, что мне придется провести ночь под открытым небом, как вдруг за соседним со мной столиком я услышал разговор на испорченном немецком языке, столь употребительном в кантонах Голландии, и который я понимал в совершенстве. Разговаривающие были мужчина и женщина пожилых лет. Я сейчас узнал, что они еврейского происхождения. Зная, что евреи содержат в Лионе и других городах меблированные комнаты, куда охотно впускают всяких подозрительных личностей, я спросил их, не могут ли они указать мне постоялый двор. Я не мог попасть удачнее. Еврей и его жена отдавали помещения внаем; они предложили мне свои услуги, и я сопровождал их в улицу Томассен. В их помещении было шесть кроватей, и ни одна из них не была занята, хотя было уже около десяти часов. Я ужо решил, что у меня не будет товарищей-ночлежников, и уснул в этом убеждении.

Проснувшись, первое, что меня поразило — это несколько слов, произнесенных на знакомом языке.

— Вот уж шесть пломб (часов), а ты все еще дрыхнешь, — произнес знакомый мне голос.

— Еще бы! Мы хотели облапошить в полумеркоть (ночью) сироту (золотых дел мастера), а тот сторожил окаянный, вот я и увидел, что пора пырнуть его и что вохра (кровь) будет.

— А, небось, боишься попасть в чижовку?.. Но если так работать, то немного наживешь финаги (деньги).

— Желал бы я лучше черную работу (убийство) на большой дороге делать, а не возиться с лавчонками, вечно тут эти окаянные михлютки (жандармы) на шее сидят.

— Словом, вы ничего не стибрили? А важные там были веснухи (часы), лоханки (табакерки), да гопы (цепочки). Значит, кудлею-то (еврею) нечего будет и спуливать (продавать)?

— Нет, вертун (ключ) сломался в сережке (замке), буржуа закричал «караул», а нам поскорей давай Бог ноги.

— Эй, вы! — закричал третий собеседник. — Не болтайте вы так красным лоскутом (язык), там мухорт (статский человек) развесил уши.

Предосторожность несколько запоздала; я вылупил глаза, чтобы лучше рассмотреть своих товарищей по ночлегу, но моя постель была ниже прочих, и я ничего не мог разглядеть. Я притворился неподвижным и спящим, как вдруг один из собеседников встал, и я узнал беглого каторжника из тулонских галер, некоего Неве, бежавшего несколько дней раньше меня. Его товарищ также встал с постели, и я узнал, кого же?.. Поля Каде, другого каторжника. Встали и третий, и четвертый — все оказались беглыми каторжниками, словом, мне могло показаться, будто я снова нахожусь в камере № 3. Наконец я в свою очередь поднимаюсь со своего жесткого одра; едва успел я спустить ноги, как поднялся общий крик: «Здоров, Видок!» Меня теснят со всех сторон и осыпают поздравлениями. Один из мошенников, Шарль Дешан, бежавший также за несколько дней передо мной, рассказал, что по всем галерам распространилась громкая слава о моих подвигах и отваге.

Пробило девять часов, меня увлекли завтракать к Брото, где мы нашли всю компанию в сборе. Там я нашел братьев Кинэ, Бонфуа, Бабино, Метраля Лема; все они пользовались на юге заслуженной славой. Меня осыпали любезностями и предупредительностью, доставили денег, платья и даже любовницу.

Как видите, в Лионе я очутился в таком же положении, как и в Нанте, Мне отнюдь не хотелось разделять ремесло моих приятелей, но я должен был получить денежную поддержку от матери, а до тех пор надо было чем-нибудь существовать. Я решил, что могу прожить несколько месяцев не работая (не воруя), и серьезно намерен был жить среди воров безучастно, но человек предполагает, а Бог располагает. Беглые, недовольные тем, что я постоянно находил то тот, то

другой предлог, чтобы не участвовать в их экспедициях, донесли на меня, чтобы избавиться от докучливого свидетеля, который мог сделаться опасным. Они предвидели, что я могу бежать, но рассчитывали на то, что раз признанный полицией и не имея другого прибежища, кроме их шайки, я наконец решусь действовать с ними заодно. В этом случае, как и во многих других в этом же роде, которые мне пришлось испытать, — меня старались залучить потому, что имели высокое понятие о моей смышлености, ловкости и в особенности — о моей силе, весьма драгоценном даре в профессии, связанной с постоянной опасностью.

Я был арестован в пассаже Сен-Ком, у Адели Бюфин, и отведен в тюрьму Роанн. С первых слов на допросе я узнал, что меня продали; это открытие привело меня в ярость, и я решился на сильную меру. Это был, так сказать, первый дебют в новой для меня карьере. Я написал к генеральному комиссару полиции Дюбуа с просьбой поговорить со мной наедине. Меня в тот же вечер привели к нему в кабинет; объяснив свое положение, я предложил навести его на следы братьев Кинэ, преследуемых в то время за убийство жены каменщика в улице Бель-Кордиер. Кроме того, я предложил указать средство, чтобы захватить всех мошенников, помещавшихся у еврея и у столяра Кафена, в улице Экорт-Беде. За все эти услуги я потребовал права покинуть Лион. Вероятно, г. Дюбуа приходилось не раз попадаться на такие обманы, и я видел, что он не знает, что отвечать мне на мои предложения.

— Вы сомневаетесь в моей искренности, — сказал я, — неужели вы станете меня подозревать и тогда, если бы я, бежав на пути в тюрьму, вернулся бы к вам вашим пленником?

— Нет, — ответил он.

— В таком случае вы скоро меня увидите, если согласитесь не давать никаких особенных распоряжений моим надсмотрщикам.

Он уступил моей просьбе, и меня увели. Дойдя до угла улицы Лантерн, я повалил двух жандармов, державших меня под руки, и со всех ног пустился бежать в Отель-де-Виль, где нашел Дюбуа. Это неожиданное и быстрое появление удивило его. Уверенный в том, что впредь может рассчитывать на меня, он возвратил мне свободу.

На другой день я увидался с жидом, которого звали Видалем; он объявил мне, что «приятели» перебрались в другой дом, который он указал мне. Я отправился туда. Они знали о моем бегстве, но так как не могли подозревать моих сношений с генеральным комиссаром полиции и не знали, что мне известно, по чьей милости я был арестован, то приняли меня весьма дружелюбно. Из разговора я почерпнул о братьях Кинэ подробности, которые передал в ту же ночь г. Дюбуа; последний, убежденный в моей искренности, свел меня с генеральным секретарем полиции Гарнье. Я сообщил этому должностному лицу все необходимые сведения и должен сознаться, что он действовал с большим тактом и усердием.

За два дня перед обыском у Видаля, который предполагали сделать по моим указаниям, меня арестовали снова и препроводили в тюрьму Роанн, куда на другой день прибыли сам Видаль, Кафен, Неве, Каде Поль, Дешан и многие другие, которых забрали заодно. Вначале я не имел с ними сношений, так как счел благоразумным, чтобы меня посадили в секретную. По прошествие нескольких дней, когда я вышел оттуда и присоединился к остальным арестантам, я притворился крайне удивленным, встретив всю компанию в сборе. По-видимому, никто не имел ни малейшего понятия о роли, которую я разыгрывал в этих арестах; один Неве смотрел на меня с некоторым недоверием. Я спросил его о причине его отчужденности; он признался мне, что, судя по способу, которым его допрашивали и обыскивали, у него возникло подозрение, что доносчиком был я, Я прикинулся обиженным и, опасаясь, чтобы эти подозрения не сделались общими, со-

брал арестантов и сообщил им о предположениях Неве, спрашивая их, считают ли они меня способным продать товарищей. Все ответили отрицательно, и Неве принужден был извиниться передо мной. Для меня было весьма важно, чтобы подозрения на мой счет рассеялись окончательно, так как в противном случае мне угрожала верная смерть. В Роанне не раз видели примеры самосуда между преступниками. Некто Муассель, обвиняемый в доносе по поводу покражи церковных принадлежностей, был убит во дворе, и никогда не удалось узнать в точности, кто был его убийцей. В другой раз, не так давно, один арестант, подозреваемый в подобном же поступке, был в одно прекрасное утро найден повешенным на оконной решетке. Все розыски по этому предмету остались тщетными.

Между тем г. Дюбуа снова призвал меня в свой кабинет, и, чтобы удалить все подозрения, меня повели с другими заключенными, как будто под видом допроса. Я вошел первым; генеральный комиссар сказал мне, что из Парижа только что прибыли в Лион несколько очень искусных воров, тем более опасных, что они снабжены бумагами в полном порядке и безопасно могут выжидать случая для выполнения какой-нибудь проделки, чтобы потом исчезнуть бесследно. Это были: Жалье, прозванный Бубанеком, Бутэ, названный Каде, Гарар, Бюшар, Малек, прозванный Шляпочником, Маркиз, или Золотая рука, и многие другие, менее известные. Имена, под которыми они были мне означены, были для меня совершенно незнакомы; я уведомил об этом Дюбуа, прибавив, что, весьма вероятно, что имена эти фальшивые. Он хотел немедленно выпустить меня на волю, чтобы я мог видеть эти личности где-нибудь в общественном месте и убедиться, не случалось ли мне видеть их прежде. Но я на это возразил, что такое неожиданное освобождение может скомпрометировать меня перед заключенными, в случае, если меня снова заключат в тюрьму. Это соображение нашли справедливым, и было

условлено, что отыщут средство завтра выпустить меня, не возбуждая подозрений. Неве, находившийся в числе заключенных, подвергнутых допросу, был введен после меня в кабинет генерального комиссара. Через несколько минут он вышел оттуда красный и чем-то сильно взволнованный. Я спросил его, что случилось.

— Поверишь ли, — ответил он, — любопытный (комиссар) спросил меня, не хочу ли скухторить (продать) друзей, которые сюда явились из Парижа?.. Держи карман!.. Если на всех так рассчитывать, как на меня, то они могут быть уверены, что им удастся ухрясть (бежать).

— Ну уж, не думал я, чтобы ты был таким: олухом, — ответил я, быстро сообразив, что я могу извлечь выгоду из этого обстоятельства. — Вот я так обещал скухторить «приятелей» и накинуть на них аркан.

— Как, неужели ты захочешь сделаться поваром (шпионом)? Да и к тому же — где тебе узнать их!

— Ничего, меня отпустят гопать (бродить) по улицам, и я найду случай дать стрекача, а ты все будешь здесь киснуть.

Неве, казалось, был поражен этой мыслью; он изъявил сильное сожаление, что отклонил предложение генерального комиссара, и так как я не мог обойтись без него, чтобы идти на поиски, то стал настойчиво просить его изменить свое первоначальное решение. Он согласился, и Дюбуа, которого я предупредил, приказал отвести нас в один вечер на площадь большего театра, потом в Селестен, где Неве указал мне всех субъектов. Затем мы снова удалились под эскортом полицейских агентов, не покидавших нас ни на минуту. Для успешною выполнения моего плана и, чтобы не возбуждать подозрений, надо было, однако, сделать попытку, которая подтвердила бы по крайней мере надежду, которую я подал моему товарищу. Я сообщил ему свой план: проходя улицу Мерсиер, мы быстро юркнули в проход, захлопнув за собой дверь, и, пока агенты побежали к другому выходу, мы спо-

койно вышли, откуда вошли. Когда они вернулись, пристыженные своей неловкостью, мы были уже далеко.

Два дня спустя Неве, который был уже не нужен полиции и который не мог подозревать меня, был арестован снова. Что касается меня, то, зная в лицо всех воров, которых хотели арестовать, я выдал их полицейским агентам в церкви св. Низьера, где они собрались в одно прекрасное утро в надежде поживы при выходе народа. Полиция более во мне не нуждалась, и я отправился из Лиона в Париж, куда уверен был добраться беспрепятственно, благодаря Дюбуа.

Я отправился в дилижансе по Бургундской дороге; в то время путешествовали только днем. В Люси-ле-Буа, где я переночевал с остальными путешественниками, меня позабыли в минуту отъезда, и, когда я проснулся, омнибус давным-давно уже отправился в путь. Я надеялся настигнуть его, благодаря неисправности наших дорог, но, приближаясь к Сен-Брису, я убедился, что дилижанс ушел слишком далеко вперед и что мне невозможно нагнать его, поэтому я замедлил шаг. Какой-то человек, который шел по той же дороге, увидев, что я выбился из сил и обливаюсь потом, стал внимательно вглядываться в меня и спросил, не иду ли я из Люси-ле-Буа. Я ответил ему, что действительно иду оттуда, и разговор на этом и покончился. Мой спутник остановился в Сен-Брисе, а я добрался до Оксерра. Измученный и усталый, я вошел в постоялый двор и, пообедав, поспешил лечь спать.

Я проспал уже несколько часов, как вдруг меня пробудил страшный шум у самых моих дверей. Стучали усиленно; я вскочил полуодетый и отворил дверь. Мои заспанные и слипшиеся глаза смутно различают трехцветные шарфы, желтые панталоны с красными лампасами. Это был полицейский комиссар в сопровождении вахмистра и двух жандармов; при этом виде я не мог совладать с первым впечатлением ужаса. «Вот видите, как он побледнел, — услышал я чей-то голос около меня. — Без всякого сомнения,

это он…» Я поднял глаза и увидел того самого человека, который говорил со мною в Сен-Брисе, но ничто еще пока не объясняло мне мотива этого внезапного нападения.

— Будем рассматривать последовательно, — сказал комиссар. — Пять футов пять дюймов… верно; волосы белокурые… брови и борода таковые же… лоб обыкновенный… глаза серые… нос обыкновенный, рот средний… подбородок круглый… лицо полное… цвет лица румяный… телосложение крепкое.

— Это, наверное, он, — вставил в свою очередь комиссар. — Синий сюртук, серые камлотовые штаны, белый жилет, черный галстук.

Это был приблизительно мой костюм.

— Ну, не говорил ли я вам, что это один из воров! — с видимым удовольствием заметил услужливый путеводитель сбиров.

Приметы вполне согласовались с моими, между тем я ничего не украл, но в моем щекотливом положении это могло возбудить во мне некоторое беспокойство. Может быть, это была просто ошибка, но может быть, тоже… Все присутствующие волновались вне себя от радости. «Эй вы, потише», — прикрикнул на них комиссар, и продолжал, повернув лист: «Его легко можно узнать по итальянскому акценту, кроме того, большой палец его левой руки сильно поврежден выстрелом». Я стал говорить перед ними и показал свою левую руку, которая оказалась в полном порядке. Все присутствующие переглянулись, в особенности сконфузился человек из Сен-Бриса; что касается меня, то я почувствовал, что с меня свалилось страшное бремя. Комиссар, которого я расспросил в свою очередь, сообщил, что в предыдущую ночь в Сен-Брисе была совершена значительная покража. В участии подозревали одну личность, одетую в платье, похожее на мое, и, кроме того, у нас с ним были совершенно одинаковые приметы. Этому странному стечению обстоятельств я

был обязан таким приятным визитом. Передо мной рассыпались в извинениях, на которые я ответил благосклонно, а в душе был счастлив, что мне удалось так легко отделаться. Однако, опасаясь новой катастрофы, я в тот же вечер сел в повозку, которая довезла меня до Парижа, откуда я поспешно направился в Аррас.

Глава пятнадцатая

Пребывание в Аррасе. — Переодевания. — Мнимый австрияк. — Отъезд. — Пребывание в Руане. — Арест

По различным, весьма понятным причинам я не мог прямо отправиться в дом своих родителей и остановился у одной из своих теток, которая сообщила мне о смерти моего отца. Это печальное известие вскоре подтвердила мне моя мать, принявшая меня с нежностью, составляющей резкий контраст с ужасным обращением, которому я подвергался за последние два года. Она сильно желала оставить меня при себе, с условием, чтобы я как можно тщательнее скрывался. Я на это согласился и в течение трех месяцев даже не переступал порога дома. Наконец я стал тяготиться этим постоянным затворничеством и осмелился выходить на улицу, переодевшись в разные костюмы. Я уж думал, что меня никто не узнает, как вдруг распространился слух, что я нахожусь в городе; вся полиция была поставлена на ноги, ежеминутно мою мать беспокоили непрошеные гости, но им все не удавалось открыть моего убежища. Нельзя сказать, чтобы мой тайник был особенно тесен: он имел от десяти до шести футов ширины, но я так отлично скрыл вход в него, что один господин, купивший впоследствии дом, прожил а нем целые годы, не подозревая о существовании потаенной комнаты; может быть, он и до сих пор не знал бы о ней, если бы я не навел его на это открытие.

Имея верное убежище, где я был убежден, что никто не найдет меня, я скоро снова предпринял свои обычные экскурсии. В один прекрасный день, — это было в чистый понедельник, — я даже имел дерзость появиться на балу Сен-Жака, на котором собралось до двухсот человек. Я был костюмирован в маркиза; одна женщина, с которой я когда-то был в связи, узнала меня и сообщила о своем открытии другой женщине, имевшей причины жаловаться на меня, так что

в какие-нибудь четверть часа все узнали, под каким костюмом скрывается Видок. Слух об этом коснулся ушей двух городовых, Дельрю и Карпантье, приставленных для охранения порядка у дверей. Первый, приблизившись ко мне, шепотом сказал мне, что желает сказать мне несколько слов наедине. Я вышел, так как делать скандал было бы опасно. Сойдя во двор, Дельрю спросил меня мое имя. Я не стеснялся назвать ему первое попавшееся мне на язык, вежливо предложив ему снять маску, если он этого пожелает.

— Я этого не требую, — сказал он, — однако я не прочь был бы взглянуть на вас.

— В таком случае, — возразил я, — будьте так любезны, развяжите позади шнурки маски, они немного запутались.

Полный доверия, Дельрю принялся исполнять мою просьбу, в то же мгновение я повалил его на землю резким движением и ударом кулака сшиб с ног его товарища. Не успели они подняться на ноги, как я уже был далеко — по направлению к заставе, надеясь скоро выбраться за город. Но едва успел я сделать несколько шагов, как увидел, что попал случайно в глухую улицу, загороженную за последнее время, когда меня не было в Аррасе.

Пока я раздумывал о своей неудаче, стук подкованных сапог возвестил мне о приближении сержантов, поспешивших мне вослед, — скоро я их увидел, приближающихся с саблями наголо. Я был безоружен. Схватив у ворот большой ключ и делая вид, будто это пистолет, я прицелился в них, принуждая дать мне дорогу. «Проваливай живей, Франсуа», — сказал мне Карпантье изменившимся от испуга голосом. Я не заставил себя повторять это позволение и через несколько минут уже находился в своей келье. Приключение это наделало шума, несмотря на старания сержантов скрыть свое храброе поведение. Что было всего досаднее для меня, — это то, что власти удвоили бдительность до такой степени, что выходить я не имел никакой возможности. Я оставался

взаперти в четырех стенах в продолжение двух месяцев, показавшихся мне целыми годами. Наконец, выведенный из терпения, я решился покинуть Аррас. Меня снабдили кружевами на продажу, и в одну прекрасную ночь я удалился с паспортом, который одолжил мне один знакомый, некто Блондель. Приметы его не подходили ко мне ни в каком случае, но за неимением лучшего приходилось удовольствоваться этим. К тому же на пути мне не делали никаких затруднений. Наконец я прибыл в Париж, по дороге стараясь сбыть свои товары; в то же время я косвенными путями хлопотал о том, как бы мне добиться рассмотрения вновь моего процесса. Я узнал, что для этого мне прежде всего следует снова передать себя в руки правосудия, но я никак не мог решиться снова прийти в соприкосновение со злодеями, которых слишком хорошо оценил. Меня не страшило заключение, я охотно оставался бы в четырех стенах, в доказательство этого я ходатайствовал перед министерством, чтобы мне позволили высидеть мой срок в Аррасе, в сумасшедшем доме. Но мое ходатайство было оставлено без последствий.

Между тем все мои кружева были распроданы, но барыша я получил слишком мало, чтобы можно было впредь существовать этой торговлей. Один странствующий разносчик, живший в той же гостинице, и которому я описал свое затруднительное положение, предложил мне поступить к одной торговке мелочными товарами, разъезжающей по ярмаркам. Мне удалось поступить на это место, но я занимал его всего десять месяцев: кое-какие неприятности по службе заставили меня расстаться со своей хозяйкой и еще раз вернуться в Аррас.

Там я не замедлил возобновить снова свои ночные экспедиции. В одном доме у моих знакомых часто бывала дочь жандарма. Мне пришло на мысль воспользоваться этим обстоятельством, чтобы заранее узнавать, что против меня замышляют. Жандармская дочка не знала меня в лицо, но так

как в Аррасе я служил предметом постоянных толков, то случалось, что она упоминала обо мне в довольно странных выражениях.

— О, — сказала она, — кончится тем, что изловят этого мошенника. Во-первых, наш лейтенант (Дюмортье, в настоящее время полицейский комиссар в Абвиле) уж очень на него зол и не захочет оставить его гулять на воле; даю голову на отсечение, что он охотно пожертвовал бы своим дневным содержанием, чтобы наконец пришпилить его.

— Если б я был на месте вашего лейтенанта, — возразил я, — и если бы мне действительно так хотелось изловить Видока, то от меня он уж не удрал бы.

— Ну, этого не говорите! Он всегда вооружен с головы до пят. Вы, я думаю, слыхали, что он два раза выстрелил из пистолета в Дельрю и Карпантье… И потом, это еще не все, — знаете ли, он, когда хочет, превращается в охапку сена.

— Как так? Может ли это быть… в охапку сена? — воскликнул я, удивленный новой способностью, которую мне приписывали. — Каким же это образом?

— А вот каким. Однажды мой отец преследовал его, и в ту минуту, как он уже хотел схватить его за шиворот, у него в руках очутилась охапка сена. Нечего тут и сомневаться, вся бригада видела, как это сено сожгли на казарменном дворе.

Я не мог понять, что все это значило. Потом только разъяснилось, что гг. агенты, отчаявшись овладеть мною, распустили эту сказку среди суеверных артезианцев. Для этой же цели они старались распространить убеждение, что я оборотень, таинственное появление которого наводило ужас на всех богобоязненных жителей. К счастью, этого страха не разделяли некоторые хорошенькие женщины, чувствовавшие ко мне участие, и если бы не случилось так, что одною из них овладел демон ревности, то, наверное, власти еще надолго оставили бы меня в покое. Женщина эта, озлобленная

на меня, выдала меня полиции, которая уже было совершенно упустила меня из виду.

В одну прекрасную ночь, когда я спокойно возвращался домой по улице Амьен, вооруженный одной только палкой, на меня внезапно напали около моста несколько каких-то людей. Это были переодетые городские сержанты; они схватили меня за полы платья и уже уверены были, что им удастся овладеть мною, как вдруг ловким и сильным ударом я высвободился от них, вскочил на перила и бросился в воду. Это было в декабре месяце; вода была высока, течение бурное; ни одному из сержантов не было охоты следовать за мною, к тому же они полагали, что если пойдут ждать меня на берегу, то я не ускользну от них, но не тут-то было, я попал в водосточную трубу и ожидания их рушились. Они все еще ждали меня на берегу, а я давным-давно сидел в доме матери.

Ежедневно я подвергался новым опасностям, и с каждым днем мне следовало бы принимать новые предосторожности для своего спасения; но, однако, по своему обыкновению, я утомился этой полусвободой; одно время я находился под крылышком монахинь в улице ***, но вскоре я стал мечтать о возможности показываться в публике. В то время в Аррасской цитадели находилось несколько пленных австрияков, оттуда они выходили для работ у буржуа или в окрестных селениях. Мне пришло в голову, что я могу извлечь для себя пользу из присутствия этих иностранцев. Так как я говорил по-немецки, то и завязал разговор с одним из них, и мне удалось внушить ему некоторое доверие, так что наконец он сознался мне, что намерен бежать… Этот план согласовался с моими видами; пленного очень стесняло его платье, я предложил ему свое взамен его одежды, и за небольшую цену он с удовольствием согласился уступить мне свои документы. С этой минуты я превратился в настоящего австрияка даже в глазах других пленных, которые, принадлежа к различным корпусам, не знали друг друга.

В этом новом звании я сошелся с молодой вдовой, содержавшей мелочную лавочку: она уговорила меня поселиться у нее, и скоро мы с ней вдвоем стали странствовать по всем ярмаркам и рынкам. Конечно, я мог помогать ей не иначе как объясняясь с иностранцами на понятном диалекте, поэтому я измыслил себе особый жаргон — полунемецкий, полуфранцузский который все понимали как нельзя лучше и с которым я свыкся до того, что почти забыл о том, что знал другие языки. Таким образом, иллюзия была до того полная, что моя вдовица после сожительства, продолжавшегося четыре месяца, не имела насчет меня ни малейшего подозрения. Но она была со мной так мила и искренна, что мне невозможно было долее обманывать ее. Я признался ей, кто я таков, и мое признание чрезвычайно удивило ее, нисколько, однако, не повредив мне в ее глазах, напротив — наша связь сделалась еще теснее, так как известно, что женщины обожают таинственность и приключения! И к тому же разве не имеют они слабости к негодяям? Никто лучше меня не мог убедиться, что часто женщины являются Провидением для беглых каторжников и арестантов.

Протекло одиннадцать месяцев в полном спокойствии и безмятежности. Меня привыкли видеть в городе, мои частые встречи с полицейскими агентами, не обращавшими на меня ни малейшего внимания, еще более убеждали меня, что моему благополучию не будет конца. Но вот однажды, когда мы спокойно обедали в каморке за лавкой, за стеклянной дверью внезапно показались три фигуры жандармов; суповая ложка выпала у меня из рук. Но, быстро придя в себя от изумления и ужаса, я бросился к двери, запер ее задвижкой и, выпрыгнув в окно, полез на чердак, а оттуда по крышам соседних домов поспешно спустился по лестнице, ведущей на улицу. Подбегаю к двери — она охраняется двумя жандармами… К счастью, это были вновь прибывшие, которые не знали меня. «Ступайте скорее наверх, — сказал я, — бригадир уже

поймал молодца, а вас ждет на подмогу… Человек-то отбивается изо всех сил, а я пойду за солдатами!» Оба жандарма послушались меня и побежали наверх.

Было ясно, что меня продали полиции; моя подруга не была способна на такую низость, но, вероятно, она проболталась. Следовало ли мне оставаться в Аррасе теперь, когда меня имеет в виду полиция? По крайней мере я должен был не выходить из своего убежища. Но я не мог решиться вести такую жалкую жизнь и вознамерился покинуть город. Моя сожительница во что бы то ни стало хотела последовать за мной, я согласился, и скоро все товары были уложены и упакованы. Мы отправились вместе, и, как это всегда водится, полиция узнала об этом последняя. Почему-то предположили, что мы непременно отправились в Бельгию, как бы в единственную страну убежища, и в то время, как за нами пустились в погоню по направлению к старой границе, мы преспокойно подвигались к Нормандии проселочными дорогами, которые моя спутница твердо знала, благодаря своим прежним странствованиям.

Мы решились остановиться на жительство в Руане. Прибыв туда, я имел при себе паспорт Блонделя, который я достал в Аррасе; но обозначенные в нем приметы до того не согласовывались с моими, что мне необходимо было позаботиться о своих бумагах.

Надо было для этого провести зоркую и подозрительную полицию, сделавшуюся тем более бдительной, что эмигранты перебирались в Англию через Нормандию. Вот что я выдумал. Отправившись в городскую думу, я прописал свой паспорт в Гавр. Обыкновенно штемпель довольно легко получить — достаточно только, чтобы паспорт не был просроченным, а мой был в порядке. Исполнив эту формальность, я вышел; две минуты спустя я вернулся в бюро и спросил, не находили ли портфеля… никто не мог мне ничего сказать. Тогда я притворился, что в отчаянии: спешные дела застав-

ляют меня ехать в Гавр, ехать я должен в тот же вечер, а паспорта нет.

— Об этом не стоит беспокоиться, — сказал мне один чиновник, — вам можно выдать паспорт по дубликату, справившись с реестром прописок.

Мне только этого и хотелось; имя Блонделя за мной оставили, но, по крайней мере, на этот раз обозначенные в паспорте приметы соответствовали моим. Чтобы довершить свой фокус, я не только действительно уехал в Гавр, но и афишировал о пропаже портфеля, между тем как я просто передал его своей любовнице.

Благодаря этому маленькому маневру, мои дела поправились; снабженному превосходными документами, мне оставалось только вести добропорядочную жизнь — на это я серьезно решился. Вследствие этого я нанял в улице Мартэнвиль лавку для торговли шапками и мелочными швейными принадлежностями, и дела пошли так успешно, что моя мать решилась приехать к нам на жительство. В течение целого года я был истинно счастлив; моя торговля расширялась, мои связи также, основывался некоторый кредит, и многие руанские банки помнят, что имя Блонделя пользовалось некоторым почетом. Наконец-то после стольких бурь и перипетий я надеялся, что достиг гавани, как вдруг неожиданное событие открыло собою целую серию превратностей… Торговка, с которой я жил, женщина, давшая мне самые лучшие доказательства любви и преданности, — осмелилась увлечься другим и изменить мне. Мне не хотелось даже замечать этой неверности, но преступление было слишком явно: преступница не имела даже возможности оправдаться. В прежнее время я не вынес бы такого оскорбления, не выказав своего справедливого гнева… Но со временем все изменилось. Ясно убедившись в своем несчастьи, я хладнокровно потребовал немедленного развода; ни мольбы, ни обещания, ни слезы — ничто не могло поколебать меня — я был неумолим. Конечно,

я мог бы простить изменнице, хотя бы из одной благодарности; но кто мог мне поручиться в том, что моя благодетельница порвет связь с моим соперником? Разве не мог я ожидать, что в минуту откровенности она проболтается и выдаст меня? Поэтому мы разделили поровну все товары, и моя подруга рассталась со мной. С этой поры я никогда более не слышал о ней.

После этого приключения, наделавшего шуму, Руан мне окончательно опостылел; я снова принялся за свое прежнее ремесло странствующего торговца. Мои странствования ограничивались округами Мантским, Сен-Жерменским и Версальским, где я в короткое время приобрел отличную практику; мои заработки стали так значительны, что я мог нанять в Версале, в улице Фонтен, магазин с небольшой квартирой, в которой жила моя мать во время моих отлучек. Я вел в то время безукоризненную жизнь и пользовался повсеместно уважением. Наконец-то, думал я, мне удалось освободиться от злого рока, упорно преследовавшего меня; но вдруг на меня донес один товарищ детства, мстивший мне за ссоры, которые когда-то были между нами, и я снова был арестован на ярмарке в Манте. Хотя я упорно утверждал, что я не Видок, а Блондель, как значилось у меня в паспорте, но меня все-таки препроводили в Сен-Дени, а оттуда в Дуэ. По исключительному вниманию, которое мне оказывали, и стараниям помешать мне бежать, я догадался, что был особенно рекомендован; взгляд, брошенный мною на инструкции жандармерии, доказал мне, что я не ошибся. Вот в каких выражениях было обо мне упомянуто:

Особенный надзор.

Видок (Эжен-Франсуа), заочно приговоренный к смертной казни. Субъект этот чрезвычайно предприимчив и опасен.

Итак, чтобы не ослабить ни на минуту бдительность моих сторожей, меня представляли каким-то ужасным преступником. Меня отправили из Сен-Дени в телеге, связанного по ру-

кам и ногам, так что я не мог сделать ни одного движения, и от самого Лувра эскорт ни на минуту не выпускал меня из виду. Все эти меры заставляли предвидеть в будущем необычайную строгость, которую мне необходимо было предупредить. Собрав снова всю свою энергию, я стал измышлять план спасения. Нас препроводили в Луврскую колокольню, преобразованную в тюрьму; я велел принести два тюфяка, одеяло, две простыни, которые, разрезанные и сплетенные, могли помочь нам спуститься вниз на кладбище. Одна из перекладин решетки была перепилена ножами трех дезертиров, заключенных вместе с нами, и в два часа ночи я рискнул спуститься первым. Добравшись до конца веревки, я заметил, что она слишком коротка и футов на пятнадцать не достигает до земли, но медлить было невозможно, и я прыгнул на землю. Так как еще при своем падении под окнами Лилля, я повредил себе ногу, то мне почти невозможно было ходить; я старался, однако, перелезть через кладбищенскую ограду, как вдруг услышал звук ключа, повернутого в замке. Это были тюремщик и его собака, но ни тот, ни другой не обладали тонким чутьем; тюремщик прошел мимо веревки, не заметив ее, а его пес у самого рва, где я приютился, не почуяв меня. Окончив свой обход, они удалились; я думал, что мои товарищи по заключению последуют моему примеру, но никто не появлялся. Я перелез через ограду и очутился в поле. Боль в ноге усиливалась постепенно и становилась невыносимой… Однако я преодолевал свои страдания, мужество придало мне сил, и я зашагал довольно скоро. Я уже прошел около полумили, как вдруг услышал набат. Это было около половины мая. При первых лучах солнца я увидел нескольких вооруженных поселян, вышедших из своих домов в поле; вероятно, они не знали, в чем дело, но моя поврежденная нога была опасной приметой, которая могла навлечь на меня подозрения: я был для них лицом незнакомым, — понятно, что каждый встречный захочет убедиться на всякий случай,

кто я такой… Если б я был совсем здоров, то я преодолел бы все трудности, но теперь мне оставалось только сдаться. Едва успел я сделать двести шагов далее, как был настигнут жандармами, бродившими по окрестностям; снова пришлось мне вернуться на проклятую колокольню.

Печальный исход этой попытки не отнял у меня мужества.

В Булони нас поместили в крепость, в старую залу. Нас охранял всего один часовой — стоял он невдалеке от окна, на таком расстоянии, что заключенные могли разговаривать с ним. Я это и сделал. Солдат, к которому я обратился, показался мне человеком покладистым, и я вообразил, что его легко будет подкупить… Я предложил ему пятьдесят франков, чтобы он только позволил мне бежать в то время, пока он будет стоять на часах. Вначале он отказался, но потом по его нерешительному голосу, потупленным глазам, я догадался, что ему очень хочется получить деньги, но он еще не смеет решиться. Чтобы придать ему мужества, я увеличил сумму и показал ему три луидора. Он ответил мне, что готов содействовать нам, и сообщил мне, что его очередь наступит в полночь. Сговорившись, я начал приготовления; стена была пробита так, чтобы мы имели возможность пролезть, — оставалось только выждать удобного момента. Наконец пробило полночь, наш солдат объявил нам, что он тут. Я вручил ему обещанные три луидора и стал торопиться со своими приготовлениями. Когда все было готово, я крикнул ему:

— Пора, что ли?

— Да, поторопитесь, — ответил он после минутного колебания.

Мне показалось странным это колебание, и у меня промелькнуло в голове, что дело не совсем чисто. Я навострил уши и услышал чьи-то шаги; при лунном свете я различил тень людских фигур: без всякого сомнения, нам изменили. Однако, подумал я, может быть, я слишком поспешил с за-

ключением. Чтобы вполне убедиться в истине, я взял соломы, наскоро сделал из нее чучело и спустил через проделанное нами отверстие. В то же мгновение могучий удар саблей в солому доказал нам, что не всегда можно доверяться искренности часовых. В одну минуту вся тюрьма наполнилась жандармами; составили протокол; нас подвергли допросу. Я объявил, что заплатил три луидора, но часовой стал отпираться изо всех сил. Я настаивал на своем показании. Обыскав его, нашли деньги спрятанными в сапоги, за что он был посажен под арест.

Что касается нас, то нас осыпали угрозами, но так как наказать не имели права, то ограничились тем, что удвоили за нами надзор. Бежать не было никакой возможности, разве только воспользовавшись каким-нибудь исключительным случаем; случай этот представился ранее, нежели я ожидал. Это было накануне нашего отправления, и мы собрались во дворе казармы, где была толкотня и беспорядок — дело в том, что прибыл новый транспорт арестантов да, кроме того, отряд новобранцев, отправлявшийся в Булонский лагерь. Пока начальство пересчитывало своих людей, я украдкой проскользнул вовнутрь багажной повозки, выезжавшей из ворот. Таким образом я проехал по всему городу, лежа неподвижно, стараясь сократиться насколько мог. Выехав за город, мне оставалось только бежать. Улучив минуту, когда мой возница зашел в кабак промочить горло, я выскочил из повозки, облегчив лошадей от излишнего груза, которого никто не подозревал. Пока было светло, я скрывался в поле, засеянном репой; когда наступила ночь, я вышел из своего убежища и старался ориентироваться.

Глава шестнадцатая

Булонский лагерь. — Встреча. — Вербовщики при старых порядках. — Бель-Роз

Я направился через Пикардию в Булонь. В это время Наполеон, отказавшись от своего первоначального плана высадиться в Англии, отправился со своей могущественной армией воевать с Австрией, но оставил на берегах Ла-Манша многочисленные батальоны. В обоих лагерях, в правом и левом, находились депо оружия и запасы почти всей армии и солдаты всех возможных европейских национальностей: итальянцы, пьемонтцы, голландцы, швейцарцы, были даже ирландцы.

Мундиры поражали своей пестротой и разнородностью. Для меня это было выгодно, и, благодаря этой пестроте, я удобнее мог стушеваться… Однако, поразмыслив, я нашел, что, надев военный мундир, мне не так легко будет скрыться. Одно время мне пришла в голову мысль поступить на действительную службу. Но дело в том, что чтобы определиться в известный полк, надо предъявить бумаги, а их-то у меня не было. Поэтому я отказался от этого намерения. Между тем пребывание в Булони становилось небезопасным, пока я не нашел возможности куда-нибудь пристроиться.

В один прекрасный день, когда я тревожился более обыкновенного и решительно тяготился своей особой, я встретил на площади города сержанта морской артиллерии, с которым имел случай видеться в Париже; он был мне земляк, такой же артезианец, как и я. Еще с детства его определили на правительственное судно, и он почти всю свою жизнь провел в колониях. Он давно не был в нашем краю и ничего не знал о моей судьбе и моих неудачах. Считая меня за веселого малого, он составил себе высокое понятие о моей храбрости и отваге, благодаря некоторым приключениям в кабаке, причем я имел случай кстати помочь ему.

— Так это ты, дружище! — сказал он мне, — как ты попал в Булонь?

— Да вот, земляк, хочу пристроиться к армии.

— А, ты ищешь должности; знаешь ли что, дружище, теперь чертовски трудно пристроиться! Но вот что — если бы ты послушался моего совета… Впрочем, здесь не место объясняться, пойдем-ка к Галанду.

Мы отправились в скромный винный погребок на одном из углов площади.

— Здорово, парижанин! — закричал сержант погребщику.

— Здравствуйте, дядюшка Дюфайльи, чем могу служить вам? Водочки, послаще или покрепче?

— Черт возьми, Галанд, за кого ты нас принимаешь? Подай нам чего-нибудь получше, да вина подороже, слышишь ли?

Потом, обращаясь ко мне, он сказал: «Не правда ли, старина, мы ведь друзья с тобой?» — и, хлопнув меня по ладони, он увлек в комнату, где Галанд принимал своих почетных гостей.

У меня разыгрался аппетит, и я не без удовольствия наблюдал за приготовлениями к обеду. Женщина, от 25 до 30 лет, которая по росту, виду и обращению напоминала тех существ, которые способны осчастливить целый гвардейский корпус, пришла накрывать на стол: она была уроженка Люттиха, живая, веселая, болтала на своем деревенском наречии, кстати и некстати отпуская грубые шутки, заставлявшие смеяться сержанта, который был в восторге от ее остроумия.

— Это невестка хозяина, — сообщил он, — хороша ведь, черт возьми! Пухла как подушка, кругла как кубышка, — молодец девка, просто сердце радуется!

Дюфайльи заигрывал с нею с грубостью истого матроса, сажая ее к себе на колени и влепляя в ее лоснящиеся щеки звучные и нескромные поцелуи.

Признаюсь, я с неудовольствием наблюдал за этими проделками, которые замедляли наш обед, как вдруг мадемуазель Жаннетта (так звали невестку Галанда) быстро вырвалась из объятий моего приятеля и скоро вернулась с жареной индейкой, щедро приправленной горчичным соусом, и поставила перед нами блюдо и две бутылки.

— Вот это славно! — воскликнул сержант, — по крайней мере есть чем червячка заморить! Сначала справимся со всем этим, а потом увидим; ведь здесь все в нашем распоряжении, стоит только глазом моргнуть. Не правда ли, мадемуазель Жаннетта? Да, приятель, — прибавил он, — я здесь хозяин.

Я его поздравил с таким счастьем, и мы оба с жадностью набросились на еду и питье. Мне давно уже не случалось так хорошо поесть, и я не терял времени понапрасну. Много бутылок было опорожнено; мы уже приготовились раскупоривать, кажется, седьмую, когда сержант вышел на минуту и тотчас же вернулся с двумя новыми собутыльниками — фурьером и фельдфебелем.

— Тысяча чертей! Я люблю общество, — крикнул Дюфайльи, — и вот я завербовал, земляк, двух новых рекрутов, в этом я кое-что смыслю — спроси-ка лучше у этих господ.

— О, это сущая правда, — подтвердил фурьер, — ему принадлежит пальма, нашему старичку Дюфайльи, что касается того, чтобы проводить да надувать рекрутов! Как подумаешь, ведь надо же быть дураками, чтобы попадаться в такой просак.

— А, ты все еще этого не позабыл?

— Как позабыть, старина, — помню, и фельдфебель тоже, ведь ты догадался его пригласить в качестве нотариуса!

— Ну что же, разве он не сделал себе карьеру, и, черт возьми, не в тысячу ли раз лучше быть первым счетоводом в канонирской роте, нежели бумагомарателем в какой-нибудь канцелярии? Что ты на это скажешь, фурьер?

— Я с вами согласен, впрочем…

— Впрочем, впрочем… Ты, может быть, еще захочешь уверить меня, что тебе лучше было, когда ты ни свет ни заря должен был брать лейку и надсаживаться, поливать свои тюльпаны. Помнишь, мы тогда должны были отправиться из Бреста на «Juviucible»; ты соглашался ехать не иначе, как в качестве садовника. Ну что ж, за чем же дело стало, сказал я тебе; ладно, будь садовником. Капитан любил цветы; у каждого свое ремесло, у меня тоже свое ремесло было. Ты мне и теперь живо представляешься — каким ты был тогда; и вдруг вместо того, чтобы заставить тебя ухаживать за морскими растениями, как ты ожидал, тебя послали маневрировать на вантах, и когда тебе надо было зажечь фитиль мортиры на бомбардирском судне, вот букет-то был! Но что об этом толковать, лучше выпьем глоток-другой. Ну-ка, земляк, подливай же вина товарищам!

Я взял на себя обязанность угощать публику и разливать в стаканы.

— Ты видишь, — сказал мне сержант, — что они на меня больше не сердятся, и теперь мы все трое друзья каких мало. И говорить нечего: я славно поднадул их; но все это вздор, мы, морские вербовщики, — ангелы в сравнении с вербовщиками при старых порядках; у вас еще на губах молоко не обсохло, и вы не можете помнить Бель-Роза. Вот то был ловкая шельма! Как видите, я не был простачком, а ведь ему удалось скрутить меня как нельзя лучше. Мне помнится, я когда-то вам об этом рассказывал, но на всякий случай расскажу еще раз для земляка.

При старых порядках, видите ли, у нас были колонии Иль-де-Франс, Бурбон, Мартиника, Гваделупа, Сенегал, Гвиана, Луизиана, Сан-Доминго и другие. Теперь все это исчезло, у нас остался остров Оверон. Это немного больше, нежели ничего, или так сказать, pied a terre, в ожидании лучшего. Все это мы могли бы приобрести десантом. Но что делать!

О десанте нечего и думать, это дело решенное: флотилия сгниет в гавани, а доски пойдут на топливо. Но я вижу, что я делаю галс и плыву по ветру. Возвращаюсь же к Бель-Розу, ведь, кажется, о нем я начал вам рассказывать. Как я уже сказал вам — этот малый был не промах, а в то время молодые люди не были такими шустрыми, как теперь.

Я покинул Аррас четырнадцати лет, пробыв шесть месяцев в Париже, учеником у ружейного мастера; однажды утром хозяин послал меня отнести к полковнику карабинеров, который жил на Королевской площади, пару пистолетов. Я проворно исполнил поручение, но, к несчастью, эти проклятые пистолеты должны были доставить в хозяйскую кассу 18 франков. Полковник отсчитал мне деньги и отпустил меня. До сих пор все шло как по маслу, но тут-то случилась зацепка. Перехожу через улицу Пеликана — слышу, кто-то стучится в окно. Я воображаю, что какой-нибудь знакомый, подымаю голову, и что же вижу? Какая-то красотка стояла у окна, более светлого и опрятного, нежели остальные, и знаками, сопровождаемыми любезной улыбкой, приглашала меня войти. Она была похожа на подвижную картинку в рамке. Прелестная талия, кожа ослепительной белизны, и ко всему этому — очаровательное личико. Этого было достаточно, чтобы воспламенить меня. Ураганом вбегаю на лестницу, меня вводят к женщине. Мои глаза не обманули меня — это было божество.

— Подойди ко мне, голубчик, — сказала она, слегка трепля меня по щеке, — ты ведь угостишь меня, не правда ли?

Я дрожащей рукой ощупываю карманы и вытаскиваю деньги, полученные от полковника.

— Клянусь честью, молодчик, да ведь ты, кажется, из Пикардии! Так я тебе землячка: ведь ты не пожалеешь стакана вина для своей землячки!

Она просила так мило, у меня не было духу отказать ей: 18 франков полковника были початы: за одним стаканом

обыкновенно следует второй, потом третий и четвертый, так что в конце концов я опьянел.

Наступила ночь, и не знаю, как это случилось, но я проснулся на улице, распростертый на каменной скамейке, у ворот гостиницы Фермы…

Я немало удивился, оглянувшись вокруг, но еще более удивился, когда освидетельствовал свои карманы… птички-то улетели…

Была ли возможность вернуться к хозяину? Куда деваться? Я решился прогуляться взад и вперед в ожидании рассвета. У меня была одна цель — убить время, или, вернее, забыться после первого своего проступка. Я машинально направил шаги к рынку «Junoceuts». «Вот и доверяйтесь после этого землякам! — говорил я сам себе. — Никому не желаю быть в моей шкуре». Еще если б у меня осталось хоть немного денег…

Признаюсь, что в эту минуту мне приходили на ум престранные мысли… Мне часто случалось читать на уличных афишках: «Утерян бумажник», причем обещалось вознаграждение в несколько тысяч франков нашедшему.

Я вообразил себе, что найду такой бумажник, и шел, тщательно рассматривая мостовую, как человек, который чего-то ищет; я был серьезно занят мыслью о такси счастливой находке, как вдруг был выведен из своей задумчивости сильным ударом по спине.

— Здорово, Каде, что ты тут делаешь в такую рань?

— А, это ты, Фанфан, какими судьбами ты попал в этот квартал в такой ранний час?

Фанфан был подмастерьем у пирожника, и я с ним познакомился в Поршероне. В нескольких словах он успел рассказать мне, что вот уже целую неделю как бежал от своего хлебопека, что у него есть любовница, которая дает ему средства к жизни; в настоящую же минуту он очутился без пристанища, потому что приятелю его милой пришло в голову

посетить ее. «Впрочем, — прибавил он, — мне и горя мало. Если мне случается провести ночь в Мышеловке (Souriciere), то утром я возвращаюсь домой и стараюсь наверстать, что потерял».

Фанфан-пирожник показался мне малым проворным и ловким; мне пришло в голову — уж не может ли он указать мне средство выйти из затруднения, и я рассказал ему про свое горе.

— Только-то! — ответил он. — Послушай, приходи часов в двенадцать в кабачок у заставы Сержантов, я, может быть, подам тебе добрый совет. Во всяком случае, мы позавтракаем вместе.

Я аккуратно явился на свидание в назначенный час. Фанфан не заставил себя долго ждать — он пришел даже прежде меня. Едва успел я войти, как меня повели в отдельную комнату, где я очутился за столом перед полной корзиной устриц и в соседстве двух женщин. Одна из них, увидев меня, разразилась громким смехом.

— Что с ней такое? — удивился Фанфан.

— Прости Господи, да ведь это мой «земляк»!

— Это землячка! — воскликнул я в свою очередь, немного сконфуженный.

— Да, мой котенок, это я, твоя землячка.

Я хотел было пожаловаться на скверную шутку, которую она со мной сыграла накануне. Но она, обнимая Фанфана, которого называла своим кроликом, принялась смеяться еще громче, и я решил, что лучше всего мужественно покориться своей участи.

— Вот видишь ли, — сказал Фанфан, наливая мне стакан белого вина и подавая дюжину устриц, — никогда не следует отчаиваться — поросенок уже жарится на вертеле. Ты ведь любишь поросенка?

Я не успел ответить на его вопрос, как поросенок был уже на столе. Аппетит, с которым я принялся уплетать это куша-

нье, сам собою отвечал на вопрос Фанфана, так что ему не пришлось переспрашивать меня. Скоро шабли окончательно развеселил меня; я позабыл все свои неприятности, гнев своего хозяина, которого я так опасался, и так как подруга моей землячки пришлась мне по сердцу, то я поспешил объясниться ей в любви.

— Итак, ты любишь меня? — сказала Фаншетта (так звали девушку).

— Люблю ли я тебя! Нечего и спрашивать.

— Ну так и женитесь, — закричал Фанфан, — мы вас повенчаем. Я тебя благословляю, слышишь ли, Каде? Ну, поцелуйтесь же!

И Фанфан, схватив нас обоих за головы, сблизил наши лица.

— Бедный малютка! — воскликнула Фаншетта, целуя меня еще раз, уже по собственному желанию. — Будь покоен, ты мной будешь доволен!

Я был на седьмом небе и провел день восхитительно. Я начал новую жизнь. Фаншетта гордилась тем, что нашла ученика, которому шли впрок ее уроки; за то она щедро награждала меня.

В это время только что собрались нотабли. Нотабли были жирные птицы, Фаншетта ловко обчищала их, а потом мы сообща пользовались добычей. Каждый день у нас шел пир горой! Уж как же они нас кормили, эти нотабли, и не рассказать! Не считая того, что у меня карманы были всегда полны денег, Фаншетта и я ни в чем не отказывали себе: но часы счастья коротки… Увы, слишком даже коротки! Едва успел пройти месяц нашей развеселой жизни, как Фаншетта и моя землячка были арестованы и препровождены в острог. В чем они провинились? — этого я не знал: но так как злые языки толковали об исчезновении дорогих часов с репетицией, то я вовсе не имел желания познакомиться с начальником полиции и счел благоразумным ни к кому не обращаться за разъяснениями.

Этот арест был для нас неожиданным ударом; Фанфан и я были как громом поражены. Фаншетта была такая добренькая девочка! Что нам было делать, средств никаких нет — котел опрокинут: прощайте устрицы, прощай шабли, не придется нам больше кататься как сыр в масле. Не лучше ли было бы для меня не бросать своего молота? Фанфан со своей стороны стал жалеть о своих пирожках.

Погруженные в печальные размышления, мы медленно подвигались по набережной Феррайль, как вдруг нас пробудил звук военной музыки — два кларнета, барабан и цимбалы. Вокруг этого оркестра собралась густая толпа зевак. Музыканты помещались на телеге, над ними развевался пестрый флаг и разноцветные султаны. Когда музыканты перестали играть, барабан забил дробь. Какой-то господин, в мундире с галуном по всем швам, встал и обратился к публике с речью, показывая на большую карту, на которой был намалеван солдат в мундире.

— С соизволения Его Величества я пришел объяснить подданным французского короля те выгоды, те льготы, которые он им дарует, допуская их в колонии. Вы, молодые люди, вероятно, не могли не слышать о стране Кокань — нужно ехать в Индию, чтобы попасть в эту блаженную страну. Там всего вдоволь.

Хотите вы золота, жемчуга, бриллиантов? Стоит только наклониться — все дороги ими вымощены, да и наклоняться-то не нужно, за вас это сделают дикие.

Любите вы женщин? Там их есть вдоволь на всевозможные вкусы: есть и негритянки, принадлежащие всем и каждому; есть креолки, такие же белые, как мы с вами, — они любят белых до страсти, это и понятно в такой стране, где одни черные. И заметьте, что каждая из них богата, как Крез, — условие, выгодное при вступлении в брак.

Имеете вы слабость к вину? И в этом отношении там пречудесно — есть вина всевозможных сортов: и малага, и бордо,

и шампанское. Не рассчитывайте только встретить там бургонского — не хочу вас обманывать, бургонское не выносит моря; что касается других вин всего земного шара — то их сколько угодно, по шести су бутылка, принимая в соображение конкуренцию. Да, господа, по шести су, и это вас нисколько не удивит, когда вы узнаете, что часто сто, двести, триста кораблей, нагруженных винами, в одно и то же время входят в гавань. Представьте себе затруднительное положение капитанов; они спешат вернуться и сваливают свой груз на землю, объявляя, что они будут слишком счастливы, если публика согласится черпать бесплатно из их бочонков.

Но это еще не все: как вы думаете, ведь приятно всегда иметь сахар под рукой? Я уже не говорю о кофе, ананасах, апельсинах, гранатах, померанцах и тысяче самых прекрасных плодов, которые растут сами по себе, без ухода, как в земном раю; не стану также распространяться об индийских ликерах, приятно щекочущих глотку.

Если бы я обращался к женщинам и детям, то стоило бы распространиться об этих лакомствах: но я говорю с мужчинами. Я знаю по опыту, что родители обыкновенно из кожи лезут, чтобы отвлечь молодых людей от пути, на котором они могут найти счастье и богатство, но будьте рассудительнее папенек, и в особенности маменек.

Не слушайтесь их, если они станут стращать вас, что дикие живьем пожирают европейцев, — все это дело прошлого, времен Христофора Колумба или Робинзона Крузо.

Не слушайтесь их, если они станут стращать вас желтой лихорадкой. Желтая лихорадка! Господа, если бы она была так ужасна, как уверяют, то по всей стране только и были бы понастроены больницы, а видит Бог, их там ни одной нет!

Понятно, вас еще напугают климатом. Я слишком откровенен, чтобы с этим не согласиться: климат там очень жаркий, но природа так щедро наделила прохладительными напитками всевозможных сортов, что жару даже и не замечаешь.

Вас станут стращать ядовитыми насекомыми, гремучими змеями. Успокойтесь, разве вы не имеете в своем распоряжении толпу невольников, чтобы отгонять насекомых? Что касается змей, то ведь они шумом гремушек объявляют о своем приближении.

Вам наскажут сказок и небылиц о кораблекрушениях. Знайте же, что я пятьдесят семь раз совершал плавание по морям, тысячу раз видел тропики, для меня пропутешествовать от одного полюса до другого — все равно, что выпить стакан воды, и на океане, где нет ни дорог, ни ухабов, я считаю себя в большей безопасности на корабле в 74 тонны, нежели в какой-нибудь душной карете или в омнибусе, который ходит из Парижа в Сен-Клу. Надеюсь, этого довольно, чтобы рассеять ваши опасения. Я мог бы еще дополнить эту картину прелестей жизни в Индии… я мог бы порассказать вам о наслаждениях охоты, рыбной ловли. Представьте себе лес, где дичь до того доверчива, что и не думает спасаться бегством, и так робка, что стоит погромче закричать, чтобы свалить ее на землю. Представьте себе реки и озера, до того обильные рыбой, что вода то и дело выступает из берегов.

Я чуть не забыл упомянуть о лошадях: лошадей, господа, там столько, что шагу нельзя сделать, чтобы не встретить их тысячи… словно стада овец. Вы, может быть, любители лошадей, желаете верхом ездить? Стоит только запастись веревочкой подлиннее. Из предосторожности следует завязать петлю. Вы пользуетесь минутой, когда лошади пасутся, тогда они ничего не подозревают, подкрадываетесь, выбираете любую и набрасываете свою петлю. Лошадка — ваша, остается только или сесть на нее верхом или вести ее под уздцы, если сочтете удобным, — здесь всякий свободен в своих действиях.

Да, господа, повторяю, все это сущая правда, уверяю вас. В доказательство этого король французов, Его Величество Людовик XVI, который мог бы меня слышать из своего дворца, уполномочил меня предложить вам от его имени эти

благодеяния. Посмел бы ли я обманывать вас чуть ли не в его присутствии?

Король желает одеть, обуть и накормить вас; он хочет осыпать вас богатством; взамен этого он ничего не требует от вас; работать не придется, денег вволю, ешь до отвалу, ложись спать и вставай, когда заблагорассудится, — только раз в месяц королевский парад.

Уж что касается этого, то вам от парада не вывернуться, разве получите дозволение, в котором, впрочем, никогда и не отказывают. Исполнив эти обязанности, вы свободны, как птицы Божий, чего вам еще больше? Хорошей должности? У вас она будет, только поторопитесь. Предупреждаю вас, что завтра уже будет, может быть, слишком поздно. Суда уж готовы к отплытию — ждут только попутного ветра, чтобы сняться с якоря… Поспешайте же, парижане. Если, паче чаяния, вам наскучит хорошая жизнь, то в гавани вы всегда найдете корабль, готовый перевезти в Европу тех, кто страдает тоской по родине.

Пусть приходят ко мне все желающие узнать ближайшие подробности, мне нет надобности сообщать вам своего имени — меня и так всегда знают. Живу я в двух шагах отсюда, у первого фонаря, в доме виноторговца. Вы спросите Бель-Роза.

Положение, в котором я находился, заставило меня внимательно выслушать эту речь; я запомнил каждое слово Бель-Роза, и, хотя с тех пор прошло двадцать лет, я повторяю ее, не пропустив ни единого словечка. Речь произвела не менее сильное впечатление и на Фанфана. Мы стали совещаться между собой, как вдруг какой-то долговязый олух, на которого мы не обращали ни малейшего внимания, влепил Фанфану звонкую оплеуху и повалил его наземь.

— Я научу тебя другой раз косо смотреть на меня, грубиян!

Фанфан был окончательно ошеломлен ударом, я хотел защитить его; наглец поднял руку и на меня. Скоро нас

окружила толпа — свалка становилась серьезною. Публика занимала места, как для зрелища. Вдруг какой-то человек пробивается чрез толпу — это Бель-Роз.

— Что случилось? — сказал он, показывая на Фанфана, который плакал горькими слезами. — Кажется, этот господин получил оплеуху. Дело плохо, но он малый храбрый, я уж вижу по глазам — дело устроится.

Фанфан старался доказать, что Бель-Роз не ошибся и, во-вторых, что он, Фанфан, не получал пощечины.

— Все равно, дружище, — возразил Бель-Роз, — вам необходимо драться.

— Конечно, — заключил обидчик, — дело без этого не обойдется. Этот господин оскорбил меня — он за это ответит, один из нас должен остаться на месте.

— Ну ладно, вы получите удовлетворение, — ответил Бель-Роз, — за этих господ я ручаюсь. Назначайте час.

— Назначайте сами!

— Пять часов утра, позади епископского дома. Я принесу рапиры.

Слово было дано, наш противник удалился, и Бель-Роз, хлопнув по животу Фанфана в то место, где жилетный карман, — причем зазвенело несколько монет, остаток нашего прежнего величия, сказал:

— Клянусь честью, голубчик, я сильно интересуюсь вами, пойдемте со мной. Вы также не будете лишним, — прибавил он, ударив меня по животу, как и Фанфана.

Бель-Роз повел нас в улицу Жюивери, до кабачка, куда мы и вошли по его приглашению: «Я с вами не войду, — сказал он, — но такой человек, как я, должен заботиться о соблюдении приличий; я сброшу сначала свой мундир и сию же минуту присоединюсь к вам. Спросите бутылку с красной печатью и три стакана». Бель-Роз покинул нас. «Не забудьте же, с красной печатью», — прибавил он, оборачиваясь.

Мы в точности исполнили приказания Бель-Роза, который не замедлил вернуться; мы встретили его, почтительно снявши шапки. «Полноте, дети, — сказал он, — наденьте шапки без стеснений. Я присяду к вам; где мой стакан? — Он опорожнил его залпом. — У меня страшная жажда — точно засело что в глотке».

Продолжая говорить, Бель-Роз опорожнил другой стакан, обтер лоб платком, положил оба локтя на стол и принял таинственный вид, который начал беспокоить нас.

— Так-то, друзья мои, завтра мы деремся. Знаете ли, — обратился он к Фанфану, у которого душа ушла в пятки, — вам придется иметь дело с сильным противником, он в этом деле мастак.

— Неужели? — растерянно пробормотал Фанфан, поглядывая на меня.

— Ну да, я не шучу, он хоть кого за пояс заткнет; но это еще не все; считаю своим долгом предупредить вас, что у него чертовски несчастливая рука.

— У меня не лучше! — воскликнул Фанфан.

— Как, и у вас тоже?

— Очень просто, когда я был у хозяина, то не проходило дня, чтобы чего-нибудь не разбил, хоть тарелку.

— Совсем не то, дружок, — возразил Бель-Роз. — Я хочу сказать, что он всякий раз, как дерется, непременно убивает своего противника.

Дело было ясно — Фанфан дрожал всем телом, по лбу его струились крупные капли пота, его свежие щеки покрылись белыми пятнами, лицо удлинилось, сердце упало, — он задыхался. Наконец он разразился глубочайшим вздохом.

— Браво! — воскликнул Бель-Роз, пожимая ему руку. — Люблю людей храбрых… Ведь вы не боитесь? — Потом, стукнув кулаком по столу: — Эй, мальчик, бутылку того же самого, слышишь? Этот господин угощает… Встаньте-ка, любезный

друг, выпрямитесь, протяните руку, согните ее, встаньте боком — вот так, прекрасно, восхитительно, чудесно!

И тем временем Бель-Роз продолжал опоражнивать стакан за стаканом.

— Клянусь честью, я хочу из вас сделать настоящего фехтовальщика. Знаете ли, что вы сложены на славу, из вас вышел бы отличный солдат — трудно найти лучше. Жалко, что вы не упражнялись в фехтовании. Но нет, быть не может, вы посещали фехтовальные залы!

— Клянусь вам, никогда в жизни, — защищался Фанфан.

— Признайтесь, вы дрались на дуэли.

— Никогда.

— Не скромничайте, к чему скрываться, я, право, не понимаю…

— Уверяю вас, — вступился я, — что он никогда даже не прикасался к рапире во всю свою жизнь.

— Уж если вы так уверяете, то я принужден вам поверить. Но знаете ли, вы оба продувные малые, такого старого воробья, как я, не проведешь, сознайтесь в истине, не бойтесь, что я выдам вас, разве я не друг вам? Если вы мне не доверяете, то мне уж лучше уйти. Прощайте, господа! — продолжал Бель-Роз рассерженным голосом, направляясь к двери.

— Ах, г. Бель-Роз, не покидайте нас, — воскликнул Фанфан. — Каде вам повторит, что я говорил вам сущую правду; я по ремеслу пирожник — не моя вина, если у меня есть способности к оружию. Я держал в руках скалку для теста, но никогда…

— Я так и знал, что вы непременно чем-нибудь орудовали… Я люблю откровенность, у вас она есть — это лучшая добродетель для вашей карьеры. С вашей искренностью далеко пойдешь; я уверен, что из вас вышел бы добрый воин. Но пока не в этом дело. Мальчик, еще бутылочку. Черт меня возьми, я никогда бы не поверил, что вы в жизнь свою не

дрались… Ну, все равно, для меня высшее счастье оказывать помощь юношеству: я научу вас одному удару, одному только маленькому удару. (Фанфан выпучил на него удивленные глаза). Только обещайте мне не выдавать его никому.

— Клянусь, не выдам! — воскликнул мой приятель.

— Вы будете первый, кому я доверяю свою тайну. После этого вы увидите, люблю ли я вас! Завтра я вас посвящу в свою тайну.

С этой минуты Фанфан ожил и почти оправился от страха; он осыпал Бель-Роза выражениями благодарности и смотрел на него, как на своего спасителя. Мы выпили еще по стаканчику, не переставая, с одной стороны, благодарить, с другой стороны, изъявлять участие; наконец, когда становилось поздно, Бель-Роз с достоинством простился с нами. Перед уходом он был настолько любезен, что указал нам место, где мы могли отдохнуть.

— Отправьтесь от моего имени, — сказал он, — в гостиницу Гриффон, в улице Мортельери, скажите, что пришли по моей рекомендации, а потом спите спокойно и будьте уверены, что все обойдется благополучно.

Фанфан не заставил себя просить и заплатил за угощенье.

— Ну, прощайте, — проводил нас Бель-Роз, — я приду будить вас.

Мы отправились в Гриффон, где нас уложили спать. Фанфан не мог сомкнуть глаз от волнения — может быть, он горел нетерпением узнать пресловутый удар, который обещался показать ему Бель-Роз, может быть, он трусил — последнее вернее.

На рассвете мы услышали, как отворилась дверь и кто-то вошел к нам в комнату: «Эй, вы, сонные тетери! Кто же спит в такой час, живей на ноги!» — крикнул он. Мы вскочили, как встрепанные. Едва мы успели одеться, как он отвел Фанфана в сторону, удалился с ним куда-то на несколько минут, потом они снова вернулись вместе.

— Ну, пора нам, — сказал Бель-Роз, — только чур не дурить! Так помните же, мой удар — кварта, и больше ничего, только одна кварта, и он в ваших руках.

Фанфан, несмотря на полученный им урок, был как в воду опущенный; когда мы пришли на назначенное место, он был ни жив, ни мертв. Наш противник и его секундант были уже на месте.

— Вот здесь вам драться, — сказал Бель-Роз, взяв рапиры, которые передал мне. — Ну, кажется ни одному из вас не войдет в брюхо ни на вершок больше, нежели другому, — сказал он, смерив клинки. — Ну, молодчик, берите-ка, — сказал он Фанфану, подавая ему скрещенные рапиры.

Фанфан колеблется, Бель-Роз повторяет приглашение, Фанфан судорожно схватывает рапиру, но так неловко, что она вываливается у него из рук.

— Все это вздор, — говорит Бель-Роз, подымая рапиру и снова вручая ее Фанфану. — Ну, становиться в позицию! Посмотрим, кто кого одолеет!

— Постойте на минутку, — перебивает секундант другого, — мне надо к вам обратиться с вопросом. Милостивый государь, — сказал он Фанфану, который едва стоял на ногах, — мне надо знать, вы не фехтмейстер и не бретер?

— Что такое? — прошептал Фанфан едва слышным голосом.

— По законам дуэли, — продолжает секундант, — я обязан потребовать от вас клятвы на честное слово, что вы не фехтмейстер и не бретер.

Фанфан безмолвствует и бросает на Бель-Роза вопросительные взгляды, как бы умоляя его помочь ему.

— Говорите же, — настаивает секундант.

— Я… я только ученик… — лепетал он в смущении.

— Ученик… говорится любитель, — заметил Бель-Роз.

— В таком случае, господин любитель, сейчас же разденьтесь, мы желаем освидетельствовать вас.

— Это верно, — сказал Бель-Роз, — об этом-то я и не подумал; ну ладно, раздевайтесь, живей, Фанфан, долой платье и белье!

Фанфан состроил жалкую физиономию; рукава его камзола вдруг стали необычайно узки; он расстегивался снизу и снова застегивался сверху. Скинув жилет, ему никак не удавалось развязать тесемки у ворота — пришлось разрезать узел. Наконец он очутился голым, в одних только панталонах. Бель-Роз вручает ему рапиру:

— Ну, живей, друг сердечный, становитесь в позицию!

— Защищайся! — кричит его противник; оружие скрещивается, рапира Фанфана дрожит и судорожно мечется — рапира его противника, напротив, неподвижна и непоколебима; Фанфан того и гляди, что упадет в обморок.

— Ну, будет, довольно, — в один голос восклицают Бель-Роз и другой секундант, бросаясь на рапиры, — достаточно, вы оба храбрецы, мы не допустим вас перерезать друг другу горло; помиритесь, поцелуйтесь и забудьте обо всем. Дело прошлое. Черт возьми! Не убивать же такого молодца… Но клянусь честью, он храбрец, каких мало. Успокойтесь же, Фанфан.

Фанфан вздохнул свободнее; он окончательно оправился, когда его убедили в его храбрости; его противник ради приличия поломался немного, прежде нежели согласиться на мировую; но в конце концов смягчился. Оба противника поцеловались, и было условлено довершить мировую сделку, позавтракав вместе в певческом кабаке около Нотр-Дам, где есть славное вино.

Когда мы пришли туда, стол был уже накрыт, завтрак готов — ждали только нас. Бель-Роз отвел в сторонку Фанфана и меня.

— Ну-с, друзья мои, вы теперь знаете, что такое дуэль — не Бог весть какая премудрость, я вами доволен, любезный Фанфан, вы вели себя героем. Но дело в том, чтобы не уронить

себя до конца, вам не следует допускать, чтобы он платил за завтрак.

При этих словах лицо Фанфана омрачилось — он знал печальное состояние нашего общего кошелька.

— Эх, дружище, полноте, вздор какой, — прибавил Бель-Роз, заметив его затруднение, — Если вы не при деньгах, то я за вас поручусь. Хотите денег? Хотите тридцать франков, хотите шестьдесят? Между друзьями что за стеснение! — И он вынул из кармана двенадцать экю по шести ливров. — Вот вам на двоих, — сказал он, — денежки-то новенькие, это счастье приносит.

Фанфан колебался.

— Да берите же, отдадите, когда можете. На таком условии вы не рискуете ничем, занимая у меня.

Я тихонько толкнул локтем Фанфана, желая сказать ему: «Да бери же, наконец, когда дают». Он понял намек, и мы положили деньги в карман, тронутые добрым сердцем Бель-Роза.

Скоро нам пришлось солоно от этих денежек. Вот что значит быть неопытными.

Завтрак прошел весело: много толковали о скупости родителей, о сквалыжничестве мастеровых-хозяев, о счастьи быть независимыми, о громадных богатствах, которые можно добыть в Индии; названия — Капской земли, Шандернагора, Калькутты, Пондишери, Тибо-Салба — были ловко вклеены в разговор; рассказали несколько примеров о громадных состояниях, нажитых молодыми людьми, недавно приглашенными Бель-Розом.

— Говоря не хвастаясь, — сказал он, — у меня рука пресчастливая. Давно ли кажется пригласил хоть бы этого маленького Мартена, а теперь, глядите-ка, он в набоба превратился — катается как сыр в масле. Я пари держу, что он заважничался и если встретит меня, — так и не узнает. О, много неблагодарных на белом свете! Но что ж делать, таков наш общий удел!

За столом просидели долго… За десертом Бель-Роз снова начал толковать о прекрасных фруктах Антильских островов. Подали дорогие вина. «Да здравствует капское вино! Вот вино, так вино!» — воскликнул он; за кофе он стал восхищаться мартиникским; принесли коньяк — он поморщился: «Ну уж это и в подметки не годится божественному ямайскому рому». Ему налили ликера. «Это еще можно пить, — заметил он, — но все-таки оно далеко не то, что восхитительные ликеры знаменитой мадам Анфу».

Бель-Роз поместился между мной и Фанфаном. Во все время завтрака он осыпал нас попечениями, не переставая напевать нам: «Опорожняйте стаканы. Что вы за мокрые курицы, виданное ли это дело, да ну же берите с меня пример! Глядите, как я глотаю».

Эти понуканья произвели свое действие. Фанфан и я, мы порядком нализались, в особенности он.

— Мосье Бель-Роз, далеко нам еще от колоний Шамбернагора, Серингапатама?.. Далеко еще?.. — бормотал он то и дело. Ему казалось, что уж он на корабле и едет в Индию.

— Терпение! — успокаивал его Бель-Роз. — Скоро приедем, а пока я расскажу вам кое-что. Раз я был дежурным у губернаторских ворот.

— Слышите ли, он губернатором был! — бессвязно повторял за ним Фанфан.

— Да замолчите же, не мешайте, — рассердился Бель-Роз, зажимая ему рот, — я только солдатом был тогда, — продолжал он. — Я спокойно сидел перед своей будкой, отдыхая на диване, как вдруг негр, который нёс мое ружье… Надо вам знать, что в колониях уж так заведено, чтобы каждый солдат имел двух невольников, мужчину и женщину; это слуги, с которыми вы делаете что вам угодно, и если они вам не по сердцу, так вы можете их казнить или миловать, можете даже прихлопнуть их, как мух. Что касается женщины, то она также в полном вашем распоряжении. Итак, я был на карауле, мой негр нёс мое ружье…

Едва успел Бель-Роз произнести эти слова, как в залу вошел солдат в полной форме и вручил ему письмо, которое он поспешно распечатал. «От военного министра, — сказал он, — его превосходительство г. Сартин пишет мне, что я по приказу короля обязан немедленно отправиться в Суринам. Черт возьми, — обратился он к нам, — не думал не гадал так скоро с вами расстаться. Ну все равно! Вам же больше останется!..»

Бель-Роз схватил стакан правой рукой и стал изо всех сил колотить по столу. Между тем наши собутыльники друг за другом ускользнули в отворенную дверь. Наконец показалась служанка.

— Эй! Счет подать и позвать хозяина!

Хозяин является со счетом.

— Удивительно, какие это приняло почтенные размеры, — замечает Бель-Роз, — неужто сто девяносто ливров, двенадцать су, шесть денье? Уж это слишком, Ниве, вы нас грабите, да и только. Например, вот пункт, который я ни за что не пропущу вам: четыре лимона — двадцать четыре су. Во-первых, лимонов было только три — первая ошибка. Семь получашек: мило, оказывается, что проверять-то вас нелишнее, — нас было всего шестеро. Божусь, что открою еще неточности… Спаржа — восемнадцать ливров — это уже чересчур!

— Как, в апреле-то? — заметил Ниве. — Новая новинка!

— Ваша правда, продолжаю: горошек, артишоки, рыба. Посмотрим-ка, что скажет земляника… двадцать четыре ливра… ну уж нечего сказать… Что касается вина, то цены еще сносны… Теперь поймаю вас на сложении: сношу нуль, один в уме, три в уме… Ну, итог верен, двенадцать су спустить, потом шесть денье — остается сто девяносто ливров. Доверяете мне настолько, старичок Ниве?..

— Ну нет, — ответил трактирщик, — вчера еще ладно, сегодня другое дело, на суше кредит можно сделать, а когда вы

будете плавать в вашей ореховой скорлупе, где я вас стану отыскивать? В Суринаме, что ли? К черту должников за море!.. Предупреждаю вас, что вы не выйдете отсюда, пока не заплатите. Впрочем, я пошлю за полицией, тогда мы увидим…

Ниве удалился, по-видимому, разгневанный.

— Он на это способен, — сказал Бель-Роз, — но мне пришла в голову одна мысль — большая беда требует сильных средств. Я думаю, вам так же неприятно, как и мне, попасть в кутузку с жандармами. Король назначил на каждого человека, поступающего на службу, по сто франков; вас двое, это составит двести… вам стоит только подписаться, я сбегаю, получу деньги, в одну минуту возвращусь и освобожу вас. Как вы об этом думаете?

Мы с Фанфаном молчали.

— Как! Вы колеблетесь? Ну, право, я был о вас лучшего мнения, а я-то готов для вас в огонь и воду… и к тому же, попадая на службу, вы вовсе не теряете… Ох, Господи, как бы мне хотелось иметь ваш возраст и мой опыт!.. Когда молод, то никогда не пропадешь. Полноте, решайтесь! — продолжал он, подавая нам бумагу, — куйте железо, пока горячо, подмахните свое имя под этим листом.

Бель-Роз настаивал так горячо, а мы так опасались полиции, что делать было нечего — пришлось подписать.

— Вот дело! — воскликнул он. — Хвалю. Если вы когда пожалеете о своем решении, то всегда есть время одуматься — стоит только возвратить денежки; но до этого мы не дойдем… Терпение, друзья мои, я вернусь в одну минуту.

Бель-Роз удалился и возвратился почти немедленно.

— Теперь с нас снят арест, — сказал он, — теперь мы свободны убраться подобру-поздорову или остаться здесь — как нам заблагорассудится; но я вспомнил, что вы еще не видели мадам Бель-Роз, я хочу вас познакомить с ней; вот, скажу вам, умная женщина, чертовски умная женщина!

Бель-Роз повел нас к себе; квартира его была не из блестящих — две комнатки на заднем дворе в доме довольно подозрительного вида, недалеко от арки Марион. Мадам Бель-Роз была распростерта на кровати под балдахином в глубине второй комнаты; голова ее покоилась на груде подушек. Около постели стояли два костыля, а с другой стороны — ночной столик, на котором лежали плевательница, роговая табакерка, серебряный кубок и бутылка водки. Г-же Бель-Роз на вид было лет сорок пять — пятьдесят; она была одета в элегантное неглиже и пеньюар, обшитый кружевами. Лицо ее было искусно размалевано. В самый момент нашего появления с ней сделался жестокий припадок кашля. «Погодите, пока она кончит», — обратился к нам Бель-Роз. Наконец кашель стих.

— Ты можешь говорить, милочка?

— Да, мой котик, — ответила она.

— Ну, так сделай одолжение, расскажи этим господам, какие состояния можно нажить в колониях.

— Громадные, мосье Бель-Роз, громадные!

— Какие партии там находят?

— Какие партии? Блестящие, мосье Бель-Роз, блестящие — самая бедная из наследниц приносит в приданое миллионы пиастров!

— А жизнь какую там ведут?

— Жизнь любого каноника, мосье Бель-Роз.

— Вот видите ли, — сказал супруг, — я ведь не заставлял ее говорить все это.

Фарс был разыгран. Бель-Роз предложил выпить, чтобы освежиться, малую толику рому: мы чокнулись с его супругой, выпили за ее здоровье, а она со своей стороны пожелала нам счастливого пути. «Ведь я полагаю, — прибавила она, — что эти господа принадлежат к нашей компании; у вас, друг мой, — прибавила она, обращаясь к Фанфану, — у вас такая фигура, которая больше всего нравится в этой стране: плечи

в косую сажень, грудь широкая, ноги сильные, нос орлиный». Потом, обращаясь ко мне: «А вы также неплохи — оба вы молодцы».

— Заметь также, что они не позволят наступить себе на ногу, нет не позволят, — вставил Бель-Роз. — Вот этот самый господин доказал свою храбрость не далее, как сегодня утром.

— Ах, неужто? От души поздравляю вас; я всегда имела слабость к молодым людям — это моя страсть. Ведь ты не ревнуешь, Бель-Роз?

— Ревновать! Вот пустяки-то! Этот господин был героем храбрости; я об этом не могу не уведомить полк — это будет известно и начальнику. Повышение наверняка… по крайней мере, капралом будет, если не офицером… Гм, когда будете щеголять в эполетах, голову-то высоко небось задерете?

Фанфан ног под собой не чувствовал от радости. Я, со своей стороны, был уверен, что я, по меньшей мере, настолько же храбр, и думал про себя; «Если он будет повышен, то уж я-то от него не отстану». Мы оба были на седьмом небе.

— Мне необходимо предупредить вас, — продолжал вербовщик, — вот насчет чего; вы прекрасно зарекомендовали себя и, наверное, пойдете в гору, причем вам невозможно будет избегнуть завистников; их много во всех полках, как и повсюду… но помните, что если вас хоть пальцем тронут, то я вступлюсь за вас… Уж если кто под моим покровительством… впрочем, довольно, вы меня понимаете. Пишите мне.

— Как! — воскликнул Фанфан. — Вы с нами не едете?

— К прискорбию, нет, — ответил Бель-Роз, — я нужен министру; я вас нагоню в Бресте. Завтра в восемь часов, не позже, я вас жду здесь, теперь мне некогда баклуши бить; служба службой. Итак, до завтра.

Мы распростились с мадам Бель-Роз, которая изъявила желание облобызаться и со мной. На другой день, рано

разбуженные клопами, которые изобиловали в Гриффоне, мы в половине восьмого были уже на месте.

— Люблю людей аккуратных! — воскликнул Бель-Роз, завидев нас. — Как видите, я тоже аккуратен.

Потом он прибавил строгим тоном:

— Если у вас есть друзья или знакомые, то вам остается еще целый день, чтоб с ними распроститься. Вот ваш дорожный паспорт, прогонов вам полагается три су с мили с квартирой, отоплением и освещением. Вы можете не останавливаться на этапах, если вам заблагорассудится, это дело не мое; но не забывайте, что если вас завтра вечером встретят в Париже, то спровадят по назначению с жандармами.

Эта угроза нас окончательно смутила; каша была заварена — приходилось расхлебывать ее: мы покорились своей судьбе. От Парижа до Бреста знатный конец; невзирая на усталость и волдыри на ногах, мы храбро совершали наши определенные десять лье в день. Наконец мы прибыли на место, раз тысячу проклянув Бель-Роза. Месяц спустя мы отплыли на корабле, а десять лет спустя, день в день, я получил сразу чин капрала, Фанфан также. Он погиб в Сан-Доминго во время экспедиции Леклерка — жертвой негрской накожной болезни; славный малый был! Царство ему небесное. Что касается меня, то я и до сих пор могу похвастаться зоркими глазами и крепкими ногами — машина еще годится, и не случится аварии — так я еще вас всех переживу. Много мне пришлось вынести превратностей в свою жизнь; судьба меня перебрасывала из одной колонии в другую, всюду я побывал, скитался — и от этого не сделался богаче; ну да все равно, веселый народ не пропадает…

— И потом, когда все вышло, так еще кое-что остается, — продолжал сержант Дюфайльи, хлопнув по карманам своего потертого мундира и приподнимая жилет, чтобы показать нам кожаный пояс, который битком был набит и чуть не лопался.

— Есть там малая толика желтушек. Индийская компания мне еще состоит в долгу; получу должок с первым трехмачтовым.

— А пока вам хорошо живется, дядюшка, Дюфайльи? — сказал фурьер.

— Ничего, недурно, — повторил он.

«Да, хорошо», — подумал я про себя, решившись поддержать это случайное знакомство, приобретенное так кстати.

Глава семнадцатая

Продолжение того же дня. — Современница. — Плац-адъютант. — Дочери мадам Тома. — «Серебряный лев». — Капитан Поле и его лейтенант. — Корсары. — Бомбардировка. — Отъезд лорда Лоудердэля. — Переодетая комедиантщица. — «Палач черепов». — Мадам Анри и ее девицы. — Я отправляюсь в плавание. — Морское сражение. — Гибель помощника капитана Поле. — Взятие военного брига. — Мой двойник. — Я переменяю имя. — Смерть Дюфайльи. — День крещения. — Крушение фрегата. — Я хочу спасти двух любовников. — Жены рыбаков

Изображая перед нами сцену с вербовщиками, старик Дюфайльи не переставал пить после каждого слова. Он придерживался того мнения, что речь свободнее льется, когда смачиваешь глотку; конечно, он мог бы заливать свой рассказ водою, но он питал отвращение к воде, по его словам, с тех пор, как упал в море, — это приключение случилось с ним в 1789 году. Рассказывая и попивая, он опьянел, сам не замечая того. Наконец он дошел до того, что ему стоило невероятных усилий выражать свои мысли: язык стал неповоротлив. Тогда фурьер и сержант нашли, что пора разойтись.

Дюфайльи и я остались вдвоем; он задремал, опершись на стол, и вскоре раздался его богатырский храп, а я тем временем спокойно переваривал завтрак, предавался своим размышлениям. Прошло часа три — он не просыпался. Наконец выспавшись, он был удивлен, увидев, что не один. Сначала он различал меня сквозь густой туман, который застилал ему глаза, но винные пары скоро рассеялись, и он узнал меня. Но более он ни на что не был способен. Приказав подать себе кружку черного кофе и опрокинув в нее целую солонку, он выпил эту жидкость маленькими глотками, потом встал, шатаясь, повис на моей руке, увлекая меня по направлению к двери; моя опора была для него более чем необходима, он был беспомощен, как грудной ребенок.

— Ты тащи меня на буксире, а я буду лоцманом. Видишь телеграф? Что он говорит, задрав кверху руки? Он извещает, что Дюфайльи плывет против ветра… Слышите ли, Дюфайльи, — в триста тонн, по крайней мере. Не беспокойся, он не собьется с пути, Дюфайльи!

И в то же время, не выпуская моей руки, он снял шляпу и, повертывая ее на кончике пальца, кричал:

— Вот мой компас! Внимание — держу гафель со стороны кокарды… Нос к улице Рыбаков, вперед марш! — скомандовал Дюфайльи, и мы вместе направились в нижнюю часть города.

Дюфайльи обещал дать мне совет, но в настоящую минуту он был решительно ни на что не годен. Мне ужасно хотелось, чтобы он очнулся; к несчастью, движение и свежий воздух оказали на него действие противоположное. Спускаясь вниз вдоль большой улицы, мы не пропускали ни одного дрянного кабачка, которых развелось многое множество вследствие квартировки армии; повсюду мы делали более или менее продолжительную стоянку, несмотря на мое желание выиграть время; каждая пробка, по выражению Дюфайльи, служила якорным местом, где необходимо было остановиться, а каждая остановка еще более увеличивала груз, который я волочил с таким трудом.

— Я нализался, как подлец! — повторял от времени до времени мой спутник. — А между тем я вовсе не подлец, ведь не одни подлецы напиваются, правда, дружище?

Двадцать раз я уже решался отвязаться от него, но трезвый Дюфайльи мог быть для меня якорем спасения; я вспомнил его битком набитый кожаный пояс и отлично сознавал, что он должен иметь другие источники для доходов помимо скудного жалованья сержанта. Дошедши до площади Альтон, против церкви, ему пришла в голову фантазия вычистить свои сапоги.

— Ваксы первый сорт, слышишь ли!.. — приказал он, поставив ногу на скамейку.

— Слушаюсь, господин офицер, — ответил чистильщик. В эту минуту Дюфайльи потерял равновесие; я полагал, что он свалится, и спешил поддержать его.

— Эй, земляк, ты боишься боковой качки, что ли, не беспокойся, у меня ноги покрепче твоих, недаром я моряк.

Между тем чистильщик быстрыми взмахами щетки вымазал ему весь сапог ваксой.

— А окончательный глянец до завтра! — сказал Дюфайльи, кладя су в руку чистильщика.

— Ну, от вас не разбогатеешь, франт.

— Что за пустяки он мелет? Берегись, не то как раз дерну тебя сапогом! — Дюфайльи замахивается, но его шапка, свалившаяся на затылок, падает на землю, ветер гонит ее дальше по мостовой; чистильщик бежит за ней и приносит обратно.

— Шапка-то двух грошей не стоит! — восклицает Дюфайльи. — Ну да все равно — ты добрый малый. — Порывшись в кармане, он вытаскивает горсть гиней. — Бери, выпей за мое здоровье…

— Много благодарен, господин полковник, — отвечал чистильщик, который согласовал чины со щедростью.

— Теперь, — сказал Дюфайльи, который, по-видимому, начинал приходить в себя, — я должен повести тебя в места злачные.

Я решился сопровождать его повсюду, куда бы он ни повел меня; я только что убедился в его щедрости и знал, что пьяницы — люди самые благодарные по отношению к тем, которые для них жертвуют собою. Поэтому я позволял вести себя, куда ему было угодно, и мы скоро пришли в улицу Precheurs. У ворот дома, нового и довольно изящного с виду, стоял часовой и несколько вестовых.

— Ну, мы пришли, — доложил он.

— Как, здесь? Вы привели меня в генеральный штаб?

— Что ты, шутишь, что ли, какой генеральный штаб! Здесь живет прелестная блондинка Маделена, или, как ее называют, супруга сорока тысяч солдат.

— Невозможно, земляк, вы ошибаетесь!

— Ну вот, я с ума еще не сошел, разве я не вижу часового?

Дюфайльи пошел вперед и осведомился, можно ли войти.

— Ступайте прочь, — грубо ответил гвардейский квартирмейстер, — чего лезете, ведь знаете, что не ваш день сегодня.

Дюфайльи настаивает.

— Ступайте, говорят вам, — повторил унтер-офицер, — или я вас отведу куда следует.

Эта угроза страшно испугала меня…

Упорство Дюфайльи могло погубить меня; между тем с моей стороны было бы неблагоразумно делиться с ним своими опасениями, да к тому тут и не место было; я ограничился тем, что сделал ему несколько замечаний; он продолжал противоречить мне и ничего и слышать не хотел.

— Наплевать мне на караул, солнце для всех светит, — повторял он, вырываясь от меня.

— Равенство… слышишь ли, равенство… — бормотал он, вперив в меня неподвижный взор пьяного, доведенного до степени животного.

Я уже потерял надежду сладить с ним, как вдруг очнулся, услышав крик: «К оружию!» — и торопливое замечание: «Канонер, живей улепетывай, вон плац-адъютант, вон сам Бевиньяк!»

Холодный душ на голову сумасшедшего едва ли оказал бы такое быстрое действие, как эти слова на моего спутника.

Имя Бевиньяка произвело необычайное впечатление на всех военных, выстроившихся фалангой перед нижним этажом дома, который занимала прелестная блондинка. Они поглядывали друг на друга исподлобья, боясь пошевелиться,

удерживая дыхание от страха. Плацадъютант, высокий, сухощавый мужчина уже пожилых лет, стал считать их, жестикулируя тростью. Никогда я не видел его до такой степени рассерженным; на этом длинном, худощавом лице, увенчанном двумя ailes de pigeons без пудры, было написано крайнее неудовольствие и негодование от недостатка дисциплины. У него гнев перешел в хроническое состояние — его глаза налились кровью, его лицо исказилось, и по безобразному движению скул можно было видеть, что он собирается говорить.

— Sapristi, молчать… чтоб все было тихо! Вы знаете порядки… одни только офицеры… черт возьми!.. И каждый по очереди…

Потом, увидев нас и замахиваясь на нас тростью, он воскликнул:

— А что ты тут делаешь, чертова перечница?

Мне показалось, что он собирается нас ударить.

— Ну, сойдет, это ничего не значит, я вижу, ты пьян, — продолжал он, обращаясь к Дюфайльи, — лишняя рюмка — это извинительно; слушай только: ложись проспись, живей с глаз моих долой.

— Слушаюсь, ваше благородие! — ответил Дюфайльи, и, повинуясь приказанию начальства мы снова спустились по улице.

Лишнее объяснять, каким ремеслом занималась прелестная блондинка, — об этом можно догадаться. Маделена из Пикардии была высокая девушка лет двадцати трех, с замечательно свежим цветом лица и редкой красотою форм; она гордилась тем, что не принадлежала никому исключительно — по принципу совести она считала себя собственностью целой армии: трубач или маршал, словом, все, кто носил военный мундир, все были приняты ею с одинаковою благосклонностью. Она питала непреодолимое презрение к «рябчикам» (штатским). Не было ни одного буржуа, который

мог бы похвастаться ее милостями; она даже пренебрегала моряками, которых обирала как липок, так как не могла решиться смотреть на них, как на солдат. Потому ли что Маделена была девушкой бескорыстной или по общему уделу подобных ей существ, — но она умерла в 1812 году в Ардрском госпитале в крайней бедности, но оставшись верной знаменам полка; два года спустя, после ужасной катастрофы при Ватерлоо, она с гордостью могла бы назвать себя «вдовой великой армии».

Воспоминание о Маделене еще до сих пор живет в разных концах Франции, скажу даже — всей Европы, среди остатков наших старинных фаланг. Она была «современницей» доброго старого времечка. Маделена имела черты лица несколько мужские, но, несмотря на ее жизнь, лицо ее не было пошлым; волосы ее не имели белесоватого оттенка, золотистый отлив ее густых кос вполне гармонировал с ее небесно-голубыми глазами; орлиный нос не отличался угловатостью и не выдавался резко вперед; рот, с чувственными губами, в то же время был изящен и добродушен; Маделена не умела писать и не зналась с полицией, разве давала на водку ради своего спокойствия городским сержантам и ночным блюстителям порядка.

Удовольствие, которое я чувствую, очерчивая двадцать лет спустя портрет Маделены, на минуту заставило меня забыть о Дюфайльи. Трудно прогнать мысль, засевшую гвоздем в голове, отуманенной винными парами. Дюфайльи задумал во что бы то ни стало окончить день в винном погребе — он не хотел отказаться от своего намерения. Едва мы прошли несколько шагов, как вдруг, оглядываясь назад, он сказал: «Он уж убрался, пойдем сюда», — и, вырываясь из моих рук, он быстро взобрался по ступеням и стал стучать в маленькую дверь; через несколько минут дверь приотворилась и оттуда высунулась сморщенная физиономия старухи.

— Что вам нужно?

— Что нам нужно? — повторил Дюфайльи. — Так ты нас не узнаешь, черт тебя возьми, друзей-то не узнаешь?

— А, это вы, дядюшка Дюфайльи. Места больше нет.

— Как! Для друзей места не найдется?! Ты надсмехаешься, кумушка Тома! Ты хочешь с нами штуку сыграть.

— Право, нет, как честная женщина, ты знаешь, старый шут, что я душой рада бы, да у нас теперь капитан колонновожатых да генерал Шамберлак; зайдите через четверть часика, дети мои. Вы ведь будете умницы, не правда ли?

— Нам ли это говорить? Разве мы похожи на буянов?

— Я и не говорю этого, ребята, но видите ли, дом-то у нас смирный, тихий, приходят все люди порядочные: главнокомандующий, полковник, главный интендант — уж у нас нельзя сказать, чтобы был недостаток в посетителях, слава тебе, Господи!

— Послушай, кумушка Тома, — возразил Дюфайльи, суя ей под нос золотую монету, — неужто ты нас спровадишь шляться целых четверть часа? Не найдется разве уголка для нас?

— Шутник, как и всегда, этот старичок Дюфайльи, нельзя ему ни в чем отказать. Ну живей, живей, войдите, чтоб вас не заметили, спрячьтесь здесь, ребята, и молчок!

Мадам Тома поместила нас в углу за ширмами, в большой комнате, которая вела к выходу. Нам недолго пришлось ждать: к нам скоро вышла девушка, которую звали Полиной, и уселась с нами за стол, на котором красовалась бутылка рейнвейна.

Полине еще не исполнилось пятнадцати лет, а уже цвет лица ее успел получить свинцовый оттенок, голос сделался хриплым — это была преждевременная развалина; она преимущественно занялась мной. Потом пришла Тереза — та более подходила к лысине и сединам моего товарища. Вдруг послышались быстрые шаги и звяканье шпор, возвещающие, что капитан колонновожатых удаляется. Дюфайльи в при-

падке усердия быстро вскакивает со стула, но ноги его путаются в палаше, он падает, увлекая за собой и ширмы, и стол с бутылкой и стаканами.

— Извините, ваше благородие, — кричит он, силясь подняться, — это все стена виновата.

— О, это вздор, — снисходительно ответил офицер, немного смущенный, но любезно приподымая упавшего. Полина, Тереза и мадам Тома хохотали до упаду.

Поставив Дюфайльи на ноги, капитан ушел, и так как падение не имело никаких дурных последствий, то ничто не препятствовало нам предаться веселости. В час ночи я был разбужен страшным шумом и гвалтом. Не подозревая в чем дело, я наскоро оделся.

Вопли мадам Тома, кричавшей: «Караул, режут!» — убедили меня, что опасность близка. При мне не было оружия; я бросился в комнату Дюфайльи с целью взять его тесак, уверенный в том, что сумею им лучше воспользоваться, нежели он. Пора было взяться за оружие: в дом ворвалось пять или шесть гвардейских матросов с саблями в руках и с шумом и грохотом требовали занять наши места. Эти господа простонапросто, недолго рассуждая, хотели нас выбросить за окно; они грозили предать все огню и мечу; мадам Тома в ужасе пронзительным голосом вопила тревогу — ее визг поднял на ноги весь квартал. Хотя я был человек не трусливого десятка, но, признаюсь, тут я струхнул порядком. Подобная сцена могла иметь для меня весьма печальную развязку.

Однако я решился действовать молодцом. Полина непременно хотела, чтобы я заперся с ней.

— Задвинь щеколду, прошу тебя! — упрашивала она. Но мы не были в безопасности на своем чердаке, я предпочитал драться, нежели позволить поймать себя, как крысу в мышеловке. Несмотря на старания Полины удержать меня, я попытался сделать вылазку. Скоро я начал драку с двумя нападающими; я подналег на них и погнал вперед по длинному

коридору, да так усердно, что прежде, нежели они успели опомниться и распознать друг друга, они уже катились вверх тормашками по ступеням лестницы до самого низа; там только они остановились, изнеможенные и разбитые. Тогда Полина, ее сестра и Дюфайльи, чтобы достойно отпраздновать победу, начали бросать на побежденных все, что им попадалось под руку: стулья, ночные сосуды, ночной столик, старое мотовило и другую домашнюю утварь. При каждом ударе наши противники, беспомощно распростертые на полу, испускали рев от боли и ярости. В одну минуту вся лестница была загромождена. Такой гвалт в ночное время не мог не вызвать тревогу на гауптвахте. Ночная стража, полицейские служители, патруль — вломились в квартиру мадам Тома. Там очутилось зараз до сорока человек с оружием в руках; шум и гам были невообразимые. Мадам Тома старалась доказать, что у нее дом скромный; ее слов не слушали, и до нас долетали отрывистые восклицания:

— Берите эту сволочь! Эй ты, негодница, ступай за нами… Заберите всех этих каналий… Всех их забрать, отнять оружие… Я научу вас, черти, подымать шум!..

Эти слова, произнесенные с провансальским акцентом и щедро приправленные крепкими словцами, которые, как красный перец и чеснок, считаются продуктами страны, показали нам, что во главе экспедиции был не кто иной, как сам Бевиньяк. Дюфайльи не очень-то желал попасть ему в руки. Что касается меня, то я имел еще больше причин удрать от него. «Загородить проход на лестнице!» — скомандовал Бевиньяк. Но пока он драл горло и выходил из себя, я воспользовался временем, чтобы привязать к оконной раме простыню, и опасность, угрожающая нам со стороны вооруженной силы, еще не миновала, как уже Полина, Тереза, Дюфайльи и я спустились вниз. Нам вслед кричали: «Не беспокойтесь, голубчики, я вас не выпущу»… Но эти крики еще более возбудили нашу веселость — опасность миновала.

Мы стали судить-рядить, куда нам отправиться на ночлег. Тереза и Полина предложили идти за город, где всегда можно было найти готовые постели.

— Нет, нет, — прошептал Дюфайльи, — пойдем поближе, к «Серебряному льву», к Бутруа.

Согласились приютиться на ночь в этой гостинице. Несмотря на то, что час был неурочный, Бутруа впустил нас с очаровательным радушием и сказал, обращаясь к Дюфайльи: «Очень любезно с вашей стороны было вспомнить обо мне; у меня есть чудесный бордо. Не желают ли чего эти дамы?» И Бутруа, вооруженный громадной связкой ключей и с подсвечником в руках, повел нас в назначенную для нас комнату.

— Вы здесь будете, как дома. Во-первых, вас здесь не потревожат: когда кормишь воинского начальника, главного начальника флота и генерального комиссара полиции, то, поймите, не осмелились бы… Во-вторых, — прибавил он, — мадам Бутруа, моя супруга, шутить не любит, поэтому я скрою от нее, что вы пришли не одни; она добрейшая женщина, мадам Бутруа, но, понимаете, нравственность — на первом плане: на этот счет она строга и не принимает никаких резонов. Женщины здесь! Беда, если б она только подозревала это, и к тому же, у нее есть дочери! А я так рассуждаю: отчего не пожить всласть! Я в этом отношении философ, только лишь бы скандала не было… А если бы и случился скандальчик, эка важность, всякий веселится по-своему; главное дело, ведь это никому не помешает!

Бутруа высказал нам еще несколько истин в том же духе, после чего он объявил нам, что у него погреб отличный и что весь он к нашим услугам.

— Что касается печки, то в такой поздний час она, наверное, немного простыла, но вашей милости стоит только приказать, все живо будет готово.

Дюфайльи спросил бордо и велел развести огонь, хотя было не холодно и можно было бы и без этого обойтись.

Подали бордо, в очаг бросили пять или шесть больших поленьев, на столе появилась обильная закуска. Посредине красовалось холодное жаркое и составляло капитальное основание нашего импровизированного ужина, где все было рассчитано на удовлетворение волчьего аппетита. Дюфайльи хотел, чтобы ни в чем не было недостатка; Бутруа, уверенный в том, что ему хорошо заплатят, позаботился обо всем.

Тереза и ее сестра пожирали яства глазами, у меня также разыгрался аппетит.

Пока разрезали жаркое, Дюфайльи наслаждался бордо. «Очаровательно, упоительно», — повторял он, прихлебывая маленькими глотками с видом знатока; потом принялся пить стаканами, и едва мы успели приняться за ужин, как непреодолимый сон приковал его к креслу и он до самого десерта проспал сном праведным. Проснувшись, он воскликнул:

— Черт возьми, что это я чувствую прохладный ветерок! Где мы? Уж не мороз ли на дворе, мне что-то не по себе!

— Он пьян как стелька, — шепнула Полина, которая не отставала от меня не хуже любого гвардейского сапера.

— Нюхните-ка табачку, дядюшка, — сказала Тереза, открывая нечто вроде роговой бонбоньерки с нюхательным табаком, — нюхните-ка щепотку, старина, это прояснит вам зрение.

Дюфайльи принял предлагаемую щепотку; упоминаю об этом обстоятельстве, в сущности пустячном, потому, что забыл сказать, что сестрица Полины уж перевалила за тридцать и из того только, что она нюхала табак, как какой-нибудь регистратор, уже видно, что она была не первой молодости.

Разговор продолжался в том же духе, как вдруг мы услыхали шумные шаги целой толпы людей, направлявшихся со стороны гавани.

— Да здравствует капитан Поле, — кричали они, — ура, капитан Поле! Скоро вся ватага остановилась перед гостиницей.

— Эй, Бутруа, кум Бутруа! — кричали они на разные голоса. Одни силились выломать двери, другие с невообразимой силой стучали молотком, третьи, наконец, трезвонили в колокольчик и бомбардировали ставни каменьями.

Услышав весь этот гам, я вздрогнул: мне почудилось, что нас преследуют снова. Полина и ее сестра также были далеко не спокойны. Наконец послышались быстрые шаги с лестницы, дверь отворилась настежь, — и мы услышали страшный шум, как будто открылись шлюзы и поток ринулся в дом. В смешении голосов, криков, рева ничего разобрать нельзя.

— Пьер, Поль, Женни, Элиза… эй вы все… жена вставай… Ох ты Господи, они дрыхнут как колоды!..

Словом, точно пожар загорелся в доме. Скоро мы услышали хлопанье дверей, беготню, невообразимую суету, — то жалобы какой-то служанки на чьи-то вольности, то звон бутылок и стаканов, то шумные взрывы смеха. Стук кухонной утвари, звон тарелок еще более увеличивают содом; воздух оглашается ругательствами и божбой на французском и английском языках.

— Земляк, — сказал мне Дюфайльи, — если не ошибаюсь, это народ веселый. Что с ними, с этими буянами? Что с ними случилось; уж не забрали ли они испанские галионы? Здесь, впрочем, им не дорога!

Дюфайльи ломал себе голову, отыскивая причины такого шумного ликованья, я со своей стороны не мог дать ему никаких разъяснений, как вдруг отворилась дверь и на пороге показался Бутруа с сияющим лицом, прося у нас огня.

— Вам неизвестно, — сообщил он, — что «Revanche» вошла в гавань. Наш Поле обделал славные делишки. Вот уж кому валит счастье!.. Представьте — добыча в три миллиона под Дувром.

— Три миллиона! — воскликнул Дюфайльи. — А меня там не было!

— Слышите, сестра, три миллиона, — запищала Полина, подскакивая, как молодой козленок.

— Три миллиона, — сосредоточенно повторила Тереза.

— Я в себя не могу прийти, — бормотал Дюфайльи, — неужто три миллиона в самом деле… Расскажи-ка нам, как дело было, кум Бутруа…

Наш хозяин извинился недосугом.

— Кроме того, — прибавил он, — подробностей я не знаю.

Шум и гам продолжаются: слышно, как пододвигают и раздвигают стулья; минуту спустя наступило молчание, доказывающее, что челюсти гостей начали работать. Надеясь, что шум прекратился на несколько часов, я предложил обществу отправиться на боковую; со мной согласились, и мы улеглись спать во второй раз. Рассвет уже приближался; чтобы нас не потревожило солнце, мы задернули занавески.

Уснуть нам удалось недолго: моряки едят живо, а напиваются еще живее. Наш покой был нарушен песнями, от которых стекла задрожали: сорок пьяных голосов запели хором — кто в лес, кто по дрова — известный припев «Роланда».

— К черту певцов! — воскликнул Дюфайльи. — Мне только что снился чудесный сон — будто я был в Тулоне. Бывал ты когда-нибудь в Тулоне, земляк?

Я отвечал ему, что мне случалось побывать в Тулоне, но не вижу, какое отношение это может иметь к его прелестному сну.

— Я был каторжником, — возразил он, — а мне снилось, будто я только что удрал с галер.

Дюфайльи замечает, что его рассказ производит на меня тягостное впечатление, которого я не в силах был скрыть.

— Что с тобой, земляк? Ведь это я сон только рассказываю. Итак, я только что улепетнул; ведь это неплохой сон, по крайней мере, для каторжника. Но это еще не все, я примкнул к морским корсарам, и у меня было золота вдоволь.

Хотя я никогда не отличался суеверием, но, признаюсь, сон Дюфайльи произвел на меня впечатление дурного предзнаменования: может быть, это было знамение свыше, чтобы направить меня куда следует. Впрочем, подумал я про себя, до сих пор я вовсе не стою того, чтобы свыше мною занимались. Мне пришла в голову и другая мысль: уж не намек ли это старого сержанта, который проведал о моем положении? Эта мысль расстроила меня; я встал. Дюфайльи заметил мой мрачный вид.

— Что с тобой, земляк, — ты печален, будто лимону наелся?

Он подал мне знак, чтобы я следовал за ним; я повиновался; он привел меня в столовую, где расположился капитан Поле со своим экипажем, большей частью опьяневшим от энтузиазма и вина. Как только мы появились, раздался крик: «Вот Дюфайльи! Дюфайльи!».

— Честь и слава старине! — сказал Поле, предлагая моему спутнику стул около себя.

— Садись сюда, старик; Бутруа, — позвал он, — Бутруа! Подать бишофа, да живей!

— То-то, смотри, у нас теперь недостатка быть не может, — продолжал Поле, пожимая руку Дюфайльи.

Говоря это, Поле не спускал с меня глаз.

— Мне кажется, мы с тобой знакомы, — сказал он, обращаясь ко мне, — ты уж носил нашу шапку, молодчик!

Я ответил, что действительно находился на корсарском судне «Barras», но что не помню, чтобы видел его где-нибудь.

— В таком случае, познакомимся; не знаю, ошибаюсь ли я, но ты выглядишь славной «собакой», как говорится. Эй вы, люди добрые, разве я неправду говорю? Мне по сердцу такие рожи, как у него. Садись по правую руку, молодец; плечища-то, плечища-то каковы, — косая сажень! Этот блондинчик, клянусь честью, выйдет славным охотником за рыжаками (англичанами).

С этими словами Поле надел мне на голову свою красную шапку.

— Славно пристала шапка этому мальчишке! — заметил он на своем пикардском наречии, не без оттенка добродушия.

Мне вдруг стало ясно, что капитан далеко не прочь был бы завербовать меня в свою бесшабашную команду. Дюфайльи, еще не потерявший способности говорить, настойчиво уговаривал меня воспользоваться удобным случаем: в этом заключался добрый совет, который он обещал дать мне, — я решился последовать ему. Условлено было завтра же представить меня главному корсару и судохозяину Шуанару, который немедленно должен был дать мне вперед небольшую сумму денег.

Само собой разумеется, что мои новые товарищи чествовали меня на славу: капитан открыл им кредит в тысячу франков в гостинице, и, кроме того, многие из них имели в городе запасы, из которых они отправились черпать. Мне еще не случалось видеть такой полной чаши, такого излишества. Для корсаров ничего не было недоступного — им море было по колено. У Бутруа не хватило запасов, — чтобы удовлетворить их, он разослал гонцов за покупками для пира, который должен был продлиться несколько дней. Мы начали пировать с понедельника, а в следующее воскресенье мой приятель еще не успел отрезвиться. Что касается меня, то хотя я не слишком отставал от остальных, но голова у меня была свежа.

Скоро нас посетили Полина с сестрой.

— Несчастные мы, злополучные! — воскликнула девушка с жестами глубокого отчаяния.

— Что с вами случилось? — спросил я.

— Мы погибли, — вопила она, с лицом, орошенным слезами, — двух из тех перенесли в больницу, у них ребра переломаны, один полицейский ранен и плац-комендант отдал

распоряжение закрыть дом. Что с нами теперь будет? Куда нам голову склонить?

— Не бойтесь, пристанище для вас всегда найдется, а где матушка Тома?

Тереза сообщила мне, что мадам Тома сначала свели в участок, а потом препроводили в городскую тюрьму.

— Ходят даже слухи, — прибавила девушка, — что она не так-то легко отделается.

Это известие сильно обеспокоило и взволновало меня. Тома будет подвергнута допросу, может быть, ее уже призывали к генеральному комиссару полиции; без сомнения, она назвала имена, в том числе и Дюфайльи.

Вместе с Дюфайльи буду скомпрометирован и я. Необходимо было предупредить беду. Я наскоро сбежал вниз, чтобы совещаться с сержантом насчет мер, которые следует принять. К счастью, он еще не был лишен способности понять мои доводы; я стал выставлять на вид опасность, которая нам угрожала. Он понял меня и вынул из своего пояса штук двадцать гиней. «Вот, — сказал он, — чем можно зажать рот кумушке Тома!» Призвав одного служителя гостиницы, он передал ему сумму, поручив ему отдать ее заключенной.

— Это сын консьержа, — пояснил Дюфайльи, — он ловок, как угорь, всюду найдет путь, и к тому же он малый не болтливый, скромный.

Наш посланный скоро вернулся назад, он рассказал нам, что мадам Тома, допрошенная дважды, никого не выдала; она с благодарностью приняла подарок и поклялась даже на плахе не говорить ничего, компрометирующего нас; для меня стало ясно, что с этой стороны опасаться нечего.

— А с девицами, что мы поделаем, куда их-то девать? — спросил я Дюфайльи.

— Их можно переслать в Дюнкирхен, я беру издержки на свой счет.

Мы тотчас же предупредили их о необходимости ехать немедленно. Они сначала казались удивленными и поломались немного; но мы старались убедить их, что в их прямом интересе не оставаться долее в Булони; наконец они решились распрощаться с нами. В тот же вечер они отправились в путь. Прощание было не особенно печальное, Дюфайльи позаботился о щедром обеспечении их с материальной стороны, и, кроме того, они имели надежду с нами свидеться: чего не бывает, недаром говорится, что гора с горой не сходятся… продолжение пословицы известно. Действительно, судьба свела нас позднее в увеселительном заведении, куда привлекла публику слава знаменитого Жан Барта.

Мадам Тома была выпущена на волю после шестимесячного заключения. Полина и ее сестра, возвратившиеся к ней из привязанности к родной почве, начали снова свою прежнюю жизнь. Не знаю, составили они себе состояние или нет, — первое весьма возможно. Но за неимением дальнейших сведений, я прерываю повествование о прекрасных сестрах и продолжаю историю своих похождений.

Поле и его товарищи почти не заметили нашего отсутствия так скоро мы вернулись обратно, обделав свои дела. Компания пила, ела, пела песни во всю глотку до самой ночи, без роздыха — все время наше было посвящено непрерывной трапезе. Поле и его помощник Флерио были героями пиршества: в физическом и нравственном отношении они представляли резкую противоположность. Первый из них был мужчина толстый, коренастый, широкоплечий, с бычьей шеей, с пухлым, цветущим лицом, имеющим в себе нечто львиное. Его взгляд был то грозен, то необыкновенно нежен. В сражении он был беспощаден, но в частной жизни был человеколюбив, сострадателен. Во время нападения на судно он был самим чертом; среди своего семейства, с женой, с детьми — он отличался кротостью ягненка. Словом, он был добрый хозяин, простой, наивный и приветливый, как патриарх;

в нем трудно было узнать морского разбойника. Но на корабле он внезапно перерождался, изменял свой нрав и привычки и становился грубым и беспощадным; он управлял командой, как восточный деспот, не допуская никаких рассуждений. У него была железная воля; горе тому, кто окажет ему неповиновение. Поле был и неустрашим, и вместе с тем добродушен, чувствителен и груб в то же время; трудно было бы обладать такой искренностью и прямодушием.

Помощник Поле был один из самых своеобразных людей, каких мне только случалось встречать: одаренный атлетическим телосложением, еще очень молодой, он не в меру пользовался всеми благами мира сего; он был один из тех развратников, которые рано испили чашу жизни. Пылкое воображение, неудержимые страсти рано толкнули его в жизнь. Ему еще не минуло двадцати лет, как грудная болезнь, сопровождаемая общим расслаблением, принудила его покинуть артиллерийскую службу, куда он определился с 18 лет.

Теперь этот несчастный был при последнем издыхании; его худоба была ужасна; два больших черных глаза, еще более оттенявших его смертную бледность, казалось, были единственными признаками жизни в этом полуразрушенном теле, служившем оболочкой самой пылкой душе.

Флерио сознался, что дни его сочтены. Авторитеты науки произнесли его смертный приговор, и уверенность в близкой кончине внушила ему престранную мысль. Вот что он рассказал мне по этому поводу:

— Я служил в 5-м полку легкой артиллерии, куда поступил волонтером. Полк стоял гарнизоном в Меце; женщины, манеж, бессонные ночи извели меня; я иссох, как пергамент. В один прекрасный день нас погнали в поход, отправляемся, дорогой я заболеваю, мне дают билет в госпиталь, и несколько дней спустя доктора, увидев, что я харкаю кровью в изобилии, объявили, что состояние моих легких не может долее выносить верховой езды; решили отправить меня

в артиллерийскую пехоту. Едва успел я оправиться, как меня действительно переместили по совету докторов. Я покинул свой калибр для другого, поменьше, променял шпору на штиблет; мне больше не приходилось чистить лошади, но зато пришлось заряжать, снимать запор, возить тачку, копать заступом, с грудью, перетянутой ремнем, и, что всего хуже, взвалить на спину ранец — это вечное бремя, которое одно подкосило больше рекрутов, нежели пушка при Маренго. Телячья шкура (ранец) нанесла мне окончательный удар; терпеть долее не было мочи. Подаю в отставку; получаю ее, остается только осмотр генерала. Это была бестия Сарразен; подходит ко мне:

— Бьюсь об заклад, что он чахоточный, этот мошенник.

— Чахотка, ваше превосходительство, во второй степени.

— Ну вот, я верно отгадал, признаки безошибочны: узкие плечи, впалая грудь, тонкая талия, осунувшееся лицо. Посмотрим ноги. Эти ноги, — сказал генерал, ударив меня по икре, — сделают еще четыре кампании. Чего ты хочешь? Отставки? Не получишь ее. Смерть тому, кто отступает. Ступай своей дорогой… Ну, теперь другого…

Я пытался заговорить.

— Перейдем к другому, — перебил генерал, — а ты, любезный, молчать!

По окончании смотра я бросился в изнеможении на походную кровать. Пока я лежал на жестком тюфяке, помышляя о жестокосердии генерала, мне пришло в голову, что он, может быть, смилуется, если за меня замолвит словечко один из его товарищей. Мой отец был в дружбе с генералом Леграном, последний находился в лагере при Амблетезе; я решился добиться его покровительства и отправился к нему. Он принял меня за сына старинного товарища, дал мне письмо к Сарразену и в провожатые одного из своих адъютантов. Письмо генерала было убедительно — я был уверен в успехе. Мы вдвоем пришли в левый лагерь и осведомились,

где живет генерал. Солдат привел нас к двери полуразрушенного барака, вовсе не похожего с виду на жилище генерала — ни часового, ни надписи, ни будки. Стучу в дверь рукояткой сабли.

— Войдите, — слышится изнутри голос с сердитым оттенком.

Первый предмет, бросившийся нам в глаза, когда мы вошли, было шерстяное одеяло, под которым рядышком лежали на соломе генерал со своим негром. В этом положении он давал нам аудиенцию. Сарразен взял письмо и не переменяя положения прочел его, затем обратился к адъютанту:

— Генерал Легран, кажется, интересуется этим юнцом? Чего же он желает? Чтобы я дал ему отставку? И не подумаю. Ты ведь не разжиреешь, если я тебе дам отставку, — прибавил он, обращаясь ко мне. — Нечего сказать, хорошая тебе предстоит перспектива дома! Если ты богат — будешь жариться на медленном огне под пыткой ухаживанья и забот; если беден — сядешь на шею своим родителям и околеешь в больнице. Я хороший врач: тебе нужно бомбу, и с ней ты выздоровеешь. Ходьба пешком и упражнение поправят тебя. Кроме того, советую тебе последовать моему примеру: пей вино — это получше будет всякого больничного питья да сыворотки.

При этих словах он схватил за горлышко громадную бутыль, которая стояла подле, налил полную пивную кружку и подал мне. Напрасно я отказался от угощения, мне пришлось проглотить добрую часть заключавшейся в ней жидкости. Адъютант также не мог избавиться от этой оригинальной любезности. Генерал пил после нас, его негр, которому он передал кружку, покончил с остальным.

Не было никакой надежды заставить его изменить решение; мы возвратились крайне недовольные, — адъютант обратно в Амблетезу, а я в крепость Шатильон, куда добрался еле живым. С этого времени мною овладела необыкновенная

печаль и апатия, которая парализовала все мои способности; меня уволили со службы. Круглые сутки я лежал на животе, совершенно равнодушный ко всему, что происходило вокруг меня, и вероятно я до сих пор пробыл бы в таком же положении, если бы в одну прекрасную ночь англичанам не вздумалось сжечь флотилию. Необъяснимая усталость, овладевшая мной, хотя я ничем не занимался, погрузила меня в тяжелый сон. Вдруг я просыпаюсь и вскакиваю при звуке пушечного выстрела. Встаю и сквозь тусклые стекла маленького окошка вижу тысячи огней, перекрещивающихся на воздухе. Там виднеются длинные огненные следы, как радуги; в другом месте — яркие звезды, вспыхивающие с ревом и треском. Прежде всего мне пришло в голову, что это должно быть фейерверком, но вскоре шум и гул, как будто бурные потоки каскадами стремятся с вершины скалы, навели на меня какой-то ужас, и я содрогнулся. Временами глубокая тьма уступала красному свету, такому, какой, вероятно, будет в день страшного суда: вся земля как будто была объята пламенем. Меня била лихорадка, мне казалось, что голова моя сейчас лопнет. Забили тревогу, я слышал крики: «К оружию!» Дрожь пробегает у меня по всему телу от макушки до пяток; мною овладевает состояние, похожее на горячечный бред; бросаюсь к своим сапогам, силюсь натянуть их на ноги — невозможно: они оказываются слишком узки. Между тем с каждой секундой мой ужас возрастает — все мои товарищи уже одеты; молчание, господствующее вокруг меня, свидетельствует о том, что все ушли. Со всех сторон бегут наши люди к орудиям; а я, не заботясь о неудобстве своей обуви, со всех ног пускаюсь бежать по деревне, унося под рукой свои пожитки. На другой день я пришел назад к товарищам, которых нашел живыми и невредимыми. Стыдясь своей трусости, которой сам удивлялся, я изобрел сказку, которая, если бы ей поверить, могла бы упрочить за мною славу неустрашимого.

К несчастью, не так-то легко попались на эту удочку; никто не поверил моей выдумке. Со всех сторон на меня сыпались насмешки и остроты; я выходил из себя от ярости и досады. В другое время я сумел бы защититься против всей роты, но я чувствовал полный упадок сил, и только на следующую ночь ко мне возвратилась часть моей энергии.

Англичане снова начали бомбардировать город; они стояли недалеко от берега — их слова долетали до нас, а ядра из множества наших орудий на берегу летали слишком высоко и миновали неприятеля. На песчаное прибрежье отправили подвижную батарею, которая, чтобы приблизиться к ним на самом близком расстоянии, передвигалась по мере прилива и отлива. Я был первым канонером при двенадцатидюймовом орудии. Доберемся, бывало, до предела воды и остановимся. В ту же минуту на нас летит град ядер; гранаты разрываются над нашими мунинционными повозками и над нашими лошадьми.

Нам стало ясно, что, невзирая на темноту, мы сделались точкой прицела для англичан. Приходилось отражать удары; раздается приказ переменить положение — маневр этот приводится немедленно в исполнение; капрал при моем орудии, почти так же напуганный, как я накануне, хочет удостовериться, продеты ли цапфы в паз, и кладет туда руку; вдруг он испускает дикий крик, раздавшийся по всему берегу — его пальцы приплюснуты под тяжестью двадцати центнеров чугуна. Пытаются освободить руку несчастного, который падает в обморок. Несколько капель водки приводят его в чувство, и я предлагаю свои услуги, чтобы отвести его в лагерь. Конечно, все подумали, что я ищу предлога избавиться от опасности. Мы с капралом шли вместе; при самом входе в парк, через который мы должны были пройти, поджигательная ракета падает между двумя муниционными повозками, наполненными порохом. Опасность неминуема, еще несколько минут — и весь парк взорвет на воздух. Если

бы мне бежать скорее, то я мог еще найти убежище и спасение; но я чувствую, что во мне произошла разительная, необъяснимая перемена. Смерть более не страшит меня. С быстротой молнии бросаюсь на металлический цилиндр, откуда течет смола и пылающее вещество, пытаюсь затушить искру, но мне это не удается; я хватаю картечницу, уношу на некоторое расстояние, бросаю наземь в ту самую минуту, когда находящиеся в ней гранаты с треском разрывают железную оболочку. Был один свидетель моего подвига; мои руки, лицо, обгоревшее платье, уже обуглившиеся бока одной из пороховых бочек — все это свидетельствовало о моей храбрости. Я возгордился бы собой, если бы не та мысль, что теперь я только оправдал себя перед лицом товарищей: они более не имеют повода осыпать меня своими грубыми шутками и остротами. Мы продолжаем свой путь. Едва успели мы пройти несколько шагов, как чувствуем, что атмосфера становится горячей до удушливости — семь пожаров разом вспыхнули в разных местах. Очаг этого яркого и страшного света находится в гавани; аспидные крыши пылают с оглушительным треском, как будто слышишь ружейную пальбу. Отряды, введенные в заблуждение этими звуками, причина которых им неизвестна, стекаются со всех сторон, отыскивая неприятеля. Поближе к нам, в некотором расстоянии от корабельной верфи, клубы дыма и пламени подымаются над хижиной и пылающие искры летят вокруг. До нас доходят жалобные крики — это голос ребенка. Меня охватывает ужас: что, если теперь уже поздно? — думается мне. Я жертвую собой; ребенок спасен, я отдаю его матери, которая в отчаянии бежала спасать его.

Моя честь была достаточно восстановлена — никто более не посмел бы обозвать меня трусом. Когда я вернулся на батарею, все стали поздравлять меня. Батальонный командир обещал мне крест за храбрость, которого не мог даже добиться для себя — за все время своей тридцатилетней службы он

всегда имел несчастье находиться позади пушки, а не лицом к лицу. Я отлично знал, что мне не удастся получить креста, прежде него, и действительно не ошибся. Как бы то ни было, я решился отличаться повсюду, где только представится удобный случай.

Между Англией и Францией были начаты переговоры для заключения мира. Лорд Лоудердэль находился в Париже в качестве уполномоченного, как вдруг телеграф известил о бомбардировании Булони — это было второе действие драмы, разыгравшейся в Копенгагене, По получении этого известия император, взбешенный возобновлением военных действий без всякого повода, призывает к себе лорда, упрекает его кабинет в вероломстве и повелевает ему удалиться немедленно. Две недели спустя Лоудердэль останавливается здесь у «Золотой Пушки». Он англичанин, взбешенный народ жаждет мести; собираются толпы, преграждают ему путь, и когда он появляется, то, забывая уважение к мундиру двух офицеров, поставленных для его охраны, его забрасывают целым градом камней и грязи. Бледный, взволнованный, расстроенный до крайности, милорд, по-видимому, ожидает смерти; но я сквозь толпу пробиваюсь к нему с оружием в руках и восклицаю: «Горе тому, кто посмеет тронуть его!» Я держу речь к народу, разгоняю толпу, и мы, не подвергаясь никаким оскорблениям, достигаем гавани, где лорд Лоудердэль садится на парламентерское судно. Вскоре он был доставлен на английскую эскадру, которая в тот же вечер снова начала бомбардировать город. На следующую ночь мы все еще находились на песчаном прибрежьи. В час ночи англичане, пустив несколько поджигательных ракет, прекратили огонь, Я был разбит от усталости — расположился на лафете и заснул. Сколько времени продолжался мой сон, не знаю сам, но проснувшись, я почувствовал, что лежу в воде по горло, кровь моя застыла в жилах, члены окоченели, зрение и память окончательно помутились.

Булонь как будто не там стояла, где прежде; я принимал огонь флотилии за неприятельский огонь. Это было начало продолжительной болезни, во время которой я настойчиво отказывался ложиться в госпиталь. Наконец наступило выздоровление, но так как я поправлялся крайне медленно, то мне снова предложили отставку, и на этот раз удалили со службы помимо моей воли; я кончил тем, что согласился с мнением Сарразена.

Я больше не чувствовал никакой охоты умирать в постели, и, придерживаясь смысла поговорки: «смерть тому, кто отступит», — я и не отступал и посвятил себя карьере, в которой без особенно тяжкого труда встречается самая разнообразная деятельность. Убежденный, что мне недолго осталось жить на свете, я решился пожить всласть, я сделался корсаром. Чем я рисковал на этом поприще? Я мог только быть убитым в стычке, и в этом случае я терял немного. А пока я не терплю ни в чем недостатка, сильные ощущения всякого рода, удовольствия, опасности приятно разнообразят мою жизнь. Словом, я не останавливаюсь на пути.

Читатели из этого могут видеть, какие люди были капитан Поле и его помощник. Последний, еле живой, был всегда первым в сражении, как и повсюду, был коноводом и первым затейником. Порой он, казалось, был углублен в мрачные думы, но вдруг он как бы отбрасывал их в сторону быстрым движением, возбужденное состояние его мозга сообщалось его нервам, и тогда его буйство не знало границ: не было ни одного сумасбродства, ни одной дикой выходки, на которую он бы не был способен. Находясь в этом состоянии искусственного возбуждения, для него не было ничего невозможного, он взобрался бы на Луну. Мне не перечесть всех сумасбродств, которые он сделал на банкете, на который привел меня Дюфайльи: он предлагал то одно увеселение, то другое; между прочим ему пришло в голову идти в театр:

— Что дают сегодня? «Мизантропия и раскаяние»; я предпочитаю «Двух братьев». Товарищи! Кто из вас хочет поплакать? Капитан ежегодно плачет в день своего ангела, а мы, холостяки, не знаем семейных радостей. Вот что значит, однако, быть отцом семейства! Ходите вы когда-нибудь в театр, начальник? Советую посмотреть — народу будет тьма. Все одна знать: рыбачки в шелковых платьях — это весь цвет здешнего общества. Им это идет, как коровам седло! Ну да все равно — подавай им комедию, да и только. Хорошо еще, если б они по-французски говорить умели! А то, Боже сохрани! — этого от них не ожидайте. Помнится мне, на последнем балу эти прелестные особы, когда их приглашают танцевать, отвечают: «Нет-с, я занята».

— Скоро ты перестанешь отделывать здешнюю сторонку? — заметил Поле своему помощнику, которого ни один из пиратов не посмел перебивать.

— Капитан, — ответил тот, — была бы честь предложена, я пригласил честную компанию — все молчат, плакать, видно, никому не охота. В таком случае, прощайте, господа, иду плакать один.

Флерио вышел. Едва успел он удалиться, как капитан стал расхваливать его: «Отчаянная он голова! Но зато, что касается храбрости, так уж мое почтенье — ему не найдется равного на всем земном шаре». Он рассказал нам, что своей добычей он обязан смелости и отваге Флерио. Рассказ был оживленный и пикантный, несмотря на оригинальную привычку Поле вставлять между слов букву «т» всякий раз, как он говорил с товарищами и букву «с», когда ему приходилось вести разговор официальный, церемониальный, с лицами малознакомыми; вероятно, он находил, что этого требовала вежливость. Щедро пересыпая свой рассказ буквой «т», он описал нам в самых забавных выражениях стычку, в которой он, по обычаю, доконал с дюжину англичан перекладиной кабестана.

Между тем становилось поздно. Поле, который еще не видел свою жену и детей, приготовился уходить, как вдруг воротился Флерио — уже не один.

— Как вы находите, капитан, миленького матросика, которого я только что завербовал? Не правда ли, красная шапка чудесно пристанет этому красивому личику.

— Правда, — сказал Поле, — но разве это юнга, — у него нет и признаков бороды… А, да я смекаю, — прибавил он удивленным голосом, — это женщина…

Поглядев на нее с минуту, он еще более удивился.

— Если не ошибаюсь, — воскликнул он, — это жена Сен…

— Да, — ответил Флерио, — это не кто иной, как Элиза, прекрасная половина директора труппы, увеселяющей в настоящее время всю Булонь; она пришла к нам порадоваться на наше счастье.

— Дама среди корсаров, поздравляю! — продолжал капитан, бросая на переодетую актрису взгляд, полный презрения. — Славные она услышит вещи, нечего сказать. Надо быть помешанной… Как подумаешь, женщина!

— Ну полноте, начальник! — воскликнул Флерио. — Можно подумать, что корсары какие-то людоеды; ведь ее никто не съест. К тому же вы ведь помните припев песенки:

Она любит смеяться, любит пить,
Любит петь, как и мы сами.

Что в этом дурного?

— Я согласен, что ничего, — ответил капитан, — только погода теперь хорошая, весь мой экипаж пользуется цветущим здоровьем, присутствие этой дамы вовсе не необходимо.

При этих словах, произнесенных рассерженным голосом, Элиза потупила глазки.

— Милое дитя, не краснейте, — успокаивал ее Флерио, — капитан ведь шутит…

— Нет, черт возьми, я не думаю шутить, я помню тот пресловутый день Св. Наполеона, когда весь генеральный штаб, начиная с генерала Брюна, шел нога за ногу; в этот день не было никаких действий — эта дама знает, почему, не заставляйте меня пояснять вам.

Элиза, которую оскорбляли речи капитана, однако, по-видимому, не раскаивалась в том, что последовала за Флерио: среди смущения, овладевшего ею, она старалась оправдать свое появление в гостинице «Серебряного льва»; со свойственной женщине легкостью, кротким выражением лица и привлекательными ужимками она медовым голоском стала напевать о своем «восторге», о «славе», о «неустрашимости», о «героизме» и, чтобы окончательно умаслить и расчувствовать Поле, назвала его «французским рыцарем», взывая к его рыцарским чувствам. Лесть всегда оказывала большее или меньшее влияние на самые зачерствелые натуры. Поле стал почти вежливым, в речи его часто слышалась кстати и некстати буква «с», словом, он принял церемонный, праздничный вид. Он извинился по-своему, как мог, в своей грубости, получил прощение и распростился со своими гостями, пожелав им веселиться: вероятно, им не пришлось скучать. Меня, грешного, клонило ко сну, я бросился на свою постель и заснул как убитый. На другое утро я проснулся свежим и бодрым. Флерио повел меня к судохозяину, который, увидев, каким я выгляжу молодцом, дал мне вперед несколько пятифранковых монет. Семь дней спустя восемь из наших товарищей поступили в больницу. Имя актрисы Сен*** более не появлялось на афишах. Ходили слухи, что эта барыня, желая поскорее убраться в безопасное место, воспользовалась дормезом какого-то полковника, который, обуреваемый страстью к игре, скакал в Париж проигрывать все, кончая султанами своего полка.

Я с нетерпением ждал отплытия. Пятифранковые монеты Шуанара были сочтены; на них я, конечно, мог существовать,

но они не давали мне возможности разгуляться. С другой стороны, пока я был на суше, я подвергался опасности сделать дурные встречи. Булонь была наводнена всякой швалью. Разные негодяи держали игру на берегу, где они обчищали рекрутов, как липок, под предводительством одного разбойника — Каниве; этот грабитель перед всей армией и ее начальниками осмеливался величать себя «палачом черепов». Как теперь вижу на его полицейской шапке изображение мертвой головы, рапир и скрещенных костей. Каниве был как бы арендатором или скорее владельцем игорных костей и других игр; от него зависела целая толпа помощников, разных оборванцев, которые платили ему дань за право плутовать и надувать публику. Он неустанно следил за ними, и когда подозревал их в неверности по отношению к себе, то наказывал их обыкновенно, нанося им удары шпагой. Я был уверен, что среди этой сволочи непременно есть беглые с каторги. Я боялся, чтобы меня не узнали, и мои опасения были тем более основательны, что многие освобожденные каторжники были определены в саперный корпус или в корпус военных рабочих при флоте. С некоторых пор только и толковали, что об убийствах, грабежах, воровстве. Все эти преступления сопровождались симптомами, по которым можно было узнать, что тут действовали опытные мошенники, набившие руку в ремесле. Может быть, в числе этих разбойников, думал я, найдется один из тех, с которыми я сошелся в Тулоне. Для меня очень важно было избегнуть их, так как, раз снова вступивши с ними в сношения, мне трудно было бы не скомпрометировать себя. Известно, что мошенники, как развратные женщины, когда стараешься вырваться из их общества, всегда общими силами препятствуют обращению раскаявшегося; они считают для себя в некотором роде честью удержать своего товарища в том состоянии возмутительного разврата, в котором погрязли сами. Я помнил своих доносчиков в Лионе и мотивы, побудившие их заста-

вить арестовать меня. Так как опыт был еще свеж, то, конечно, я не забыл его и держал ухо востро. Поэтому я показывался на улицах по возможности редко и проводил все время у некоей мадам Анри, которая держала меблированные комнаты для корсаров, пуская их в кредит, в надежде будущих благ. Мадам Анри была хорошенькая вдова (предполагая, конечно, что она была когда-нибудь замужем). Она все еще была очень соблазнительна, хотя ей было около тридцати шести лет. При ней были две прелестные дочери, которые, не переставая быть добродетельными, были настолько любезны, что подавали надежды всякому красивому малому, которому везло счастье. Всякий, кто тратил свое золото в этом доме, встречал радушный прием, но тот, кто тратил больше всех, всегда был на первом плане и более других пользовался милостями маменьки и дочек, конечно, до тех пор, пока у него оставались деньги в кармане. Рука каждой из этих барышень была обещана раз двадцать, если не больше, двадцать раз их объявляли невестами, и тем не менее их репутация от этого нимало не пострадала. Они были свободны в своих речах и сдержанны в своем поведении, и хотя не кичились своей невинностью, но никто не мог похвастаться тем, что совратил их с пути истинного. А между тем сколько героев-моряков испытали на себе действие их прелестей! Сколько поклонников, обманутых соблазнительным кокетством без последствий, надеялись на то, что им будет оказано предпочтение и что счастье от них близко. И в самом деле, как не обмануться насчет истинных чувств этих целомудренных существ, любезность которых всегда имела вид поощрения? Сегодня героя чествуют, осыпают предупредительной любезностью, ему позволяются известные вольности, например, поцелуи украдкой и т. д. Еще поощряют нежными взглядами, дают ему советы быть поэкономнее и в то же время ловко заставляют тратиться, распределяют, как ему следует употребить деньги; если же его фонды на исходе, что обыкновенно случалось без

его ведома, то деликатно предлагают дать ему взаймы, возвещая этим о плачевном состоянии его финансов. Никогда его не выпроваживали вон. Не выказывая ни равнодушия, ни охлаждения, терпеливо выжидали, чтобы необходимость и любовь заставили его пуститься на новые опасности. Но едва успевал сняться с якоря корабль, уносивший с собою любовника, отправлявшегося на подвиги, в награду которых ему предстоял в перспективе счастливый гименей, как его заменял другой благополучный смертный, так что в доме у мадам Анри никогда не было недостатка в поклонниках; ее барышни представляли подобие цитаделей, вечно находящихся в осаде, по-видимому, постоянно готовых сдаться, но никогда не сдававшихся. Едва один успевал снять осаду, как являлся другой. Все уходили с носом, все принуждены были уносить с собою обманутые надежды. Сесиль, старшей дочери мадам Анри, однако, уже перевалило за двадцать. Она была девушка веселая, страшная хохотушка, слушала все, что хотите, не краснея. Гортанс, ее сестра, была еще моложе, а по характеру еще наивнее. Иногда она говорила такие вещи, что уму непостижимо, но, казалось, в жилах прелестных сестриц протекали вместо крови мед и розовая водица, до того они были невозмутимо спокойны и кротки. В их сердцах не было никакого огня; хотя они не стеснялись сальностями и не удивлялись двусмысленным жестам какого-нибудь матроса, но тем не менее они вполне заслуживали репутации самой патентованной невинности.

В кругу этого уважаемого семейства мне пришлось прожить чуть ли не целый месяц, проводя время в балагурстве, игре в пикет и попойках. Это бездействие, которым я уже начинал тяготиться, наконец прекратилось. Поле намеревался опять приступить к своим обычным подвигам. Мы отправились на охоту, но, к несчастью, ночи не были достаточно темны, дни стали слишком длинны. Вся наша добыча состояла в нескольких злосчастных угольных судах и в неважном

шлюпе; на нем мы обрели какого-то еле живого лорда, который предпринял со своим поваром морскую экскурсию, с целью восстановить свой аппетит. Мы отправили его тратить свои доходы и есть форель в Верден.

Наступала весна, а мы не забрали почти никакой добычи. Капитан был сумрачен и смотрел сентябрем. Флерио выходил из себя, клялся, ругался, бушевал с раннего утра до поздней ночи; весь экипаж впал в уныние. Мне кажется, что при таком расположении мы атаковали бы трехдечное судно. Было около полуночи. Вышедши из небольшой бухты недалеко от Дюнкирхена, мы направились к берегам Англии. Вдруг луна, выступившая из-за облаков, разлила свой свет на волны пролива. В недалеком расстоянии белеют паруса. Военный бриг рассекает сверкающие волны. Поле узнал его. «Ребята! — кричит он. — Он наш! Он наш! Все там валяются, как снопы, а за вахту я ручаюсь!» В одно мгновение он скомандовал на абордаж. Англичане защищались с ожесточением; на палубе завязался отчаянный рукопашный бой. Флерио, который, по своему обыкновению, бросился на неприятеля одним из первых, пал мертвым. Поле был ранен, но он достойно отомстил за себя и за смерть своего помощника. Неприятели валились как мухи вокруг него; никогда я не видел такой резни. В десять минут мы овладели кораблем, и вместо красного флага уже развевался наш трехцветный. Двенадцать человек нашего экипажа пали в сражении, где с обеих сторон дрались с равным ожесточением, В числе погибших был некто Лебель, так поразительно похожий на меня, что это постоянно подавало повод к самым странным недоразумениям. Я вспомнил, что у моего двойника бумаги были в полном порядке. «Куда ни шло, — подумал я, — случай-то хорош, неизвестно, что может случиться. Лебеля выбросят на съедение рыбам — ему не понадобится паспорт, а его документы отлично пригодятся мне».

Эта мысль показалась мне великолепной; я боялся лишь одного: что Лебель оставил свои бумаги в бюро у судохозяина. Легко себе представить мою радость, когда я ощупал портфель на груди мертвеца. Я схватил бумаги, пока никто не видал этого; и когда бросили в море мешки с песком, в которые опустили тела убитых, у меня как будто свалилась гора с плеч, я подумал, что раз навсегда избавился от этого несносного Видока, который сыграл со мной столько скверных штук.

Однако я еще не был вполне спокоен: Дюфайльи, бывший нашим ближайшим начальником, знал мое имя. Это обстоятельство смущало и досадовало меня: чтобы ничего более не опасаться, я решился уговорить его сохранить мою тайну и рассказать ему какую-нибудь сказку о своих похождениях. Напрасная предосторожность: я зову Дюфайльи, ищу его по всему бригу — отправляюсь на поиски на «Revanche» — ни слуху ни духу о Дюфайльи. Что с ним сталось? Я влезаю в баталер-камеру; там за бочонками можжевеловой водки вижу человеческое тело, распростертое на полу. Это был Дюфайльи. Я встряхиваю его, переворачиваю… он весь черный… он умер.

Вот какова была кончина моего покровителя; вероятно, удар, разрыв сердца, или, наконец, мгновенная смерть от пьянства — положили конец его бурной карьере. Со времени существования сержантов морской артиллерии не встречалось ни одного, который пил бы с такой замечательной настойчивостью.

С ним случился однажды весьма характерный эпизод. Этот царь пьяниц рассказывал о нем с любовью, считая это приключение лучшим во всей своей жизни. Был праздник крещения. Дюфайльи достался традиционный боб; чтобы почтить его королевское достоинство, товарищи сажают его на носилки, которые несут четыре канонера. На каждом шесте носилок висели жбаны с водкой, розданные команде поутру. Взгромоздившись на этот импровизированный

паланкин, Дюфайльи делал станцию перед каждым бараком лагеря, где пил и других поил при обычных восторженных восклицаниях. Станции эти были так часты, что в конце концов у него закружилась голова и его шаткое величество проглотил, не разжевывая, целый фунт сала, которое он принял за швейцарский сыр: кушанье было неудобоваримое, Дюфайльи, возвратившись в свой барак, бросился на койку. Почувствовав сильную тошноту, он старается удержаться от рвоты, но извержение происходит, кризис минует, и он засыпает как убитый; его выводят из летаргического состояния лишь задорное ворчанье собаки и царапанье кошачьих когтей: оба животных, усевшись у самого кратера, дрались из-за добычи. О, человеческое достоинство, где ты? Отвратительная картина, которая убедит всех и каждого, что Дюфайльи был далеко не способен преподавать уроки умеренности и трезвости спартанским детям.

Я на минуту отвлекся от нити своего рассказа, чтобы последним штрихом закончить портрет моего земляка; его больше нет на свете, да упокоит Бог его душу. Я вернулся на бриг, где Поле оставил меня с капитаном, сторожившим добычу, и пятью матросами с «Revanche» закрыли люки, чтобы вернее охранять наших пленных, и стали приближаться к берегу, чтобы по возможности идти вдоль него до самой Булони. Но пушечные выстрелы с английского корабля, прежде нежели мы овладели им, уже успели привлечь в нашу сторону один из английских фрегатов. Он шел на нас на всех парусах и вскоре так близко подошел к нам, что гранаты из его орудий миновали нас и летели дальше. Фрегат преследовал нас таким образом до самого Кале. Вдруг море стало бурным, подул сильный береговой ветер, налетел шквал. Мы полагали, что фрегат удалится из опасения потерпеть крушение у скал. Он уже далеко не был свободен в своих маневрах — ветер гнал его по направлению к берегу, судну приходилось одновременно бороться против всех разъяренных стихий:

единственное средство спасения было бы стать на мель. В одно мгновение фрегат очутился под перекрещивающейся перестрелкой батарей с «железного прибрежья», с насыпи Красного форта; отовсюду на него сыпались градом бомбы, картечи, гранаты. Среди оглушительного шума тысячи пушечных выстрелов раздается раздирающий вопль… фрегат погружается в воду, и нет никакой возможности спасти его.

Час спустя рассвело. Там и сям по волнам носились обломки корабля. За одну из мачт судорожно ухватились мужчина и женщина; утопающие махали нам носовым платком. Мы намеревались обогнуть мыс Грене, когда заметили сигналы несчастных. Мне показалось, что нам удастся спасти их, — я предложил это своему начальству, и когда капитан отказался предоставить в наше распоряжение шлюпку, я решился действовать сам. В порыве непонятного для меня чувства сострадательности я выходил из себя и грозил размозжить ему голову.

— Полно дурить, — сказал он, презрительно пожимая плечами, — вот хоть бы капитан Поле, уж чего сострадательный человек, а не трогается с места, хотя видит их. Уж, видно, делать нечего — против судьбы не пойдешь. Они там, мы тут, всякий сам по себе, слава Богу, мы и так понесли много потерь; чего стоит одна потеря Флерио!

Этот ответ возвратил мне мое хладнокровие, дав понять, что мы сами подвергаемся большей опасности, нежели я полагал. Действительно, волнение усиливалось; над нами носились чайки и рыболовы, их пронзительные крики смешивались с ревом и свистом ветра. На горизонте, все более и более мрачном, обрисовывались длинные черные и красные облака — вид неба был ужасен: все предвещало близкий ураган. К счастью, Поле искусно рассчитал время и расстояние, мы миновали Булонь и неподалеку от нее, в Портеле, нашли бесплатное убежище от бури. Высаживаясь на берег в этой местности, мы увидели лежащими на песчаном берегу тех

двух несчастных, которых мне так хотелось спасти; прилив прибил их безжизненные тела к чужеземному берегу, где мы должны были предать их погребению. Может быть, это были любовники; я был тронут их печальной судьбой, но другие заботы отвлекли меня от моих соболезнований. Все население деревни — женщины, дети, старики — стеклось на берег.

Семейства ста пятидесяти рыбаков предавались отчаянию, наблюдая, как шесть линейных английских судов громили утлые рыбацкие лодки. Каждый из присутствующих с лихорадочным вниманием, которое трудно описать, следил глазами за интересовавшей его баркой и, смотря по тому, была ли она вне опасности или потоплена волнами, слышались то жалобы, плач и стоны, то взрывы бешеной радости. Женщины — дочери и супруги рыбаков — рвали на себе волосы, терзали одежду, катались по земле, разражаясь проклятиями и богохульством; другие, забывая о том, что они оказывают неуважение чужому горю и не помышляя о том, чтобы благодарить Бога за свое счастие, — плясали, громко распевали песни, и с лицами, на которых еще не успели изгладиться следы слез, предавались самой шумной радости; все набожные обеты, благодарственные молитвы Св. Николаю-угоднику за его ходатайство — все было позабыто. Может быть, несколько времени спустя все это и припомнится, но во время бури был заметен один эгоизм, эгоизм во всей своей наготе… Недаром мне сказали — «всякий для себя»!

Глава восемнадцатая

Я поступаю в морскую артиллерию. — Получаю чин капрала. — Тайные общества в армии. — «Олимпийцы». — Оригинальные дуэли. — Встреча с каторжником. — Граф *Л**** — Политический шпион. — Он исчезает. — Поджигатель. — Мне изменяют. — Еще раз в тюрьме. — Распущение «Армии Луны». — Помилованный солдат. — Один из моих товарищей проходит сквозь строй. — Колдун в лагере. — Мое бегство

В тот же вечер я возвратился в Булонь и узнал, что по распоряжению главнокомандующего все солдаты, известные за негодяев, должны быть немедленно удалены из корпусов и посажены на суда, готовящиеся к отплытию. Эта мера имела целью как бы очистить армию от ее дурных элементов и положить конец развращению, принявшему за последнее время угрожающие размеры. Поэтому впредь мне не оставалось другого средства, как покинуть «Revanche», на которую не замедлят отправить нескольких из мошенников, от которых генерал считает нужным избавиться, с тем, чтобы пополнить ряды, поредевшие после последнего морского сражения. Так как ни Каниве, ни его клевреты не должны были снова появляться в лагере, то я расчел, что мне хорошо бы сделаться солдатом. Имея при себе бумаги Лебеля, я поступил в роту морских канонеров, охранявших прибрежье. Лебель был когда-то капралом роты, я также получил этот чин при первой вакансии, т. е. недели две спустя после моего вступления на службу. Безупречное поведение и знание артикула (и немудрено, я был когда-то артиллеристом) скоро снискали мне расположение начальства. Одно обстоятельство, которое, в сущности, могло заставить меня скорее лишиться этого благоволения, напротив, окончательно обеспечило мне уважение моих начальников.

Я был дежурным в форте Эры; это было во время половодья, погода стояла ужасная: водяные волны то и дело окаты-

вали платформы и бушевали с такой силой, что даже большие орудия не оставались неподвижными в амбразурах; при каждой новой волне, казалось, вот-вот снесет укрепление. Пока воды Ла-Манша не стихнут, очевидно, не покажется ни одного судна; наступила ночь, я распустил стражу и позволил им наслаждаться отдыхом на походных постелях до следующего утра. Я караулил за них, или, вернее, не спал, потому что не спалось, как вдруг, около трех часов утра, меня вывели из дремоты несколько слов, произнесенных по-английски, и учащенный стук в дверь внизу лестницы, ведущей в батареи. Вообразив, что на нас напали, я бужу всю команду, отдаю приказ заряжать орудия и приготовляюсь дорогою ценою продать свою жизнь, как вдруг из-за двери слышатся жалобные стоны женщины, умолявшей о помощи. Мне ясно слышатся слова на французском языке: «Бога ради, отворите! Мы потерпевшие крушение». Я с секунду колеблюсь, но потом, приняв все меры для того, чтобы тотчас же поразить насмерть первого, кто вошел бы с враждебными намерениями, отворяю дверь и вижу перед собой женщину с ребенком и пять матросов, еле живых и едва стоящих на ногах от слабости. Первым долгом моим было обогреть их — они промокли до костей и продрогли от холода. Мои товарищи и я одолжили им свое платье и белье, и как только эти несчастные оправились, они рассказали нам о происшествии, которому мы были обязаны честью их видеть. Отправившись из Гаваны на трехмачтовом судне и находясь уже почти в конце счастливой переправы, их судно вдруг наткнулось на каменный мол, и они спаслись от смерти, бросившись с дюн на батарею. Девятнадцать человек их спутников погибли в волнах.

Буря на море свирепствовала целую неделю и держала нас в осаде; во все это время не решались отправить за нами шлюпку. В конце недели, однако, меня препроводили на сушу с моими путешественниками, которых я сам повел к военному начальнику флота; тот от души поздравил меня,

как будто я взял их в плен. Как бы то ни было, в роте возымели обо мне самое высокое мнение.

Я продолжал выполнять свои обязанности с примерным усердием; прошло три месяца, и я своим поведением заслужил одни похвалы. Но кто раз вошел в жизнь приключений, тот сразу не может отстать от нее. Роковая судьба, которой я повиновался против своей воли, постоянно сближала меня с людьми и обстоятельствами, которые менее всего соответствовали моим благим намерениям. Благодаря этой несчастной склонности, случилось, что, и не думая участвовать в тайных обществах армии, я был, однако, волей-неволей посвящен в их секреты.

Эти общества впервые возникли в Булони. Первое из них, что бы ни говорил Нодье в своей истории «Филадельфов»[8], — были «олимпийцы», основателем его был некто Кромбе из Намюра. Оно состояло первоначально из мичманов и гардемаринов флота, но вскоре общество разрослось и в него стали допускать военных всех орудий, в особенности артиллеристов.

Кромбе, который был еще очень молод (он был гардемарином), сложил с себя звание предводителя и главы общества и возвратился в ряды своих товарищей, которые избрали себе «почетного главу» и организовались по образцу масонских лож. Это общество еще не имело политических целей, или по крайней мере, если оно и задалось какой-нибудь подобной целью, то она была известна одним лишь влиятельным членам. Признанная цель была — взаимное содействие; «олимпиец», которому удалось достигнуть высокого положения, обязан был содействовать повышению других, находящихся в менее благоприятных условиях и в низших чинах. Чтобы быть допущенным в общество, если только известное лицо принадлежит к флоту, необходимо было быть по край-

---

[8] История тайных обществ армии и военных заговоров, имевших целью свергнуть правительство Бонапарта. II изд., Париж.

ней мере гардемарином второго класса, а высший чин — капитан корабля; если же принадлежишь к сухопутной армии, то требуются чины от полковника до унтер-офицера включительно. Мне не случалось слышать, чтобы «олимпийцы» в своих собраниях когда-либо возбуждали вопросы, касающиеся образа действия правительства, но в нем провозглашали принципы равенства, братства и произносили речи, которые составляли резкий контраст с основами империи.

В Булони «олимпийцы» обыкновенно собирались у некоей мадам Гервие, содержавшей невзрачный и мало посещаемый ресторан. Там происходили их заседания, там совершались посвящения в члены — в особом зале, нарочно для них устроенном.

В военном училище, а также и в политехнической школе существовали ложи, находившиеся в сношениях с «олимпийцами». Вообще посвящение в тайны общества ограничивалось сообщением лозунгов и условных знаков; во все это посвящали новичков, но настоящие адепты знали кое-что побольше и стремились к определенной цели. Символические знаки общества достаточно выясняют цель и намерения его: это — рука, вооруженная мечом и окруженная облаками, внизу виднелся опрокинутый бюст, изображение Наполеона. Этот символ, для которого не требуется никаких пояснений, был изображен на печатях, оттиснутых на дипломах. Модель печати была сделана канонером Богранoм или Бельграном, служившим при артиллерийском управлении; затем по этой модели сделали из меди печать, с выемками для сургуча.

Чтобы быть принятым в общество «олимпийцев», необходимо требуется испытанное мужество, способность и скромность. Более всего старались завербовать в члены военных людей, достойных и отличившихся. Употребляли все старания, чтобы по возможности привлечь в члены сыновей патриотов, энергичнее других сопротивлявшихся водворению империи.

При империи достаточно было принадлежать к одному из таких семейств, недовольных существующими порядками, чтобы попасть в категорию кандидатов.

Настоящие деятели ассоциации были в тени и никому не сообщали своих планов. Они замышляли свержение деспотизма, но никого не посвящали в тайну своих замыслов. Им надо было, чтобы люди, через посредство которых они надеялись достигнуть своей цели, сделались их слепыми орудиями. Никто не предлагал им участвовать в заговорах, но они сами доходили до этого, помимо своей воли, в силу обстоятельств. Ввиду этих соображений, «олимпийцы» наконец стали вербовать членов из низших чинов сухопутной армии и флота.

Если замечали, что какой-нибудь унтер-офицер или солдат выдается из среды большей образованностью, энергией характера и духом независимости, «олимпийцы» привлекали его на свою сторону и скоро он попадал в общество, члены которого под клятвой давали друг другу обещание «взаимного содействия и покровительства».

Обещания взаимной поддержки, казалось, были единственными узами, скрепляющими общество. Но в действительности существовала иная, скрытая цель. На основании опыта им известно было, что из ста человек, допущенных в члены, всего каких-нибудь десять получат повышение, соответствующее их достоинствам; итак, было весьма вероятно, что из ста человек, по прошествии немногих лет, окажется до 90 людей, недовольных порядками, при которых им не удалось пристроиться как следует. С редким искусством и ловкостью подобрали под одной общей рубрикой всех людей, среди которых уверены были с течением времени возбудить горечь и озлобление, свойственное людям раздраженным и утомленным несправедливостями; такие люди обыкновенно с радостью пользуются каждым удобным случаем, чтобы отомстить за себя. Так образовалась лига, члены которой частью

даже не сознавали своей цели, что, однако, не мешало ей быть могущественной. Элементы для заговора сближались, совершенствовались, развивались постепенно, но заговорщиков как бы не существовало до тех пор, пока не вспыхнет заговор — для этого выжидали только удобной минуты.

«Олимпийцы» существовали несколько лет ранее «филадельфов», с которыми они впоследствии слились воедино. Возникли они немного позже коронации Наполеона. Утверждают, что они впервые собрались по случаю немилости, в которую впал генерал Трюгэ, сверженный потому, что подал голос против пожизненного консульства. После осуждения Моро общество, организовавшееся на самых широких началах, насчитывало в числе своих членов множество бретонцев и уроженцев Франш-Конте. В числе последних был Удэ, которому первому пришла в голову мысль о «Филадельфии».

«Олимпийцы» существовали около двух лет, и между тем правительство, по-видимому, нисколько не тревожилось ими. Наконец, в 1806 году, Девилье, генеральный комиссар полиции в Булони, написал Фуше письмо, содержащее донос на сборища членов общества, — он не придавал им никакого вредного значения, но считал своим долгом наблюдать за ними, а между тем у него не было под рукой ни одного агента, которому он мог бы поручить такую задачу: поэтому он обратился к министру с просьбой прислать в Булонь одного из тех опытных шпионов, которых политическая полиция всегда имеет в своем распоряжении. Министр ответил генеральному комиссару, что он весьма благодарен ему за усердную службу императору, но что он уже давно следил за «олимпийцами», а также и за другими подобными обществами. Правительство настолько могущественно, что не имеет никакой причины опасаться их а случае заговора. Впрочем, прибавил он, вероятно, все это не более, как сборища идеалистов, до которых императору нет никакого дела, и, судя по всему, «олимпийцы» — просто мечтатели, а их

сборища — масонские фантазии, измышленные какими-нибудь дураками.

Это спокойствие Фуше было напускное; едва успел он получить заявление Девилье, как тотчас же призвал в свой кабинет молодого графа Л***, посвященного в тайны почти всех обществ в Европе.

— Мне пишут из Булони, — сказал ему министр, — что в армии недавно образовалось тайное общество под названием «Олимпийского»; о целях, преследуемых обществом, меня не уведомляют, но мне известно, что оно пустило корни по всем направлениям. Может быть, это общество в связи с совещаниями, происходящими у Бернадотта или у г-жи Сталь. Мне хорошо известно, что здесь происходит: мне все рассказал Гарра, который считает меня своим другом и который в простоте души полагает, что я еще патриот, ни более ни менее как в 93-м году. Есть якобинцы, воображающие, что я сожалею о республике и что я могу содействовать ее восстановлению; это дураки, которых я прогоняю или ставлю на должность — смотря по тому, удобно мне это или нет…

Трюгэ, Руссо, Гингенэ шагу не делают, слова не произносят, чтобы мне не было известно. Это люди неопасные, как и вся компания Моро, — они болтают много, а действуют мало. Впрочем, за последнее время они стараются заручиться сторонниками в армии; мне надо знать, к чему они стремятся — «олимпийцы», может быть, служат их целям. Было бы желательно, чтобы вас приняли в число «олимпийцев», вы тогда сообщили бы мне тайны этих господ, и тогда посмотрим, какие следует принять меры.

Граф Л*** ответил Фуше, что возлагаемое на него поручение крайне щекотливо; что «олимпийцы», вероятно, не принимают никого, не добывши предварительно сведений о кандидате, и что, кроме этого, в общество допускаются одни лишь служащие в армии. Фуше призадумался на мгновение над этими препятствиями, потом сказал: «Я нашел средство,

с помощью которого вы будете приняты беспрепятственно. Вы отправитесь в Геную, там вы найдете отряд Лигурийских новобранцев, которые немедленно будут отправлены в Булонь и размещены в восьмой полк пехотной артиллерии. Между ними есть некто граф Боккарди — его семейство тщетно искало кого-нибудь, чтобы заменить его. Вы предложите отправиться в армию вместо знатного генуэзца, и, чтобы устранить все затруднения, я дам вам свидетельство, подтверждающее, что вы, Бертран, удовлетворяете существующему рекрутскому закону. С помощью этого свидетельства вас примут наверное, и вы отправитесь в путь с отрядом. По прибытии в Булонь вы будете иметь дело с одним полковником[9], помешанным на масонстве, мистицизме и другом вздоре. Вы скажете свое настоящее имя, и он не преминет оказать вам протекцию. Тогда вы можете доверить ему тайну вашего происхождения, насколько вам это заблагорассудится. Эта доверчивость непременно будет иметь результатом перемену в обращении, так как обыкновенно не слишком-то хорошо относятся к подставным рекрутам; мало-помалу вы приобретете благоволение остального начальства. Но необходимо одно, чтобы думали, что неволя заставила вас поступить в солдаты. Заставьте их думать, что под своим настоящим именем вы имели причины опасаться преследований со стороны императора. Вот ваша история: она разойдется по лагерям, и никто не будет сомневаться в том, что вы враг и жертва императорского правительства… Излишне было бы входить в ближайшие подробности… Остальное совершится само собою… Впрочем, я вполне полагаюсь на вашу проницательность».

---

[9] Полковник Обри, генеральный инспектор артиллерии, скончавшийся вскоре после битвы при Дрездене, где лишился обеих ног.

Получив эти инструкции, граф Л*** отправился в Италию и скоро очутился во Франции, вместе с лигурийскими новобранцами. Полковник Обри принял его радушно, как брата, которого увидел после многих лет разлуки. Он уволил его от ученья и маневров, собрал ложу полка, чтобы достойно приветствовать его, доказал ему свое участие многими любезностями, позволил ему носить штатское платье, словом, обращался с ним как нельзя лучше.

Через несколько дней всей армии стало известно, что Бертран в некотором роде особа; ему нельзя было тотчас же пожаловать эполеты — его произвели в чин сержанта, и офицеры, забывая о том, что он находится на низшей ступени офицерской иерархии, не поколебались сойтись с ним по-приятельски. Бертран вскоре сделался настоящим оракулом полка; он был умен, всесторонне образован, и все окружающие были расположены находить его еще остроумнее, нежели он был на самом деле. Как бы то ни было, он скоро близко сошелся с некоторыми «олимпийцами», которые сочли за честь представить его товарищам. Бертран был посвящен в члены общества и, едва успев войти в сношения с главными деятелями «Олимпа», не замедлил обратиться с докладом к министру.

То, что я рассказал об «олимпийцах» и о Бертране, я узнал от него самого, и, чтобы подтвердить достоверность моего рассказа, нелишне прибавить, при каких обстоятельствах он поверил мне тайну порученной ему миссии и открыл мне некоторые интересные подробности ее.

В Булони дуэли встречаются сплошь да рядом; несчастная мания на поединки распространилась даже на миролюбивых моряков, служащих во флотилии под начальством адмирала Верведя. Неподалеку от левого лагеря, у подножия холма, была маленькая роща, где почти ежедневно можно было видеть — во всякий час дня — до дюжины молодцов, исполняющих, как говорится, долг чести. В этой местности известная

амазонка, девица Див… пала от рапиры прежнего своего любовника, полковника К***, который, не узнав ее в мужской одежде, принял от нее вызов на поединок.

Девица Див…, которую он покинул для другой, желала погибнуть от его руки.

Однажды, находясь на склоне плоской возвышенности, на которой расположились длинной лентой бараки левого лагеря, и случайно опустив глаза на рощу, свидетельницу стольких кровопролитных сцен, я увидел на некотором расстоянии от рощи двух человек, из которых один шел на другого, тот, в свою очередь, отступал через равнину; по их белым панталонам я узнал в них голландцев; я остановился на минуту, чтобы посмотреть на их эволюции. Скоро нападающий отступил, в свою очередь; наконец, должно быть, испугавшись друг друга, они стали одновременно отступать, помахивая саблями; потом один из них, набравшись храбрости, бросился на противника и преследовал его до края оврага, через который тот не мог перешагнуть. Тогда оба, по-видимому, отказавшись от своего оружия, вступили в рукопашный бой, и таким образом удовлетворили друг друга. Я забавлялся этим уморительным поединком, как вдруг заметил около фермы, куда мы часто ходили есть «кодио» (вроде белой кашицы — из муки и яиц), двух каких-то людей, которые, поспешно сбросив свои одежды, уже приготовлялись стать в позицию с рапирами в руках; тут же присутствовали их секунданты: с одной стороны, вахмистр десятого драгунского полка, с другой стороны, — артиллерийский фурьер. Скоро противники скрестили рапиры; один из них, поменьше ростом — сержант-канонер, защищался отчаянно против нападения своего более сильного противника. В одно мгновение мне показалось, что вот-вот его пронзит рапира другого бойца, как вдруг он исчез, как будто его поглотила земля; вслед за этим раздался взрыв хохота. Когда поуспокоилась общая веселость, присутствующие столпились, и я увидел,

что они нагибаются к земле. Меня стало разбирать любопытство; я подошел как раз кстати, чтобы помочь им вытащить бедного малого, исчезновение которого меня так удивило, из канавы, выкопанной для стока из корыта для поросят. Несчастный почти задыхался и был покрыт густой грязью с головы до пят. Свежий воздух скоро оживил его, но он боялся дышать, чтобы в рот и глаза не попала покрывавшая его зловонная жидкость. Находясь в таком плачевном состоянии, он выслушивал одни насмешки. Меня возмутило такое отсутствие сострадания, и под влиянием чувства негодования я бросил на противника бедной жертвы вызывающий взгляд, который между военными людьми не требует пояснения. «Достаточно, — сказал он, — я жду тебя». Едва успел я встать в позицию, как заметил на руке моего противника знакомый мне татуированный знак: изображение якоря, ветви которого перевиты змеей. «Я вижу хвост, — крикнул я, — береги голову», — и, дав ему предостережение, я набросился на него и попал ему в грудь около правого соска. «Я ранен, — сказал он, — до первой крови деремся, что ли?» — «До первой крови», — ответил я и, недолго ожидая, разорвал свою рубашку и стал перевязывать его рану. Надо было для этого обнажить грудь; я отгадал место, где помещалась голова змеи, в это место я и целился.

Заметив, что я со вниманием рассматривал то знак, начертанный на его груди, то черты его лица, мой противник, видимо, стал волноваться. Я поспешил успокоить его словами, сказанными на ухо: «Я знаю, кто ты, но не бойся, я воплощенная скромность». — «Я также знаю тебя, — ответил он, пожимая мне руку, — и я также буду нем, как могила».

Человек, который поклялся мне хранить молчание, был беглый каторжник из тулонских галер. Он сообщил мне свое подставное имя и объяснил мне, что он вахмистр 10-го драгунского полка, где он своей роскошной жизнью и кутежами затмевал всех полковых офицеров.

Пока мы доверяли друг другу свои тайны, солдат, за которого я вступился, старался смыть в соседнем ручье хотя часть покрывавшей его липкой грязи. Он вскоре присоединился к нам. Компания несколько поуспокоилась. Не было более и речи о ссоре, и охота насмехаться сменилась искренним желанием помириться.

Вахмистр, которого я мало знал, предложил скрепить мировую у «Золотой пушки», где всегда можно было найти превосходную рыбу и жирных уток. Он угостил нас завтраком на славу, продолжавшимся до ужина. За ужин заплатила противная партия.

Наконец общество разошлось. Вахмистр обещал мне свидеться, а сержант не успокоился, пока я не согласился проводить его до дому.

Этот сержант был Бертран; он жил в верхней части города и занимал квартиру, достойную офицера высших чинов; как только мы остались наедине, он выразил мне всю признательность, на какую способен трус, которого спасли от большой опасности.

Он обратился ко мне со всевозможными предложениями, и так как я не принимал ни одного из них, то он сказал:

— Вы, может быть, думаете, что я хвастаю и что не могу ничего для вас сделать — не плюйте в колодец, милый мой. Я не более, как унтер-офицер, это правда, но дело в том, что я не желаю повышения — у меня нет честолюбия, а все «олимпийцы» таковы же, как и я: они мало заботятся о каком-нибудь несчастном чине.

Я спросил его, что это такое за олимпийцы.

— Это люди, — ответил он, — поклоняющиеся свободе и проповедующие равенство. Хотите вы сделаться олимпийцем? Если вас это соблазняет, то я готов услужить вам, и вы будете приняты.

Я поблагодарил Бертрана, прибавил, что я не вижу необходимости поступать в общество, которое рано ли поздно ли должно непременно обратить на себя внимание полиции.

— Вы правы, — ответил он, с видом большего участия, — лучше не поступайте, все это может плохо окончиться.

Тогда он сообщил мне об «олимпийцах» все подробности, упомянутые мною в моих записках. Под влиянием шампанского, которое удивительно располагает к откровенности и сообщительности, он поведал мне под строгой тайной возложенную на него миссию в Булони.

После этого первого знакомства я продолжал видаться с Бертраном, остававшимся еще некоторое время на своем наблюдательном посту. Наконец наступил время, когда он потребовал и получил месячный отпуск. Прошел месяц, а Бертран не возвращался; распространился слух, что он увез с собою сумму в 12 000 франков, порученную ему полковником Обри для покупки лошадей и экипажа, затем довольно значительную сумму на различные расходы для полка. Узнали, что Бертран останавливался в улице Нотр-Дам-де-Виктуар, в Миланской гостинице, где пользовался неограниченным кредитом.

Все эти обстоятельства доказывали, что Бертран ловко обошел свое начальство; жертвы обмана даже не осмелились возбудить серьезную жалобу. Бертран как в воду канул. Потом его разыскали, подвергли суду как дезертира и приговорили к каторжным работам на пять лет.

Вскоре получено было распоряжение арестовать главных вожаков «олимпийцев» и разрознить их общества. Но этот приказ был исполнен только частью: предводители тайного общества, узнав, что правительство напало на их след, и опасаясь венсеннских подземелий, предпочли смерть такому ужасному существованию. В один и тот же день случилось пять самоубийств. Фельдфебель 25-го линейного полка, два сержанта другого корпуса пустили себе пулю в лоб; один капитан, накануне получивший должность батальонного командира, перерезал себе горло бритвой… Он жил у «Серебряного Льва». Хозяин гостиницы — Бутруа, удивлен-

ный тем, что его гость, по своему обыкновению, не сходит вниз к завтраку с другими офицерами, постучал в дверь его комнаты: капитан сидел над сосудом, в который должна была стекать его кровь. Он поспешно надел галстук, пытался выговорить слово и упал навзничь мертвым... Один морской офицер, находясь на небольшом судне, нагруженном порохом, поджег его, что повлекло за собою взрыв соседнего судна. Земля задрожала на несколько миль в окружности, все оконные стекла в нижней части города были побиты, фасады многих домов в гавани рухнули, обломки снастей, разбитые мачты, клочки человеческого мяса летели во все стороны. Экипажи двух судов погибли... Один человек спасся как бы чудом: это был матрос на марсах. Мачта, на которой его взорвало на воздух, упала перпендикулярно во вместилище бассейна, где в то время воды не было, и врезалась в землю на глубину шести футов. Матрос остался жив, но с этой минуты он лишился дара слова навсегда.

В Булони были поражены этим стечением обстоятельств. Доктора утверждали, что мания на самоубийство происходила от известного предрасположения, зависящего от состояния атмосферы. Для подтверждения своего мнения они ссылались на наблюдения, сделанные в Вене, где в одно лето множество девушек, увлеченных какой-то необъяснимой страстью, лишили себя жизни в один и тот же день.

Некоторые объясняли это странное явление тем, что редко случается, чтобы одно самоубийство не сопровождалось несколькими другими. В сущности, общество совершенно сбилось с толку, не зная, что подумать, тем более что полиция, опасаясь всего, что могло быть принято за проявление оппозиции существующим порядкам, нарочно распространяла самые странные слухи. Приняты были все предосторожности, чтобы имя «олимпийца» не было ни разу произнесено в лагерях. Между тем причина всех этих трагических явлений заключалась в доносе Бертрана. Вероятно, он

был награжден, мне неизвестно только кем; очень может быть, что высшая полиция, довольная его услугами, продолжала поручать ему шпионство, так как несколько лет спустя его встретили в Испании, в полку Изембура, где он получил чин лейтенанта и где на него смотрели не хуже, как на какого-нибудь аристократа из фамилий Монморанси или Сен-Симона.

Через несколько времени после исчезновения Бертрана рота, в которой я служил, была отправлена в Сен-Леонар, маленькую деревушку неподалеку от Булони. Там вся наша обязанность состояла в охранении склада пороху и других боевых припасов. Служба была не тяжелая, но позиция довольно опасная: там было убито несколько часовых, ходили даже слухи, что англичане замышляют взорвать на воздух все депо. Несколько попыток в этом роде было сделано в различных пунктах дюн. Из этого видно, что мы имели основания для самой зоркой наблюдательности. Однажды ночью, когда я был дежурным, нас внезапно разбудил ружейный выстрел. Весь караул поднялся на ноги. Я бегу к часовому — это был новобранец, храбрость которого не внушала мне большего доверия. Я расспрашиваю его, подозревая, что он поднял фальшивую тревогу. Осмотрев снаружи пороховой склад, помещавшийся в старой церкви, я тщательно исследовал окрестности — не видно было никаких знаков, ни малейших следов. Убедившись, что все это ложная тревога, я сделал строгий выговор часовому и пригрозил ему гауптвахтой. Но, возвращаясь с ним в караульный дом, я обратился к нему с новыми вопросами. Уверенный тон его ответов, подробности, которые он мне сообщил в подтверждение того, что он действительно кого-то видел, начинают убеждать меня, что он не напрасно поддался испугу и тревоге. Меня начинают мучить предчувствия, и я снова отправляюсь в пороховой склад. Дверь церкви приотворена, я быстро вхожу, и

первое, что представляется моим глазам, — это слабый отблеск света, исходящего между двумя высокими рядами ящиков с патронами. Я быстро прохожу по этому коридору и, дойдя до конца, вижу… зажженную лампу, поставленную под один из ящиков, пошире других; пламя уже касается дерева, и в воздухе начинает распространяться запах смолы. Каждая секунда дорога. Не колеблясь, я опрокидываю лампу, бросаю ящик наземь и своей уриной гашу остатки начинавшегося пожара. Наступила глубокая темнота, гарантировавшая мне, что опасность миновала. Но я все-таки не мог окончательно успокоиться до тех пор, пока не исчез смолянистый запах. Я оставался в складе еще некоторое время. Кто был поджигателем? Я этого знать не мог, но в глубине души я сильно подозревал сторожа магазина и, чтобы узнать истину, немедленно отправился к нему на дом. Его жена была одна дома; она сказала мне, что ее муж, задержанный в Булони делами, остался там ночевать и вернется на другой день утром. Я спросил ключи от склада; оказалось, что ключи он унес с собою. Отсутствие ключей подтвердило мои опасения — я узнал, кто был виновником покушения. Однако прежде, нежели доложить об этом начальству, я еще раз на другое утро отправился к сторожу — он еще не являлся.

В тот же день был произведен инвентарь; оказалось, что этому человеку было крайне необходимо уничтожить доверенный ему склад, чтобы скрыть сделанные им значительные растраты. Прошло сорок дней, и о преступнике ни слуху ни духу. Наконец жнецы нашли его безжизненный труп в поле; около него лежал пистолет.

Взрыв пороховницы был предупрежден единственно благодаря моему присутствию духа. Меня наградили за это повышением в чине. Я был сделан сержантом; дивизионный генерал пожелал меня видеть и обещал ходатайствовать обо мне перед министром. Я сильно желал сделать карьеру и

поэтому старался, чтобы «Лебель» отрешился от всех дурных привычек Видока. И действительно — я был бы примерным служакой, если бы необходимость присутствовать при раздаче провианта не вызвала меня в Булонь.

Каждый раз, как мне случалось быть в городе, я непременно являлся к драгунскому вахмистру, с которым дрался на дуэли, заступаясь за Бертрана. Тогда весь день посвящался кутежу и попойке, и я поневоле нарушал все свои благие намерения на исправление.

Благодаря существованию какого-то именитого дядюшки, кажется, сенатора, мой старинный товарищ по каторге вел превеселую жизнь. Он пользовался почти неограниченным кредитом в качестве сынка богатой фамилии. В Булони не было ни одного богача, который не счел бы для себя за честь принять у себя такую знатную особу. Честолюбивые папеньки мечтали сделать его своим зятем, а барышни всеми силами старались понравиться ему. Поэтому он пользовался неоценимым преимуществом черпать из кошелька одних и ожидать чего угодно от благосклонности других. Он жил широко, лучше любого генерала, держал лошадей, собак, лакеев, принял тон и манеры вельможи и обладал в совершенстве искусством пускать пыль в глаза и заставлять почитать себя до такой степени, что офицеры, обыкновенно так завистливо относящиеся ко всяким преимуществам и повышению других, находили весьма естественным, что он затмевает их. В другом городе, а не в Булони, этого выскочку скоро распознали бы, тем более, что он не получил никакого образования. Но в городе, где буржуазия, возникшая весьма недавно, еще не успела заимствовать от хорошего общества ничего, кроме одежды и внешних приемов, — ему легко было важничать и заслуживать общее уважение.

Настоящее имя вахмистра было — Фессар; в каторге он был известен под именем Ипполита. Он был родом, кажется, из Нижней Нормандии; одаренный всеми качествами, вну-

шающими доверие, наружной откровенностью, открытой физиономией и видом молодого сорванца, он, однако, обладал хитростью и коварством, составляющими отличительный признак жителей Домфрона. Словом, это был малый дошлый, способный возбудить к себе доверие и расположение. Если бы он владел хотя аршином земли на своей стороне, то воспользовался бы этим случаем для возбуждения тысячи тяжб и способен был нажиться, разорив своих соседей. Но Ипполит не имел ничего на свете, и, не имея возможности сделаться тяжебщиком, он пустился в мошенничество, подлог, и… но читатель это сам увидит, не стану забегать вперед.

Каждый раз, как я приходил в город, Ипполит угощал меня обедом на свой счет. Один раз за десертом он сказал мне: «Знаешь ли, я тебе удивляюсь; живешь ты отшельником в деревне, постишься на пище св. Антония, получаешь двадцать два су на все прокормление. Ей-Богу, не понимаю, как можно подвергаться таким лишениям, — если бы я был на твоем месте, я просто умер бы от тоски. Но, верно, ты втихомолку пользуешься какими-нибудь безгрешными доходами». Я отвечал, что мне достаточно моего жалованья и что к тому же я одет, обут, сыт и не терпел недостатка. «Тем лучше для тебя, — отвечал он, — а между тем здесь есть нажива; ты, верно, слышал не раз об «Армии Луны»; надо тебе туда поступить; если хочешь, я тебе назначу округ; ты будешь эксплуатировать Сен-Леонар».

Я знал, что «Армия Луны» — было сборище негодяев, члены которого до сих пор ускользали от преследования полиции. Эти разбойники, правильно организовавшие грабеж и воровство на протяжении нескольких миль в окружности, принадлежали к различным полкам. Ночью они бродили по лагерям, устраивали засады на дорогах, играя роль фальшивого патруля, и останавливали всех и каждого, не пренебрегая даже самой незначительной добычей. Чтобы не встречать

никаких препятствий в своих деяниях, они в своем распоряжении имели мундиры всех чинов. Смотря по надобности, они были то капитанами, то генералами и полковниками, и весьма кстати употребляли в ход лозунги, которые сообщались им каждые две недели их сторонниками из генерального штаба.

После всего, что мне удалось узнать, предложение Ипполита должно было испугать меня: он был или один из вождей «Армии Луны», или один из тайных агентов, отправленных полицией, чтобы подготовить распущение армии. Может быть, он был и то и другое.

Мои отношения к нему ставили меня в затруднительное положение… Неужели мне суждено встретить новые превратности, новые испытания? Я не мог уже, как в Лионе, выпутаться из затруднения, выдав соблазнителя. К чему послужило бы доносить на Ипполита, если он действительно был тайным агентом? Поэтому я ограничился тем, что отвергнул его предложение, объявив с твердостью, что я намерен остаться честным человеком. «Разве ты не видишь, что я шучу, — сказал он, — а ты шутку принимаешь за серьезное? Я в восхищении, милый мой, что ты проникнут такими похвальными чувствами, точь-в-точь, как и я же, мы оба обратились на путь истинный». Он переменил тему разговора, и об «Армии Луны» не было более и речи.

Через неделю после моего свидания с Ипполитом, свидания, в котором он сделал мне такое неожиданное признание и потом так быстро отказался от него, капитан, делая обход, приговорил меня к аресту на 24 часа на гауптвахте, заметив какое-то пятно на моем мундире. Я потом тщательно искал это проклятое пятно и никак не мог найти его. Как бы то ни было, я покорился своей судьбе и отправился на гауптвахту: двадцать четыре часа так скоро пройдут — и не заметишь. На другой день утром я буду освобожден. В пять часов утра я слышу лошадиный топот и следующий разговор:

— Кто идет?

— Франция.

— Какой полк?

— Императорский корпус жандармов.

При слове «жандармы» я невольно вздрогнул. Вдруг отворилась дверь, спрашивают Видока. Никогда еще это имя, внезапно произнесенное среди шайки мошенников, не оказывало такого страшного действия, как на меня в ту минуту. «Эй, ты, ступай за нами!» — крикнул мне бригадир, и, чтобы увериться, что я не ускользну от них, он из предосторожности привязал меня. Меня тотчас же препроводили в тюрьму. Я нашел многочисленное и хорошее общество.

— Ну, разве я вам не говорил, — воскликнул, увидев меня, артиллерийский солдат, которого по выговору я признал за пьемонтца, — сюда скоро переберется весь лагерь… Вот еще одного подцепили. Даю голову на отсечение, что всему виною эта сволочь драгунский вахмистр; он и никто другой, как он, сыграл эту шутку. Его стоит хорошенько отдуть, этого разбойника.

— Ну и поймай его, твоего вахмистра, — перебил другой заключенный, который, как мне показалось, был посажен недавно. — Если он продолжал идти вперед, так теперь его и след уже простыл. Как хотите, братцы, а он тонкая бестия! В каких-нибудь три месяца — сорок тысяч долгу в городе. Вот это называется счастье! А детей-то у него сколько! Ну, что касается этого, то я бы на них не польстился… Шесть девиц забеременели — из первых семейств буржуазии! Они надеялись, что имеют дело с ангелом чистоты и невинности, и славно попались впросак!..

— Да, да, — подтвердил прислужник, устраивавший мне постель, — много он наделал бед, этот молодчик; ну зато уж пусть бережется железной лапы — его объявили дезертиром. Небось, поймают.

— Смотри, как бы тебе не ошибиться в расчете, — возразил я, — вы словите его, как словили Бертрана.

— А если бы и словили, так это все-таки не помешает мне быть гильотинированным в Париже! Впрочем, я повторяю — даю голову на отсечение…

— Что он там толкует о своей голове? — перебил четвертый. — Мы попались — нечего больше и толковать. Что нам за дело, кто этому виною!

Он был прав. К тому же надо было слепым быть, чтобы не видеть, что Ипполит и никто иной, как он, продал нас. Что до меня касается, так я не мог сомневаться ни минуты: кроме него, никто в Булони не знал, что я беглый каторжник.

Несколько военных разных оружий волей-неволей наполнили арестантскую, в которой собрались главные вожди «Шайки Луны». Редко случается, чтобы тюрьма маленького города соединяла в своих стенах такую коллекцию интересных субъектов: один несчастный малый, некто Лельевр, осужденный на смертную казнь три месяца тому назад, постоянно имел в виду надежду, что вот-вот окончится отсрочка, в силу которой он существовал. Император, перед которым ходатайствовали за него, помиловал его, но так как это помилование не было формально утверждено и официальный приказ об освобождении не был передан верховному судье, то Лельевр продолжал содержаться в тюрьме. Все что могли сделать в пользу этого несчастного — это еще отсрочить казнь, пока не представился новый случай обратить на него внимание императора. Находясь в таком неопределенном состоянии, Лельевр постоянно колебался между надеждой на освобождение и страхом смерти: он засыпал в одном настроении, просыпался в другом. Всякий вечер он льстил себя сладкой надеждой завтра выйти из стен тюрьмы, всякое утро он ожидал, что будет расстрелян.

Он был то безумно весел, то мрачен до отчаяния — его жизни не было ни одного мгновения полного спокойствия

духа. Играл ли он партию в ландскнехт или марьяж, он вдруг ни с того, ни с сего среди игры бросал в сторону карты, начинал колотить себе голову кулаками, метался по комнате, как полоумный, наконец, бросался в изнеможении на свою жесткую постель и проводил целые часы лежа на животе, в состоянии полного отупения, полного отчаяния. В госпитале Лельевр отводил душу; стосковавшись до отчаяния, он отправлялся туда искать утешение у сестры Александры, которая была женщина с сердцем и сочувствовала всем несчастным. Эта сострадательная девушка принимала живое участие в заключенном, и он вполне заслуживал этого. Лельевр не был преступником, он был жертвой, и арест, которому его подвергли, был следствием принципа, часто несправедливого, которого придерживаются военные суды, что следует принести в жертву даже невинного, если встречается необходимость прекратить известные беспорядки, и что в таком случае совесть и чувство человечности должны умолкнуть перед необходимостью подать пример. Лельевр принадлежал к числу тех немногих людей, закаленных против порока, которые могут без вреда для своей нравственности оставаться долгое время в близком соприкосновении с подонками общества. Он исполнял должность старшины с такой же добросовестностью и честностью, как будто занимал какой-нибудь государственный пост. Никогда он не брал взяток с вновь поступающих; объяснив правила, которые он обязан соблюдать как арестант, он старался всеми силами облегчить ему первые минуты заключения и скорее исполнял должность любезного хозяина, нежели в некотором роде должностного лица. Другой человек сумел заслужить, любовь и уважение заключенных: Христиерн, которого мы звали Датчанином, не говорил по-французски; мы с ним объяснялись знаками, но он был одарен редкой сметливостью и, казалось, предугадывал мысль. Он был печален, задумчив, ласков; в сто

чертах сквозили благородство, кротость и меланхолия, которые привлекали и трогали вас. Он носил матросские платье, но длинные пряди его черных, как смоль, волос, искусно расположенных в локонах, безукоризненная белизна его белья, нежность его цвета лица и красота рук — все показывало в нем человека благородного происхождения. Хотя улыбка часто показывалась на его губах, но ясно было, что у Христиерна было тяжелое горе, которое он замыкал в самом себе; никто не знал, за что он находился в заключении. Однажды его призывают; в это время он был занят рисованием — это было его единственное развлечение; часто он набрасывал женскую головку. Он вышел на зов, но вскоре его привели назад, и едва успела за ним затвориться дверь, как он вынул из своего мешка молитвенник и стал читать с видом глубокой набожности. Вечером он заснул по обыкновению и проспал до утра, когда нас разбудил барабанный бой, извещавший, что в тюремный двор пришел отряд стражи. Он поспешно оделся, отдал свои часы и деньги Лельевру, который был его товарищем по постели; потом, несколько раз поцеловав небольшой крестик, который всегда носил на груди, он пожал руку каждому из нас. Консьерж, присутствовавший при этой сцене, был глубоко тронут, Когда Христиерн ушел, он сказал нам:

— Его расстреляют, солдаты в сборе, через четверть часа будет конец всем его страданиям. Вот что значит, когда не везет кому счастье. Этот матрос, которого вы принимали за датчанина, родом из Дюнкирхена. Настоящее его имя Вандермо. Он служил на корвете «Ласточка» и был взят в плен англичанами. Брошенный на понтоне, подобно многим другим, он утомился дышать зловонным воздухом, страдать от голода и, когда ему предложили выйти из этого положения, поступив на небольшое судно, отправлявшееся в Индию, он с радостью согласился. На возвратном пути судно было захва-

чено корсарами, Вандермо был приведен сюда вместе с остальным экипажем. Его предполагали перевести в Валансьен, но в самую минуту отъезда его подвергли допросу и по его ответам заключили, что он не владеет свободно английским языком. Возникают подозрения, он объявляет, что он подданный датского короля, но так как он не может представить никаких доказательств в подтверждение своих слов, то его оставляют под стражей, пока дело не разъяснится. Прошло несколько месяцев, о Вандермо и думать позабыли. В сторожку является женщина с двумя детьми и спрашивает Христиерна. «Муж мой!» — воскликнула она, увидев его, «Дети мои, жена моя!» — и он бросился в их объятия. «Как вы неосторожны, — шепнул я Христиерну, — вы забыли, что вы не одни!»

Я обещал ему сохранить его тайну, но было уже поздно: получив от него известие, его жена спешила поделиться своей радостью с соседями и между ними нашлись люди, которые донесли на него; благодаря этим презренным, Вандермо должен был умереть! Из-за каких-то старых орудий, которыми было вооружено судно, на котором он приехал и которое не вступало в бой, его обвинили в измене своему отечеству. Сознайтесь после этого, что законы несправедливы!

— О да, законы несправедливы! — повторили некоторые из присутствующих, которые толпились вокруг нары, чтобы играть в карты и пить водку.

— Вкруговую! — сказал один из них, передавая стакан.

— Полно тебе рюмить! — воскликнул другой, заметив печальный вид Лельевра. — Есть об чем горевать! Сегодня его очередь, завтра наша наступит.

Эти циничные, бессердечные замечания подали повод к отвратительным шуткам; наконец звук барабана и труб, повторяемый эхом за рекой, дал нам знать, что отряды различных корпусов выступают в лагеря. В течение нескольких минут в арестантской царствовало глубокое, торжественное

молчание; мы думали, что судьба Христиерна совершилась. Но в ту минуту, когда он только что опустился на колени с роковой повязкой на глазах, прискакал адъютант и отменил сигнал, отданный стрелкам. Страдалец снова увидел свет Божий — он возвратится к жене и детям. Он обязан был жизнью маршалу Брюну, тронутому их мольбами. Христиерн, снова возвратившийся в тюрьму, не мог опомниться от радости. Его уверили, что он в скором времени будет освобожден. К императору обратились с ходатайством о его помиловании, и просьба, заявленная от имени самого маршала, была основана на таких великодушных мотивах, что невозможно было сомневаться в успехе ее.

Возвращение Христиерна было для всех радостным событием; все спешили поздравить его, пили за здоровье воскресшего, и прибытие шести новых заключенных, праздновавших свое новоселье с большой щедростью, еще более увеличило торжество. Эти новички, которые, как я узнал, были люди из экипажа Поле, были посажены под арест всего на несколько дней, в наказание за то, что нарушили военный устав, ограбив английского капитана, когда были оставлены на судне, захваченном корсарами. Их не заставили возвратить добычу, и они принесли с собой немало гиней, которые тратили напропалую. Мы все были довольны: тюремщик, которому перепадали крохи нашего кутежа, был в восторге от своих новых клиентов и избавлял их от излишней бдительности и наблюдения. Между тем в нашей камере было трое человек, приговоренных к смертной казни: Лельевр, Христиерн и пьемонтец Орсино, бывший начальник так называемых barbets, который, встретив около Александрии отряд новобранцев, отправлявшихся во Францию, проскользнул в их ряды. Пока Орсино находился под знаменами, он отличался примерным поведением, но он погубил себя излишней откровенностью: голова его была оценена, и он должен был быть казнен в Турине. Пять других наших това-

рищей обвинялись в важных преступлениях. Это были четверо гвардейских матросов, два корсиканца и два провансальца, обвиняемых в убийстве крестьянки, у которой они похитили золотой крест и серебряные серьги. Пятый, как и они, принадлежал к шайке Луны — ему приписывали странные способности: по словам солдат, он обладал искусством делаться невидимкой, он превращался во что ему было угодно и, кроме того, имел дар вездесущия; словом, это был колдун, заслуживший свое прозвище и репутацию единственно тем, что когда угодно навьючивал на себя горб, был хвастуном, насмешником, балагуром; ему случалось заниматься ремеслом уличного фигляра, и поэтому он ловко проделывал некоторые фокусы. С такими клиентами мало тюремщиков решились бы относиться к делу спустя рукава; наш же смотрел на нас, как на отличных малых, с которыми выгодно вести дружбу. Доставляя нам, что нам было угодно, за хорошую плату, ему и в голову не приходило, что мы можем улизнуть от него. До известной степени, он, однако, был прав: Лельевр и Христиерн не имели ни малейшего поползновения к бегству, Орсино примирился со своей судьбой; гвардейские моряки даже и не подозревали, что им может прийтись плохо, колдун рассчитывал на недостаток улик, а корсары были всегда под хмельком и не имели времени предаваться меланхолии. Один я замышлял обширные планы, но из осторожности напускал на себя беззаботный вид; казалось, будто тюрьма — моя родная стихия, и всякий думал, что и благодушествую, как рыба в воде. Я напился пьян всего один раз — в честь возвращения Христиерна. Однажды, когда все спали глубоким сном, около двух часов, я почувствовал мучительную жажду и жар во всем теле; встаю, полусонный, направляюсь к окну, черпаю ковшом и подношу ко рту: ужасная ошибка! Вместо того чтобы почерпнуть из жбана, я черпаю из лохани: вся внутренность перевернулась у меня. На рассвете у меня еще не прошли ужасные спазмы в желудке;

чтобы скорее выбраться на свежий воздух и избавиться от тошноты, я предложил свои услуги вынести помои вместо одного корсара и переоделся в его платье. Проходя через двор, я встретил знакомого унтер-офицера, который шел с шинелью на руке. Он сообщил мне, что приговорен к заключению в тюрьму на месяц за буйство в театре и что он только что внес свое имя в тюремную роспись. «В таком случае, — сказал я, — ты сейчас же вступишь в должность — вот возьми-ка лохань». Мой унтер-офицер был малый сговорчивый, мне не пришлось просить его; пока он выполнял мою обязанность, я смело прошел мимо часового, который не обратил на меня никакого внимания.

По выходе из тюрьмы я пустился бежать за город и остановился только на каменном мостике; усевшись в овраг, я углубился в крепкую думу, как бы мне избавиться от преследований. Мне сначала пришло в голову идти в Кале, но моя злосчастная судьба дернула меня отправиться в Аррас. В тот же вечер я остановился на ночевку в какой-то ферме, служившей постоялым двором для торговцев свежей рыбой. Один из них, отправившийся из Булони тремя часами позже меня, рассказал мне, что казнь Христиерна произвела тяжелое впечатление во всем городе. «Только об этом везде и говорят, — рассказывал он — все ждали, что император помилует его, но по телеграфу ответили — расстрелять, дескать, его надо… Уж раз он вывернулся счастливо, а сегодня, видно, суждено было — так и подкосили голубчика. Просто жалость было слышать, как он кричал: «Помилование! Смилуйтесь!», стараясь приподняться после первого залпа; а позади завыли собаки, в которых попали пули от выстрелов. Просто душу раздирала вся эта сцена! Ну и покончили с ним — видно, суждено было бедняжке! На роду было написано!»

Хотя известие, сообщенное рыбаками, и опечалило меня, но я не мог не подумать, что смерть Христиерна отвлечет

общее внимание от моего побега; до сих пор еще не видно было никаких признаков, что мое отсутствие замечено, и я немного успокоился духом. Я прибыл в Бетюн без всяких приключений, намереваясь поселиться у старого знакомого по полку. Меня приняли с распростертыми объятиями, но как бы человек ни был осторожен, всегда упустит из виду какое-нибудь мелочное обстоятельство. Я предпочел приютиться у друга, нежели остановиться в гостинице. Оказывается, что я попался по своей вине, как бабочка на огонь. Друг мой недавно вторично женился, и брат его жены был одним из тех упорных людей, которые нечувствительны к славе и всеми силами души стремятся к миру. Из этого следовало, что избранное мною местожительство и даже квартиры всех родственников молодого человека часто посещались господами жандармами. Эти желанные гости наводнили жилище моего друга задолго до рассвета, нисколько не стесняясь тем, что я спал: они разбудили меня и потребовали моих документов. Не имея паспорта, который мог бы предъявить, я старался отделаться от них объяснениями — напрасный труд. Бригадир, долго рассматривавший меня со вниманием, вдруг воскликнул: «Я не ошибаюсь — это он, я уж видел этого плута в Аррасе: это Видок!» Нечего было делать, пришлось встать с постели; четверть часа спустя я был уже помещен в Бетюнской тюрьме.

Может быть, читателям небезынтересно будет узнать несколько подробностей о судьбе моих товарищей по заключению, покинутых мною в Булони; я могу отчасти удовлетворить их любопытстве: Христиерна расстреляли — славный был малый! Лельевр, также человек хороший и честный, продолжал жить среди страха и надежд до 1811 г., пока тиф не положил предел его мучительному существованию. Четверо гвардейских матросов были, как известно, убийцы: в один прекрасный день им возвратили свободу и отправили в Пруссию, где двое из них получили крест

за храбрость под стенами Данцига. Что касается колдуна, то он был выпущен на волю без суда. В 1814 г. под именем Коллине он был сделан вахмистром в Вестфальском полку; кончилось тем, что он ограбил доверенную ему кассу; торопясь как можно скорее поместить свои деньги в безопасное место, этот негодяй без оглядки бежал и Бургонь, но в окрестностях Фонтенбло попал в руки казаков. Наступил его последний час — русские покончили с ним пиками.

Мое пребывание в Бетюне было непродолжительно; на другой день после моего ареста меня отправили в Дуэ в сопровождении хорошего эскорта.

Глава девятнадцатая

Меня снова приводят в Дуэ. — Освобождение. — Моя жена выходит замуж. — Я ныряю в Скарпе. — Путешествие мое в чине офицера. — Пребывание в Париже. — Новое прозвище. — Женщина, которая пришлась мне по сердцу. — Я становлюсь ярмарочным купцом. — Казнь Гербо. — Я выдаю вора: он, в свою очередь, выдает меня. — Цель в Оксерре. — Я поселяюсь в столице. — Еще нечто о моей жене. — Укрывательство

Едва я успел войти в тюремный двор, как генеральный прокурор Росон, озлобленный против меня за мои частые побеги, показался у решетки и закричал:

— А! Наконец-то привели Видока! Надеть ему оковы!

— Что я вам сделал, господин прокурор, — ответил я, — что вы так недоброжелательно относитесь ко мне? Уж не потому ли вы так раздражены, что я несколько раз был в бегах? Велико ли это преступление? Разве я, бежавши, не старался всегда найти средство честно зарабатывать себе кусок хлеба? О, поверьте, я не так виновен, как несчастлив! Сжальтесь надо мною, сжальтесь над моей бедной матерью: если я вернусь в галеры — она умрет с горя!

Эти слова, искренний тон, которым они были произнесены, произвели некоторое впечатление на Росона. Он вторично пришел в тюрьму вечером, долго расспрашивал меня, как мне жилось с того времени, как я покинул Тулон, и так как я подтвердил неопровержимыми доказательствами все сказанное мною, то он начал относиться ко мне гораздо благосклоннее. «Что вы не подадите прошения о помиловании? — спросил он, — или по крайней мере не ходатайствуете о смягчении наказания? Я замолвил бы об вас словечко главному судье». Я поблагодарил прокурора за его доброжелательство и в тот же день один адвокат из Дуэ, некто Тома, искренно интересовавшийся моей судьбой, принес мне для подписи прошение, которое он составил для меня.

Я с нетерпением выжидал ответа, как вдруг однажды утром меня призывают в канцелярию: я полагал, что мне желают передать давно ожидаемое решение министра. Горя от нетерпения поскорее узнать свою судьбу, я следую за тюремщиком, с видом человека, ожидающего хорошей, радостной вести. Я надеялся видеть генерального прокурора, а вместо него увидал свою жену. Ее сопровождали какие-то две незнакомые мне личности. Я ломаю себе голову, что могло быть причиной такого неожиданного посещения; мадам Видок спешит удовлетворить мое любопытство, объявив мне самым развязным тоном, что она явилась показать мне документ, утверждающий наш развод: «Я выхожу замуж, — прибавила она, — поэтому мне необходимо было исполнить эту формальность».

Помимо освобождения моего из тюрьмы, едва ли нашлось бы другое известие до такой степени приятное для меня, как расторжение моего брака с этой женщиной. Уж не знаю, удалось ли мне подавить свою радость, но, вероятно, на моей физиономии было написано удовольствие, и если бы мой счастливый соперник присутствовал при этой сцене, он, конечно, не мог бы вынести впечатление, что я хотя сколько-нибудь завидую ему в обладании таким сокровищем.

Мое заключение в Дуэ затянулось до бесконечности. В течение целых пяти месяцев не было ни слуху ни духу о решении моей судьбы. Генеральный прокурор, по-видимому, сильно интересовался мной, но несчастие делает человека недоверчивым и подозрительным — я начинал опасаться, что он убаюкал меня тщетными надеждами с целью отвлечь меня от побега до отправления на каторгу. Эта мысль засела мне в голову, и я с горячностью принялся за свои прежние планы о бегстве.

Тюремщик, по прозванью Ветю, заранее смотрел на меня, как на помилованного, и относился ко мне с некоторым уважением. Мы часто обедали с ним вдвоем в маленькой ком-

натке, единственное окно которой выходило на р. Скарп. Мне показалось, что с помощью этого окна, которое, против обыкновения, не было снабжено решеткой, мне легко будет в один прекрасный день, после обеда, дать тягу; только необходимо было заранее как-нибудь переодеться, чтобы избегнуть преследования, вышедши из тюрьмы. Я посвятил несколько друзей в свою тайну, и они достали для меня полную форму Офицера легкой артиллерии; я обещал воспользоваться ею при первом случае. Однажды в воскресенье, вечером, я сидел за столом с тюремщиком и судебным приставом Гуртрелем, водка развеселила моих собеседников, я не пожалел денег на угощенье.

— Знаешь ли что, молодец, — сказал мне Гуртрель, — тут бы тебя не совсем-то хорошо было держать. Окно без решетки! Ну уж, я бы не доверился.

— Полноте, дядюшка Гуртрель, надо быть легким, как пробка, чтобы рисковать нырнуть с такой высоты, а Скарп ведь глубок, в особенности для того, кто не умеет плавать.

— Это правда, — согласился тюремщик, и разговор на том и прекратился.

Но я твердо решился выполнить свой план. Скоро пришло еще несколько гостей, тюремщик пустился в игру и, когда он углубился в свою партию, я бросился в реку. При шуме моего падения, вся честная компания ринулась к окну; Ветю во все горло звал стражу и тюремщиков в погоню за мной. К счастью, наступили сумерки и трудно было различать предметы: моя шляпа, которую я нарочно бросил на берег, заставляла думать, что я немедленно вышел из реки, а я тем временем плыл да плыл по направлению к шлюзу. Плыть мне было крайне трудно, я продрог, и силы начинали изменять мне. Миновав город, я вышел на берег. Мое платье, пропитанное водой, весило по крайней мере фунтов сто; я тем не менее пустился бежать и остановился лишь в деревушке Бланжи, лежащей на расстоянии двух лье от Арраса.

Было часа четыре утра; булочник, затопивший свою печь, высушил мне платье и дал кое-что поесть. Оправившись и подкрепившись, я продолжал путь и направился в Дюизан, где проживала вдова бывшего капитана, одного из моих приятелей. Нарочно посланный к ней должен был доставить мне мундир, приготовленный для меня в Дуэ. Получив его, я отправился в Герсин и скрывался там несколько дней у одного из моих родственников. Вскоре, однако, мне пришлось убраться; дело в том, что полиция, убежденная, что я нахожусь в той же стране, намеревалась сделать облаву. Она даже напала на мои следы. Делать нечего, надо было убираться.

Для меня было ясно, что один только Париж может доставить мне верное и безопасное убежище; но чтобы туда попасть, надо было вернуться в Аррас, а там меня непременно узнали бы. Я искал средство, чтобы устранить это препятствие; из предосторожности я отправился в плетеной тележке моего двоюродного брата, у которого лошадь была отличная и который сам до тонкости был знаком со всеми проселочными дорогами.

Ссылаясь на свою репутацию отличного кучера, он обещал безопасно провезти меня по улицам моего родного города; я сильно надеялся также на свое переодеванье. Я уже не был Видок, только бы не слишком близко ко мне присматривались. Подъехав к мосту Жея, я не очень испугался, увидев восемь жандармских лошадей, привязанных к дереву у постоялого двора. Признаюсь, я охотно предпочел бы обойтись без этой встречи, но делать нечего, миновать ее не было возможности и необходимо было пустить в ход всю свою смелость, чтобы избавиться от опасности. «Ну, — обратился я к своему родственнику, — здесь, кажется, ты закусить хотел, слезай-ка живей, ступай пропусти рюмочку-другую». Он слез с тележки и направился в харчевню с видом и походкой развязного малого, который не боится косых взглядов бригады.

— Кого везешь, — сказали ему жандармы, — уж не своего ли родственника Видока?

— Может быть, — ответил он, смеясь, — ступайте поглядите сами.

Один из жандармов действительно подошел к моей тележке, но более по влечению любопытства, нежели из чувства подозрительности. При одном виде моего офицерского мундира он почтительно отдал мне под козырек; вскоре он сел на лошадь и скрылся из виду вместе со своими товарищами.

— Счастливого пути! — крикнул им вслед мой родственник, хлопая бичом. — Если поймаете его, смотрите, напишите.

— Будь покоен, — ответил вахмистр, командовавший взводом, — мы знаем, где раки зимуют, пароль — Герсин: завтра об эту пору он будет пойман, голубчик.

Мы мирно продолжали свой путь, но мне, однако, пришла в голову тревожная мысль: военная форма могла подвергнуть меня мелким неприятностям, неудобным по своим последствиям. Война с Пруссией началась и внутри страны мало приходилось встречать офицеров, разве только они принуждены были удалиться вследствие ран. Я решил носить руку на перевязи и всем говорить, что я был ранен в сражении при Тене. Если станут меня расспрашивать о подробностях этого замечательного дня, я сумею ответить, думал я; ведь читал же бюллетени, да, кроме того, мне приходилось слышать много всяких рассказов, правдивых и ложных, от очевидцев. Словом, я знал кое-что про сражение при Тене, и мог говорить о нем что угодно, не путаясь и не сбиваясь. Я на славу выполнил свою роль, когда на это представился случай в Бомоне, где мы принуждены были сделать привал, так как лошадь, сделав тридцать пять лье в день, сильно измучилась. Я уж начал было разговор на постоялом дворе, как вдруг увидал, что вахмистр подходит к драгунскому офицеру и требует,

чтобы тот представил свои документы. Я, в свою очередь, подошел к вахмистру и спросил его, к чему такая предосторожность.

— Я просил его показать мне свою подорожную, — ответил он, — теперь такое время, что все в армии, во Франции не место для офицера, годного к оружию.

— Вы тысячу раз правы, товарищ! — воскликнул я, и, чтобы ему не пришла охота ревизовать мои бумаги, поспешил пригласить его обедать. Во время обеда я до такой степени сумел завоевать его доверие, что он просил меня, когда я буду в Париже, похлопотать о его переводе в другой город. Я обещал ему все, что ему было угодно; он был в восторге. Известно, что легко предлагать кредит, когда его нет.

Как бы то ни было, а бутылки опоражнивались одна за другой, и мой собеседник, торжествуя, что неожиданно приобрел такую могущественную протекцию, стал мне плести разный вздор, почти совсем опьянев. Вошел жандарм и вручил ему конверт с депешами. Он сорвал печать дрожащей рукой и хотел приняться за чтение, но его глаза, помутившиеся от вина, положительно отказывались служить ему, и он просил меня за него исполнить эту обязанность. Я открываю письмо и первые слова, бросившиеся мне в глаза, были «Бригада Арраса». Я быстро пробегаю послание; в нем сообщалось о том, что я проезжал через Бомон и, вероятно, сел в дилижанс «Серебряного Льва». Несмотря на мое замешательство, я прочел заявление, совершенно извратив его смысл. «Ну, ладно, ладно, — пробормотал усердный служака, — карета проходит только завтра поутру, успеем еще этим заняться». Он хотел снова начать попойку, но силы ему изменили и его принуждены были вынести из зала на руках, к негодованию всей почтенной публики, повторявшей: «Виданое ли дело, вахмистру, человеку с чином, пускаться на такие безобразия!»

Понятно, я не счел нужным ждать пробуждения этого чиновною служаки; в пять часов утра я занял место в Бомон-

ском дилижансе, который в тот же день благополучно довез меня в Париж, куда перешла ко мне моя мать, еще продолжавшая жить в Версале. Мы прожили вместе несколько месяцев в предместье Сен-Дени, где не видались ни с кем, за исключением золотых дел мастера Жаклена; я принужден был отчасти посвятить его в свою тайну, так как он знал меня в Руане под именем Блонделя. У Жаклена я встретился с женщиной, которой суждено было играть немаловажную роль в моей жизни. Мадам Б ***, или попросту Аннетта, была довольно хорошенькая, молоденькая женщина, которую муж бросил вследствие расстройства дел. Он бежал в Голландию, и давно уже о нем не было ни слуху ни духу. Аннетта была свободна, как птица; она понравилась мне. Я полюбил ее ум, характер, ее доброе сердце и осмелился намекнуть ей об этом. Она, впрочем, сама увидела, что я к ней неравнодушен, и не рассердилась. Вскоре мы сошлись и ближе, и уже не могли существовать друг без друга. Аннетта перебралась ко мне жить, и так как я решился снова взяться за ремесло разносчика, то она захотела сопровождать меня в моих путешествиях. Первое наше путешествие было удачно как нельзя более. Только в то время, как я отправлялся из Мелена, трактирщик, у которого я останавливался, заявил что полицейский комиссар выразил сожаление, что не осмотрел моих бумаг, но лучше поздно, чем никогда, прибавил он; он все-таки рассчитывал сделать мне визит. Это сообщение меня удивило; вероятно, я показался им подозрительным, подумал я. Идти далее — было бы скомпрометировать себя. Я тотчас же вернулся в Париж, твердо решившись не предпринимать никакой попытки до тех пор, пока мне не удастся устранить все препятствия, возникающие на моем пути.

Отправившись в путь рано утром, я прибыл в предместье Сен-Марсо еще не поздно, и вдруг услышал завывания глашатая, выкрикивавшего, что сегодня состоится на Гревской площади казнь двух известных преступников. Имя Гербо

поразило мой слух. Того самого Гербо, который был причиной всех моих бед! Я прислушался внимательнее, с невольным трепетом, и на этот раз глашатай повторил приговор с вариантами: «Вот приговор уголовного суда Сенского департамента, осуждающий на смерть Армана Сен-Леже, бывшего моряка, родившегося в Булони, и Цезаря Гербо, освобожденного каторжника, обвиняемых и осужденных за убийство» и т. д.

Все мои сомнения исчезли: презренный человек, погубивший меня, должен сложить голову на плахе. Признаться ли мне в этом?.. Я почувствовал прежде всего радость и облегчение, а между тем внутренне содрогнулся. Измученный в продолжение всей своей жизни, волнуемый постоянной тревогой и беспокойством, я рад был бы истреблению всего ужасного населения тюрем и галер, которое, ввергнув меня в бездну, преследовало меня своими жестокими уликами. Поэтому неудивительно, что я поспешил сбегать в суд, чтобы самому убедиться в истине; это было еще перед полуднем, и мне стоило громадных усилий добраться до решетки, перед которой я наконец занял место, выжидая роковой минуты.

Наконец пробило четыре часа. Ворота отворяются настежь, появляется человек на позорной колеснице, это был Гербо. Лицо его покрыто смертельной бледностью, он старается выказать храбрость, но его выдает нервное, конвульсивное подергивание личных мускулов, Он еще силится говорить со своим товарищем, который уже не в состоянии слушать его. Подан сигнал к отправлению; Гербо, с видом напускной отваги, бросает взгляд на окружающую толпу, глаза его встречаются с моими… он вздрагивает… мимолетный румянец появляется на его смертельно бледном лице… Между тем процессия проходит мимо. Я стою неподвижно, как вкопанный; долго я еще остался бы в таком положении, если бы один из смотрителей тюрьмы не пригласил меня удалиться. Двадцать минут спустя телега с красным покрывалом, под эскортом жандарма, рысью проехала по мосту аи-

Change, направляясь к кладбищу преступников. Со стесненным сердцем я удалился и пришел домой, погруженный в самые печальные размышления.

С тех пор я узнал, что во время своего заключения в Бисетре Гербо выражал сожаление, что он безвинно погубил меня. Преступление, которое привело этого злодея на эшафот, — было убийство, совершенное в сообществе с Сен-Леже и жертвой которого была одна дама, жившая у площади Дофин. Оба злодея вторглись ней под предлогом сообщить ей известия о ее сыне которого, по их словам, они будто бы видели в армии.

Хотя, в сущности, казнь Гербо не могла иметь никакого непосредственною влияния на мою судьбу, но она меня смутила и встревожила до глубины души. Я ужаснулся того, что мне пришлось иметь дело с разбойниками осужденными на плаху; мои воспоминания унижали меня в моих собственных глазах; я внутренне краснел сам за себя; мне хотелось бы утратить память и провести демаркационную линию между настоящим и будущим, но я ясно сознавал, что будущее находится в прямой зависимости от прошедшего. Я был несчастен тем, что полиция, не всегда действовавшая осмотрительно, не позволяла мне забываться ни на минуту. Словом, я ожидал с минуты на минуту быть схваченным, как вредное животное. Глубокое убеждение, что меня не допустят сделаться порядочным человеком, повергало меня в отчаяние, я был молчалив, угрюм, задумчив. Аннетта заметила мое печальное состояние и захотела утешить и развеселить меня. Она предлагала посвятить мне всю свою жизнь, она осыпала меня вопросами: я выдал ей свою тайну — и никогда мне не пришлось сожалеть об этом. Деятельность, преданность, присутствие духа этой женщины оказали мне истинную пользу. Мне необходим был паспорт — она убедила Жакелена отдать мне свой, и чтоб дать мне возможность воспользоваться им, он сообщил мне самые подробные сведения

о своем семействе, своих связях и положении. Снабженный этими инструкциями, я снова пустился в путь и исколесил всю Нижнюю Бургундию. Повсюду мне приходилось предъявлять свои бумаги, и если бы наружность мою проверяли по указаниям паспорта, то легко было бы открыть обман; но нигде этого не заметили. В течение целого года, помимо небольших неприятностей, о которых не стоит упоминать, имя Жакелена принесло мне счастье.

Однажды, прибыв в Оксерр и спокойно прохаживаясь на гавани, я встретил некоего Пакэ, вора по ремеслу, с которым я познакомился в Бисетре, где он содержался в заключении в продолжение нескольких лет. Мне было бы крайне желательно избегнуть этой встречи, но он почти врасплох подошел ко мне, и с первых слов я убедился, что с моей стороны было бы неблагоразумно стараться отделаться от него. Ему страшно хотелось разузнать, что я тут делаю, и так как из его разговора легко было увидеть, что он желает втянуть меня в воровской промысел, то я выдумал, чтобы избавиться от него, заговорить о бдительности и строгости оксеррской полиции. Слова мои метко попали в цель — вор струсил. Я в черных красках изобразил опасность, и наконец мой собеседник, выслушав меня с тревожным вниманием, воскликнул: «Черт возьми, да ведь тут скверно оставаться: карета уходит через два часа — если хочешь, удерем». «Ладно, — согласился я, — если в этом дело, то рассчитывай на меня, я твой товарищ». Потом я оставил его, ссылаясь на необходимость окончить некоторые приготовления перед отъездом. Нет ничего ужаснее положения беглого каторжника, который, не желая быть проданным первым встречным, вынужден принять на себя инициативу, т. е. сделаться доносчиком. Вернувшись в гостиницу, я написал жандармскому полковнику письмо, в котором заявлял, что напал на след виновников кражи, совершенной недавно в конторе дилижансов.

«Милостивый государь, личность, не желающая сообщать своего имени, предупреждает вас, что один из виновников покражи, совершенной в конторе дилижансов вашего города, отправится в шесть часов в дилижансе Жуаньи, где его, по всей вероятности, ожидают его сообщники. Чтобы не выпускать его из рук и арестовать в надлежащее время, хорошо было бы посадить в один с ним дилижанс переодетых жандармов; весьма важно, чтобы они действовали с крайней осторожностью и не теряли из виду субъекта: он человек ловкий и бывалый».

Это послание сопровождалось описанием наружности Пакэ до того подробным, что ошибиться не было никакой возможности. Настало время отъезда; я отправился в гавань окольными путями и из окна комнаты, нарочно нанятой для наблюдения, увидел Пакэ, входящего в омнибус; за ним туда же сели переодетые жандармы, которых я узнал по особому чутью, которое передать словами невозможно. От времени до времени они передают друг другу какую-то бумагу, наконец глаза их останавливаются на моем молодце, одежда и вид которого плохо рекомендуют его. Дилижанс трогается, и я с наслаждением вижу, как он скрывается из виду, тем более, что он увозит Пакэ, его предложения и его разоблачение, если только он намерен был делать таковые.

Дня два после этого приключения я был занят пересмотром своих товаров, как вдруг слышу необычайный шум и высовываю голову в окно: это каторжники, которых вели Тьерри и его тюремные аргусы. При этом зрелище, до такой степени ужасном и тревожном для меня, я спешил скрыться, но второпях разбил стекло, Все взоры обращаются на меня: я охотно провалился бы сквозь землю. Но это еще не все, к довершению моего ужаса и смущения дверь отворяется и входит мадам Жела, хозяйка гостиницы «Фазан». «Идите-ка сюда, мосье Жакелен, посмотрите на каторжников, — крикнула она… — Давно не случалось видеть такой славной коллекции; как

на подбор все, молодцы такие, штук сто с лишним будет! Слышите, как поют-то?» Я поблагодарил хозяйку за ее внимательность и, притворяясь, что очень занят, сказал, что сойду вниз в одну минуту. «Торопиться не к чему, — сказала она, — время терпит… они переночуют здесь в наших конюшнях. Если пожелаете покалякать с их начальником, так дадим ему комнату возле вашей». Лейтенант Тьерри — мой сосед! При этом известии со мной сделалось что-то ужасное: если бы мадам Жела наблюдала за мной, она заметила бы смертную бледность, покрывшую мое лицо, и содрогание, пробежавшее по всему моему телу. Лейтенант Тьерри — мой сосед! Он мог узнать меня, схватить; малейший жест, малейший звук мог выдать меня, поэтому я остерегался показываться. Я мог извиниться недосугом и сослаться на то, что мне необходимо кончить составление реестра, и тем объяснить недостаток любопытства со своей стороны. Я провел ужасную ночь. Наконец, в четыре часа утра, бряцание цепей известило о выступлении в путь адской процессии. Я вздохнул свободнее.

Не страдал никогда тот человек, кто не испытал смертельных мук и тревог, подобных тем, которые вытерпел я от присутствия этой шайки разбойников и их сторожей. Снова надеть оковы, которые я сбросил ценой таких страшных усилий, — вот мысль, которая не покидала меня ни днем ни ночью. Я не был единственным обладателем своей тайны, много было каторжников на белом свете: мое спокойствие, моя жизнь подвергались опасности всегда и повсюду. Косой взгляд, имя комиссара, появление жандарма, прочтение ареста — все могло возбудить и поддерживать мою тревогу. Сколько раз я проклинал судьбу, погубившую мою молодость, проклинал свои беспорядочные страсти и тот суд, который своим несправедливым приговором повергнул меня в бездну, из которой я не мог выбраться, проклинал, наконец, все эти порядки, закрывающие двери раскаяния… Я был изгнан из общества, между тем я готов был предоставить ему все необ-

ходимые гарантии; я дал ему лучшие доказательства своих благих намерений: всякий раз после моего бегства я отличался примерным поведением, привычкой к порядку и редкой добросовестностью в выполнении всех своих обещаний.

Теперь в глубине моей души возникали некоторые опасения насчет этого Пакэ, арестованного благодаря мне; пораздумав, я решил, что поступил довольно опрометчиво: надо мной тяготело предчувствие чего-то недоброго и предчувствие это сбылось. Пакэ, препровожденный в Париж, потом снова доставленный в Оксерр для очной ставки, узнал каким-то образом, что я все еще нахожусь в городе. Он всегда подозревал меня в том, что я выдал его, и поклялся отомстить. Он рассказал тюремщику все, что знал на мой счет. Последний донес обо всем этом кому следует, но моя репутация безукоризненной честности так прочно установилась в Оксерре, где я проживал целых три месяца, что, во избежание бесполезного скандала, один судья, имя которого я умолчу, призвал меня и предупредил обо всех обвинениях, возводимых на меня. Мне не пришлось открывать ему всей истины, мое смущение выдало меня; у меня достало только сил на то, чтобы сказать ему: «Ах, господин судья, я право искренно желал сделаться честным человеком». Не ответив ни слова, он вышел и оставил меня одного; я понял его великодушное молчание. Через четверть часа я был уже далеко от Оксерра и из своего убежища написал Аннетте, уведомляя ее о новой постигшей меня катастрофе. Чтобы отвлечь все подозрения, я просил ее остаться еще недели две в гостинице «Фазан» и сказать всем знакомым, что я уехал в Руан для закупок. Аннетта должна была встретить меня в Париже и действительно приехала в назначенный день. Она рассказала мне, что на другой день после моего отъезда переодетые жандармы приходили в мой магазин с целью арестовать меня, но, не найдя меня, сказали, что этим дело не кончится и что меня откроют во что бы то ни стало.

Итак, поиски будут продолжаться; вот еще неприятность, разбивающая в пух и прах все мои планы: отыскиваемый под именем Жакелена, я был принужден оставить это имя и еще раз отказаться от ремесла, которому посвятил себя.

У меня уже не было никакого паспорта, фальшивого или правильного, который мог бы сколько-нибудь обеспечить меня в кантонах, где я обыкновенно странствовал; в тех, где я никогда еще не был, мое внезапное появление могло возбудить против меня подозрение. Положение мое становилось невыносимым. На что решиться? Эта мысль страшно мучила меня, как вдруг доставил мне знакомство с портным, имевшим свой магазин во дворе Сен-Мартен; он желал продать свое заведение. Я стал с ним торговаться, убежденный, что нигде я не буду в такой безопасности, как в центре столицы, где легко стушеваться в толпе. Действительно, прошло несколько месяцев и ничто не нарушало спокойствие, которым мы наслаждались с Аннеттой. Моя торговля процветала с каждым днем: дела шли лучше и лучше. Я уже не ограничивался, как мой предшественник, шитьем платья, я торговал сукнами и, может быть, был уже на пути к обогащению, как вдруг в одно прекрасное утро мои треволнения возобновились.

Я был в своей лавке; вдруг входит посыльный и объявляет мне, что меня кто-то ожидает в трактире на улице Омерр. Полагая, что дело идет, о каком-нибудь заказе или сделке, я немедленно отправляюсь в назначенное место. Меня вводят в отдельную комнату, где я к ужасу своему вижу двух беглых каторжников из Брестского острога; один из них был Блонди, который, если вам помнится, был зачинщиком злополучного бегства из Понт-Лезена. «Вот уже два дня, как мы здесь, — сказал он, — и сидим без гроша. Вчера мы видели тебя в магазине и порадовались, узнав, что он твой собственный… Теперь, слава Богу, мы уже не так беспокоимся, мы ведь знаем тебя, ты не такой человек, чтобы не выручить товарищей из беды».

Для меня была убийственна мысль связаться с этими разбойниками, способными на все, даже продать меня полиции, не щадя самих себя. Я старался показать им, что очень счастлив, свидевшись с ними. Я прибавил, что так как я небогат, то мне очень жаль, что я не могу пожертвовать им более пятидесяти франков. Они, казалось, остались довольны этой суммой и, уходя, объявили мне, что намерены отправиться в Шалон на Марне, где у них были «дела». Я был бы счастлив, если бы они навсегда убрались из Парижа, но, прощаясь, они обещали мне скоро приехать назад, и я постоянно пребывал в страхе, опасаясь их скорого возвращения. Уж не хотят ли они превратить меня в дойную корову и заставить дорогой ценой купить их молчание? Меня мучил вопрос: может быть, они будут ненасытны? Кто мне поручится в том, что их требования не выйдут из границ возможного? Я уже мысленно видел себя банкиром этих господ и еще многих других, им подобных, так как можно было ожидать, что, согласно обычаю, существующему у воров, они передадут меня своим друзьям-приятелям, и те, в свою очередь, станут обирать меня. Я мог быть с ними в хороших отношениях только до первого отказа, дойдя до этого, несомненно, что они сыграют со мной какую-нибудь скверную штуку. Связавшись с такими негодяями, мог ли я быть спокоен? Мое положение было далеко не завидное, и вскоре оно ухудшилось вследствие одной роковой встречи.

Читатели, вероятно, помнят, что жена моя после развода вступила во второй брак; я думал, что она находится в департаменте Па-де-Кале и живет припеваючи со своим новым супругом; не тут-то было, в один прекрасный день я столкнулся с нею носом к носу в улице Пети Каро. Невозможно было избегнуть ее — она узнала меня издали. Я принужден был вступить с ней в разговор. Не напоминая ей о ее проступках по отношению ко мне и убедившись по жалкому состоянию ее туалета, что жизнь ее далеко не красная, я дал ей немного

денег. Может быть, она вообразила, что мое великодушие не вполне бескорыстно, но мне даже и в голову не приходило, чтобы моя бывшая супруга могла выдать меня. И действительно, вспоминая позже о наших распрях и пререканиях в былое время, я понял, что поступил чрезвычайно благоразумно и осмотрительно, и мне показалось очень естественным, что эта женщина, находясь в бедственном положении, могла рассчитывать на известную помощь с моей стороны. Если бы я был в тюрьме или находился вдали от Парижа, то не был бы в состоянии облегчить ее нужду. Это соображение, естественно, должно побудить ее к молчанию, по крайней мере, так я думал; впоследствии увидят, ошибся ли я.

Содержание моей жены было бременем, которое я добровольно взвалил на свою спину, но я еще не вполне сознавал всю тяжесть этой обузы. Прошло недели две со времени нашего свидания. Однажды утром за мной присылают из улицы Echiguier, я отправляюсь на зов. В глубине двора, в довольно опрятной, хотя бедно меблированной квартире, в нижнем этаже, нахожу не только свою жену, но ее племянниц и их отца, террориста Шевалье, недавно высидевшего шесть месяцев в тюрьме за покражу серебра. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы убедиться, что целая семья повисла у меня на шее.

Эти люди были в крайней нужде, я ненавидел их, проклинал их в душе, но не мог поступить иначе, как протянуть им руку помощи. Для них я должен был, что называется, из кожи лезть, и чтобы не попасть снова в руки аргусов, я твердо решился поставить последний грош ребром.

В это время казалось, будто весь свет сговорился против меня; ежеминутно мне приходилось раскошеливаться, и спрашивается, для кого же? Для людей, которые считали мою щедрость обязательной, людей, готовых продать меня, коль скоро я покажусь им ненадежным источником доходов. Возвратившись от жены домой, я еще лишний раз убедился,

каково быть беглым каторжником, — Аннетта и моя мать были в слезах. Оказывается, что в мое отсутствие меня спрашивали каких-то два пьяных человека, и когда им объявили, что меня нет дома, они разразились ругательствами и угрозами, и я не мог ни минуты сомневаться в том, что они замышляют что-то недоброе. По описанию этих двух личностей, которые мне сделала Аннетта, нетрудно было узнать Блонди и его товарища Дюлюка; да и к тому же они оставили свой адрес, настоятельно требуя прислать им сорок франков. Этого было слишком достаточно, чтобы догадаться, кто это был; кроме них, никто во всем Париже не может дать мне такого приказа. К прискорбию своему, я был кроток и послушен, как ягненок; только платя дань этим мошенникам, я не мог не заметить им, что они поступили довольно необдуманно.

— Вот, видите ли вы, что вы теперь наделали, — сказал я. — В славное положение вы меня ставите, нечего сказать; дома ничего не знали, а вы все растрезвонили. Лавка-то на имя жены, и она, чего доброго, захочет вытурить меня вон, тогда опять придется локти кусать да мостовую гранить!

— Не беда, будешь работать с нами, — ответили мне оба разбойника.

Я пытался разъяснить им, что несравненно лучше зарабатывать себе кусок хлеба честным трудом, нежели постоянно жить в страхе полиции, которая рано ли, поздно ли всегда опутывает мошенников своими сетями. Я прибавил, что одно преступление всегда влечет за собою другое, кто решился рисковать попасть на цепь, тот прямо лезет на гильотину; в заключение своего наставления я внушил им, что они умно сделали бы, отказавшись от избранной ими карьеры, сопряженной с такими опасностями.

— Недурно, — воскликнул Блонди, когда я окончил свою проповедь, — право, недурно придумано! А пока не можешь ли ты нам указать, нет ли где чего пообчистить? Вот видишь

ли, мы, как Арлекин, не столько гонимся за советами сколько за денежками.

Они ушли, осмеяв меня. Я вернул их, чтобы снова уверить в своей преданности и снова просил их не приходить ко мне на дом.

— Ну, ладно, что с тобой толковать, — ответил Дюлюк, — не придем, коли это твоей барыне не нравится.

Но они недолго держали свое обещание. Дня через два, когда смерклось, Блонди явился ко мне в магазин и пожелал поговорить со мной наедине. Я повел его наверх в свою комнату.

— Надеюсь, мы одни, — сказал он, окидывая взором комнату, где мы находились. Убедившись, что никто нас не подслушивает, он вынул из кармана одиннадцать серебряных приборов и двое золотых часов и положил их на стол.

— Послушай, четыреста франков за все это, идет, что ли? Ведь недорого, товар важный! Ну, нечего толковать, отсчитай-ка финаги (деньги).

— Четыреста франков! — воскликнул я, смущенный таким неожиданным требованием. — Да у меня их нет.

— А мне что за дело! Ступай продавай вещи…

— Но если захотят узнать…

— А уж это как тебе будет угодно, а мне надо денег, и дело с концом, а впрочем, если ты желаешь я пришлю тебе покупщиков в твою лавчонку, знаешь ли… из префектуры. Ты со мной не шути… подавай финаги без рассуждений.

Я слишком хорошо понимал его… Я уже мысленно представлял себя проданным, лишенным положения приобретенного с таким трудом, снова отведенным в галеры… Нечего делать, четыреста франков были отсчитаны.

Глава двадцатая

Еще разбойник. — Моя плетеная таратайка. — Арест обоих каторжников. — Ужасные открытия. — Сен-Жермен хочет сманить меня на воровство. — Я предлагаю свои услуги полиции. — Смертельная тревога. — Мое убежище. — Забавное приключение. — Шевалье выдает меня. — Аннетта в депо префектуры. — Я собираюсь покинуть Париж. — Меня схватывают в одной рубашке. — Я снова в Бисетре

Итак, я сделался укрывателем украденных вещей, преступником помимо своей воли; но факт оставался тем же — я приложил руку к преступлению. Трудно составить себе понятие об адских муках, которые я переживал. Я находился в беспрерывном волнении: угрызения совести и опасения в одно и то же время осаждали меня. Ночью, днем, каждый час, каждую минуту я дрожал от страха, я потерял сон, аппетит, мои дела больше не занимали меня — все мне опостылело, все стало для меня ненавистным. Все!.. Нет, не все — у меня оставались Аннетта и мать моя. Но разве мне не придется расстаться с ними? Я с ужасом помышлял о том, что мой дом превращается в гнусный, отвратительный притон, что в него врывается полиция и дознание обнаруживает мое участие в преступлении, которое должно навлечь на меня кару правосудия. Измученный семейством Шевалье, поедавшим все мои доходы; постоянно тревожимый Блонди, который то и дело выманивая у меня деньги; доведенный до отчаяния своим безвыходным положением, стыдясь находиться под влиянием таких гнусных тварей, наконец, раздраженный тем, что не был в состоянии порвать роковые узы, связывающие меня с самым низким отребьем человеческого рода, — я был близок к полному отчаянию и в течение целой недели имел самые пагубные замыслы. Блонди, презренный Блонди более всех приводил меня в ярость. Я охотно задушил бы его, а между тем я принимал его к себе, окружал вниманием. При моем

вспыльчивом, необузданном характере такое терпение было настоящим чудом; этим я был обязан Аннетте. О, если бы знали, как искренно, от всей души, я желал, чтобы в одну из экскурсий Блонди какой-нибудь благодетельный жандарм схватил его за ворот! Я льстил себя надеждой, что это случится скоро. Всякий раз, что ему случалось замешкаться долее обыкновенного, я уже надеялся, что настала минута, когда я буду избавлен от этого негодяя, — но увы! Он вскоре появлялся, и с ним возвращались мои треволнения.

Однажды я увидел его идущим с Дюлюком и бывшим чиновником, Сен-Жерменом, которого я знал еще в Руане, где он временно пользовался репутацией довольно честного человека. Сен-Жермен, для которого я был негоциантом Бонделем, был очень удивлен, встретив меня, но Блонди в нескольких словах дал ему понятие о моей истории; он отрекомендовал меня «продувным плутом»; тогда доверчивость заменила удивление, и Сен-Жермен, который, при встрече со мной наморщил было лоб, при этой рекомендации вдруг просветлел. Блонди уведомил меня, что они все трое отправляются в окрестности Санлис и просил меня одолжить ему свою плетеную таратайку, которую я употреблял для разъездов по ярмаркам. Обрадовавшись надежде избавиться наконец от этих негодяев, я поспешил дать им записку к тому лицу, у которого находилась моя тележка. Им выдали экипаж с упряжью, они пустились в путь, и десять дней я не получал от них никакой вести. Наконец явился Сен-Жермен; он имел взволнованный вид и казался разбитым от усталости.

— Ну, — сказал он, — товарищи заарестованы!

— Арестованы! — повторил я в порыве неудержимой радости, но, овладев собою, я стал осведомляться о подробностях происшествия, стараясь казаться встревоженным.

Сен-Жермен вкратце рассказал мне, как Блонди и Дюлюк были арестованы, собственно, потому, что путешествовали без документов; я не поверил ему ни слова и остался при

мысли, что они, вероятно, удрали какую-нибудь неблаговидную штуку. Меня подтвердило в моих подозрениях то, что на мое предложение послать им денег Сен-Жермен ответил, что это было бы бесполезно. Отправляясь из Парижа, они имели на троих пятьдесят франков; конечно, с такой скромной суммой им трудно было бы сберечь кое-что, как же случилось то, что они до сих пор не нуждаются? Прежде всего мне пришла в голову мысль, что они, вероятно, совершили какую-нибудь крупную покражу, и что им не с руки рассказывать о ней, но вскоре я узнал, что дело шло о более важном покушении.

Через два дня после возвращения Сен-Жермена мне вздумалось пойти посмотреть свою таратайку. Осматривая тележку внутри, я заметил на белой с голубым парусинной обивке красноватые следы, очевидно, недавно замытые; потом, открыв важу, я нашел ее наполненной кровью, будто там лежал труп. Все стало мне ясным — истина оказалась еще ужаснее всех моих подозрений. Я не колебался в своем решении; еще более заинтересованный, нежели сами убийцы, в уничтожении всех следов злодеяния, на следующую ночь я отвез таратайку в уединенное место на берегу Сены. Дойдя до Берси, я поджег солому и хворост, которыми набил экипаж, и удалился только тогда, когда от него осталась одна зола.

Сен-Жермен, которому я на другой день сообщил мои наблюдения, — не сказав, однако, что сжег тележку, — признался мне, что в ней был спрятан труп извозчика, убитого Блонди между Лувром и Даммартен, пока не нашли случая бросить его в колодец. Этот негодяй, самый отважный, самый наглый, какого только мне случалось видеть, говорил об этом преступлении, как о невиннейшем поступке; с улыбкой на губах и самым развязным тоном он перечислял малейшие подробности злодейства. Он наводил на меня ужас; я слушал его с омерзением. Когда он сообщил мне, что ему надо достать отпечатки замков одного дома, жильцы которого были

мне известны, мое замешательство и страх дошли до крайних пределов. Я хотел сделать ему некоторые замечания.

— А мне-то что за дело, что ты знаешь их?.. Тем более удобно, по-моему. Тебе известны все ходы, поведешь меня, и наживу разделим по-братски… Ну полно, — прибавил он, — нечего тут мямлить, мне нужны отпечатки, слышишь ли?

Я подал вид, что на меня действует его красноречие.

— Давно бы так! — воскликнул он. — А то к чему тут церемониться да чваниться? Лучше бы молчал, надоел ты мне со своими иеремиадами. Наконец, теперь-то дело в шляпе, идет пополам?

Боже мой! Что за сделка! К чему было радоваться аресту Блонди? Я положительно попадал из огня да в полымя. Блонди еще принимал в расчет некоторые соображения, Сен-Жермен — никогда, он был гораздо настойчивее в своих требованиях. Ежеминутно подвергаясь опасности быть скомпрометированным, я решился сделать попытку перед г. Анри, начальником охранительной полиции в префектуре. Я отправился к нему. Описав ему свое положение, я объявил, что если желают допустить мое жительство в Париже, то я готов сообщить множество весьма важных сведений о беглых каторжниках, которых я знал убежища и планы.

Г. Анри принял меня довольно благосклонно, но, подумав с минуту, он ответил, что не может принять на себя никакого обязательства относительно меня.

— Это вам не мешает сделать мне разоблачения, — продолжал он, — мы обсудим, заслуживают ли они внимания, и тогда, может быть…

— Ради Бога, — перебил я, — без неопределенностей; это подвергает опасности мою жизнь: вы не имеете понятия, на что способны люди, которых я намерен выдать вам, и если мне придется вернуться в галеры после того, как станет известным, что я имел сношения с полицией, то я человек погибший.

— В таком случае об этом говорить не стоит.

И он отпустил меня, не спросив моего имени.

Неудача моей попытки приводила меня в отчаяние. Сен-Жермен не преминет вернуться, он, наверное, принудит меня сдержать свое слово. Я положительно терял голову. Что мне было делать: должен ли я был предупредить ту личность, которую мы условились ограбить сообща? Если бы представилась какая-нибудь возможность избегнуть участия в этом деле, тогда было бы не так опасно предупредить жертву. Но я обещал свое содействие; по-видимому, не было никакой возможности избавиться от своего обещания, и я ждал его, как смертного приговора. Прошла неделя, наконец, две, три, в беспрерывной тревоге. По прошествии этого времени я вздохнул посвободнее; через два месяца я успокоился вполне, полагая, что Сен-Жермена где-нибудь арестовали, как его двух товарищей. Аниетта горячо молилась, сожгла несколько восковых свечей, прося у Бога оставить этих людей на их теперешнем месте. Наши муки были продолжительны, минуты спокойствия, напротив, очень кратки: они предшествовали катастрофе, решившей судьбу моей жизни.

3 мая 1809 года, на рассвете, я был внезапно разбужен стуком во входную дверь моей лавки; я быстро сошел вниз, чтобы узнать, в чем дело, и уже намеревался снять засов, как вдруг услышал разговор вполголоса:

— Он малый здоровенный, — говорил один из них, — надо принять предосторожности!

Конечно, я более не сомневался в том, что значит этот ранний визит, и поспешно побежал назад в свою комнату. Аннетта уже успела узнать об угрожавшей мне опасности; она открыла окно и пока начала разговор с полицейскими, я в одной рубашке лечу по черной лестнице в верхние этажи. Добравшись до четвертого, я осматриваюсь кругом — ни души, прислушиваюсь — я один-одинешенек. В углублении

стены стоит кровать, прикрытая в виде полога обрывком полинялого малинового штофа. Убежденный, что лестница уже охраняется снизу, я прячусь под матрасы. Едва успел я примоститься, как в комнату кто-то входит, начинается разговор, я по голосу узнаю молодого мальчика, некоего Фоссэ, которого отец, по ремеслу медник, лежал в соседней комнате. Завязался следующий разговор:

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Отец, мать и сын.

Сын. Знаешь ли что, батюшка, ведь портного нашего ищут... арестовать хотят. Весь дом переполошился... Слышишь звонок... Вот, вот, теперь они позвонили к часовщику.

Мать. Ну и пускай себе звонят, тебе какое дело, не суй свой нос в чужие дела. (К мужу) А ты изволь одеваться, того и гляди сюда прилезут.

Отец (позевывая и, вероятно, протирая себе глаза). Черт бы их подрал! Чего они хотят от портного-то?

Сын. Уж этого я не знаю, только их там целая ватага: и полицейские, и жандармы, и комиссар с ними.

Отец. Может быть, из-за какого-нибудь вздора всю кашу заварили.

Мать. Ну чем он мог провиниться, этот портной?

Отец. Чем?.. А вот чем. Он сукном ведь торгует, так уж верно он товар английский продавал.

Мать. Ну что ты, морочить что ли меня вздумал, на смех что ли говоришь! Ну разве из-за этого стали бы арестовывать?

Отец. А ты думаешь, даром декретировали континентальную блокаду?

Сын. Папа, а что это такое — континентальная блокада, на воде она плавает, или нет?..

Мать. В самом деле, объясни-ка нам в точности, что это значит?

Отец. Это вот что значит, что портного-то неравно заблокируют.

Мать. Боже мой! Ах он горемычный! Я уверена, его заграбастают… Такие разве бывают преступники? Кабы от меня зависело, так ни одного виновного не было бы. Мне кажется, я спрятала бы их всех в карман к себе.

Отец. А ведь он малый здоровенный, наш портной-то, верзила порядочный!

Мать. Все равно, я спрятала бы его куда ни на есть. Пусть бы приходил сюда. Помнишь ты дезертира?..

Отец. Тсс… они идут сюда.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же, комиссар, жандармы, полицейские.

(В это время комиссар и его молодцы, обыскав весь дом сверху донизу, пришли, наконец, в четвертый этаж.)

Комиссар. А, дверь отворена. Прошу извинения, что тревожу вас, но видите ли, это в интересах общества… У вас сосед был ужаснейший злодей, способный убить отца с матерью.

Жена. Неужто мосье Видок?

Комиссар. Да-с, сударыня, Видок, и я прошу вас, в случае, если вы или муж спрятали его, — тотчас его выдать.

Жена. Ах, господин комиссар, можете повсюду искать, если вам угодно… но чтобы мы дали убежище кому-нибудь… этого еще не бывало!..

Комиссар. Прежде всего я должен вам сказать, что это касается вас самих, закон чрезвычайно строг! Это статья, по которой он шутить не любит, и вы рискуете подвергнуться важной ответственности; за укрывательство приговоренного к уголовному наказанию вы несете…

Муж (с живостью). Мы ничего не боимся, господин комиссар.

Комиссар. Я знаю и вполне надеюсь на вас. Впрочем, чтобы ни в чем себя не упрекнуть впоследствии, вы мне позволите сделать здесь небольшой обыск, самый маленький, знаете, просто пустая формальность. (Обращаясь к своей свите): Господа, выходы хорошо охранены?

После тщательного обыска во внутренних комнатах комиссар является в ту, где я спрятан.

— А в постели? — сказал он, приподнимая лоскут малинового штофа. Мои ноги почувствовали, как приподнимается один из углов матраса, который тотчас же снова опустился.

— Видока нет и следов, это верно. Он просто в невидимку превратился, — удивлялся комиссар.

Трудно себе представить, какое облегчение я почувствовал при этих словах. Наконец вся шайка блюстителей порядка удалилась, жена медника проводила их, осыпая любезностями, и я очутился один с семейством, состоявшим из мужа, жены, сына, их маленькой дочки, которые и не подозревали о моем присутствии.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Муж, жена и сын.

Жена. Ох, Господи, Господи! Народу-то сколько на улице собралось… Славные они вещи говорят о мосье Видоке. Воображаю, чего тут не приплетут. Как бы то ни было, а во всем этом должна быть доля правды, недаром говорится, что нет дыма без огня… Уж я знаю, что он важный лентяй был, твой Видок-то: целый день сложа руки сидел.

Муж. И ты туда же лезешь со своими предположениями, вот какой у тебя ехидный язык… Одно слово, нам тут нечего мешаться, дело не наше… Положим даже, что нас это интересует, ну так что ж из этого? В чем его обвиняют, хотелось бы мне знать? Хоть я нелюбопытен…

Жена. Как подумаешь об этом, так просто волосы дыбом становятся. Тебе говорят, его обвиняют в убийстве. Послушал бы ты портного, что напротив живет.

Муж. Все это сплетни, зависть, соперничество по ремеслу.

Жена. А дворничиха, 27-й номер, так та рассказывает, что он каждый вечер переодетый куда-то уходил с толстой-претолстой палкой.

Муж. Ходи ты со своей дворничихой!

Жена. Да, и что он людей подкарауливал в Елисейских полях.

Муж. Дурак он, что ли!

Жена. Дурак не дурак, а вот по-твоему, может быть, и кабатчик тоже дурак, а он рассказывает, что к портному все в гости приходили одни воры да разбойники и что с ним видели такие рожи, что беда.

Муж. Ну что ж, что рожи!

Жена. А потом комиссар сам сказал бакалейщику, что Видок бездельник и больше ничего. Хуже этого — он, говорят, великий преступник и правосудие никак не может ухитриться изловить его.

Муж. А ты и уши развесила. Ах ты, деревенщина! Верить комиссару… Меня, так никто не уверит, что Видок негодяй, напротив, мне кажется, что он человек степенный и порядочный. Впрочем, это до нас не касается, будем думать о своей работе. Поздно уж становится… приниматься пора. Эй, вы, за работу живей!

Разговор этим окончился; отец, мать и сын, и малютка, словом, все семейство Фоссэ уходит, я остаюсь один под замком, размышляя о коварстве полиции, которая, чтобы отнять у меня помощь и сочувствие соседей, старается выдать меня за гнусного злодея. Часто мне случалось и потом встречать такую же тактику, успех которой основывается всегда на самой ужасной клевете; тактика эта возмутительна по своей несправедливости, неискусна потому, что производит часто действие, противоположное тому, которого от нее ожидают, так как в этом случае люди, которые охотно помогли бы арестовать вора, воздерживаются от этого, опасаясь борьбы или

мести человека, сознающего ужас своего преступления и доведенного до отчаяния перспективой неминуемой виселицы. Прошло часа два с тех пор, как меня заперли; на улице и в доме было тихо, толпа рассеялась, я начинал приходить в себя, как вдруг самое смешное обстоятельство еще более усложнило мое положение. Я начал чувствовать резь в животе и ужасный позыв; не видя в комнате никакого подходящего сосуда, я был в ужасно затруднительном положении. Пошарив во всех углах, я наконец отыскал чугунный котелок… Слава Богу, давно пора… Я открыл его и… едва успел окончить свое дело, как услыхал, что в замке повернулся ключ. Я поспешно покрыл котелок крышкой и снова беззвучно проскользнул в свое убежище. Входят мадам Фоссэ с дочерью. Вслед за ними являются отец с мальчиком.

СЦЕНА ПОСЛЕДНЯЯ

Отец, мать, дети и я.

Отец. Ну, что ж, вчерашний суп еще не подогрет?

Мать. Еще войти не успел, как уже крик подымаешь, ставлю его, твой суп… с тобой всегда торопись, как на пожар.

Отец. А ты думаешь, дети-то не проголодались?

Мать. Ах, Господи, да не разорваться же мне. Подождут и дети, делать нечего; лучше бы огонь раздул, вместо того, чтобы ворчать.

Отец. Замерзла, что ли, твоя кастрюля?.. А, кажется шуметь начинает, слышишь?

Мать. Слышать не слышу, а вот в нос бьет, так это так… Откуда бы это, что за притча?..

Отец. Это вчерашняя капуста… Уж не ты ли это? Франсуа смеется, пари держу, что это он…

Сын. Вот какой ты, папа, всех подозреваешь, кто и не виноват.

Отец. Это потому, видишь ли, что знаю, с кем имею дело, ты у меня в подозрении всегда состоишь. Господи, какая

вонь! Послушай, ведь ты не в конюшне! (Повышая голос). Слышишь, что я говорю! (Обращается к жене). Если это ты, так лучше сознайся.

Мать. Смешной же ты, право, ну что ты ко мне пристаешь. Вонь-то ведь не проходит.

Отец. Напротив, она делается все сильнее и сильнее.

Девочка. Мама, кипит уже!

Мать. Проклятая крышка. Я вся обожглась!

Все вместе. Боже, какая вонь!

Мать. Это просто зараза! Это невыносимо, Фоссэ, открой окно.

Отец. Полюбуйтесь, сударыня, это одна из штук вашего любезного сынка!

Сын. Клянусь, папа, что не я!

Отец. Молчать, дрянной лентяишка… доказательство, кажется, ясно… господину Франсуа лень подыматься на пятый этаж… Ножки, видите ли, устанут! Постой, я тебя проучу, другой раз знать у меня будешь! А, ты еще отпираться вздумал!..

Сын (плачет). Но, папа…

Отец. Не рассуждать… видишь эту метлу, станешь у меня говорить, так сломаю ее об твою спину. Подойди-ка сюда, я тебе славную трепку задам… Слышишь, ступай сюда… А, ты, еще не слушаться!..

Сын (продолжает плакать). Ну, право же, не я…

Отец. Врешь, ты на все способен, гадкий мальчишка.

Мать. Уж лучше признайся…

Отец. Нет, ему лучше нравится, чтобы я его отодрал здорово… ну и ладно, я не прочь. Жена, затвори окно, а то соседи…

Мать. Смотри ты, Франсуа, берегись, отец шутить не любит.

Сомнения быть не могло — экзекуция совершится. Я не колеблясь подымаю тюфяк, простыни, одеяло и, быстрым

движением отбросив лохмотье малинового штофа, являюсь пораженному семейству, как будто из земли вырос. Мне не описать удивления этих добрых людей. Пока они переглядываются между собой молча, разинув рты, я рассказываю им в кратких словах, как я вошел к ним, как спрятался под тюфяк, как и т. д. Много было смеху по поводу истории с котлом; о сечении и думать забыли.

Муж и жена удивлялись, как я не задохся под матрасом; они искренно пожалели меня и с радушием, которое часто случается встречать среди простого народа, предложили мне подкрепиться и освежиться, в чем я сильно нуждался после такого беспокойного утра.

Конечно, я был на иголках, пока мое положение не сделается немного безопаснее. Пот лил с меня градом. В другое время я посмеялся бы над собой, но теперь мне было не до смеха. Убежденный в том, что я погиб, я мог бы ускорить роковую минуту. Поразмыслив о превратности судьбы и об изменчивости обстоятельств, я пришел к заключению, что часто случай разрушает все наши планы или дозволяет восторжествовать над самыми отчаянными положениями.

Судя по приему, оказанному мне семейством Фоссэ, я не имел причин опасаться измены, но все-таки я был не вполне спокоен — семейство это не наслаждалось благосостоянием. Очень может быть, что первый порыв сострадания и доброты, которому часто поддаются самые испорченные люди, заменится надеждой получить награду от полиции. Допуская даже, что мои хозяева честные люди, был ли я гарантирован против нескромности, болтливости? Не будучи одарен слишком большой дальновидностью, Фоссэ, однако, разгадал причину моих тайных опасений и спешил рассеять их уверениями, в искренности которых я не мог сомневаться.

Фоссэ принял на себя труд охранять мою безопасность; он начал с того, что навел справки и на основании их сообщил

мне, что полицейские агенты, убежденные, что я не вышел из квартала, водворились в доме и соседних улицах. Он уведомил меня также, что приготовляются сделать второй визит всем жильцам. Из всех этих сообщений я вывел заключение, что мне следует убраться поскорее, так как на этот раз будут обыскивать все квартиры основательно.

Семейство Фоссэ, как и большинство парижских рабочих, имело обыкновение ужинать в соседнем кабаке, куда приносило провизию. Мы условились, что я воспользуюсь случаем и выйду из дому вместе с ними. До ночи еще оставалось много времени; я успел принять свои меры. Прежде всего я позаботился уведомить о себе Аннетту. Фоссэ взялся передать поручение, но было бы неосторожно войти с ней в непосредственные сношения. Вот что он придумал: отправившись в улицу Граммон, он купил пирог и всунул в него следующую записку:

«Я в безопасности. Будь осторожна: не доверяйся никому. Не позволяй себя проводить обещаниями, которые никто не имеет ни намерения, ни возможности сдержать. Замкнись в самой себе и знай только слова: я не знаю. Притворись дурочкой, это лучшее средство доказать, что ты умная женщина, Я не могу назначить тебе свидания, но когда выйдешь из дому — всегда иди по улице Сен-Мартен и по бульварам. Не оборачивайся назад, за остальное я ручаюсь».

Пирог, порученный комиссионеру из улицы Вандом и адресованный на имя мадам Видок, попал, как я и предвидел, в руки полиции, которая дозволила передать его по назначению, предварительно прочитав послание. Таким образом, я достигнул двух целей зараз. Во-первых, я провел полицейских, убедив их, что я уже не нахожусь в квартале, а вовторых, успокоил Аннетту, сообщив, что я вне опасности. Проделка удалась мне вполне; ободренный первым успехом, я несколько успокоился и стал собираться в путь. Немного

денег, которые я случайно захватил с ночного столика, послужили мне на покупку панталон, чулок, обуви, блузы и синего бумажного колпака. Когда наступил час ужина, я вышел вместе со всем семейством, неся на голове громадное блюдо баранины с бобами, распространявшей аппетитный запах и объяснявшей всем и каждому цель нашей экскурсии. Тем не менее у меня дрогнуло сердце, когда я столкнулся лицом к лицу с одним полицейским, которого сначала не заметил, так как он был спрятан за углом.

— Задуйте свечу! — поспешно сказал он Фоссэ.

— Для чего? — спросил тот, нарочно взявший с собой свечу, чтобы не возбудить подозрения.

— Ну, не рассуждать! — крикнул агент и сам задул свечу.

Я охотно расцеловал бы его. В коридоре мы встретились с несколькими из его товарищей, которые из вежливости уступали нам дорогу. Наконец мы выбрались на чистый воздух. Едва успели мы обогнуть угол площади, как Фоссэ взял у меня блюдо и мы расстались. Чтобы не обращать на себя внимание, я сначала шел медленно до улицы Фонтэн; но там я уже перестал, как говорят, считать ворон, и пустился во всю прыть по направлению бульвара Тампль. Я достиг улицы Бонди, а все еще не задавал себе вопроса, куда я иду.

Между тем недостаточно было избавиться благополучно от первого преследования, полиция могла возобновить розыски. Для меня важно было сбить с толку полицию, многочисленные сыщики которой, по обыкновению, бросят все другие дела и займутся исключительно мной. В этом критическом положении я решился употребить в свою пользу людей, известных мне за доносчиков. Это было семейство Шевалье, которое я видел накануне и которое при разговоре выдало себя несколькими словами, смысл которых я сообразил уже после. Убедившись, что мне нечего церемониться с этими негодяями, я решился отомстить им, принудив их по

мере возможности вернуть несправедливо захваченное ими. Я заключил с ними с самого начала молчаливое соглашение, они первые нарушили договор, они сделали зло, и я намерен был наказать их за это, что они не распознали своих интересов.

От бульвара до улицы Echiquier было недалеко; я как бомба влетел в квартиру Шевалье, он был поражен, увидев меня свободным; это удивление подтвердило мои подозрения. Шевалье придумал какой-то предлог, чтобы выйти. Но, заперев дверь и положив ключ в карман, я схватил столовый нож и объявил своему тестю, что если он только осмелится крикнуть — то пусть распростится с жизнью. Угроза произвела ошеломляющее действие; этот народ хорошо знал меня, знал, на что я был способен в припадке отчаяния. Женщины сидели неподвижно, ни живы ни мертвы. Сам Шевалье, ошеломленный, уничтоженный, спросил меня едва слышным голосом, чего я от него хочу.

— А вот узнаешь, — ответил я.

Во-первых, я потребовал полную пару платья, которой я снабдил его месяц тому назад; он возвратил ее; кроме того, я велел дать себе шляпу, сапоги, рубашку. Все эти вещи были куплены на мои средства, и это было лишь возвращение по принадлежности. Шевалье исполнил мои требования, не прекословя. Я по глазам его видел, что он замышляет какой-то план, может быть, он нашел средство дать знать соседям, что он тяготится моим присутствием: благоразумие заставило меня подумать о своей безопасности на случай ночного обыска. Окно, выходившее в сад, было снабжено двумя железными перекладинами; я велел Шевалье вынуть одну из них, и так как он повиновался крайне неохотно, то я сам принялся за дело, и он даже не заметил, как нож перешел в его руки. Когда я окончил дело, я снова схватил свое оружие.

— Теперь, — сказал я, обращаясь к нему и к испуганным женщинам, — ступайте спать.

Что касается меня, то мне было не до сна; я бросился на стул и провел на нем самую ужасную ночь. Все превратности, испытанные мной в жизни, промелькнули в моем соображении; я не сомневался в том, что надо мной тяготеет проклятие, напрасно я бежал от порока, порок нагонял меня, и какая-то роковая сила, которой я противился со всею энергией своего характера, как будто издевалась надо мной, разрушая все мои планы и постоянно подвергая меня ужасным треволнениям.

На рассвете я разбудил Шевалье и спросил его, есть ли у него деньги. На его ответ, что у него только несколько серебряных монет, я велел ему тотчас же взять четыре серебряных прибора, недавно подаренных ему мною же, и, захватив вид на жительство, последовать за мною. Собственно говоря, я в нем не нуждался, но было бы опасно оставить его дома, он мог дать знать полиции и направить ее на мои следы, прежде нежели я успел принять предосторожности. Шевалье повиновался. Женщин я не так опасался, так как я уводил с собою драгоценный залог и так как они не совсем разделяли чувства последнего, поэтому я удовольствовался тем, что запер их, уходя; пробираясь по самым пустынным улицам Парижа, мы дошли до Елисейских полей. Было около четырех часов утра, мы не встретили ни души, Я взялся нести серебро, отнюдь не желая поручать его своему товарищу; мне необходимо было уйти от него без ущерба для себя, в случае, если он заартачится или окажется непокорным. К счастью, он повиновался мне во всем; впрочем, со мной был ужасный нож, и Шевалье был убежден, что при малейшем его движении я не поколеблюсь вонзить ему в сердце страшное орудие. Эта боязнь, которую он ощущал тем более, что сознавал за собой грешок, была полезна для меня, и я был вполне уверен в нем.

Мы долго прогуливались по окрестностям Шальо; Шевалье, который не мог подозревать, чем все это кончится, машинально следовал за мной; он был уничтожен и как бы

поражен идиотизмом. Часов в восемь я заставил его сесть в наемную карету и довез его до Булонского леса, где он от своего имени, в моем присутствии, заложил принесенное мной серебро; за него ему дали сто франков. Я взял эту сумму, довольный тем, что снова вернул гуртом то, что он вытянул от меня по мелочам. Я вместе с ним снова сел в фиакр и велел остановиться на площади Конкорд. Там я вышел из экипажа, сообщив ему следующую инструкцию: «Помни, что тебе следует быть более скрытным и осторожным, нежели когда-либо; если меня заарестуют, по чьей бы то ни было вине, то ты у меня берегись». Кучеру я приказал везти его во всю прыть в улицу Echiquier, № 23; чтобы быть уверенным, что он не поедет в другое место, я внимательно наблюдал за ним некоторое время, после этого я в кабриолете отправился к тряпичнику; тот дал мне полный костюм рабочего взамен моего платья. В этой новой одежде я направился в Инвалидный дом, с намерением осведомиться, есть ли возможность приобрести там инвалидный мундир.

Какой-то старец на костыле, к которому я обратился с расспросами, указал мне на торговца платьем в улице Сен-Доминик; у него я нашел что желал. Купец был, как я заметил, страшный болтун от природы.

— Я не любопытен, — поспешил он заявить (обычное предисловие для всех нескромных вопросов), — но, мне кажется, у вас, слава Богу, все члены целы; полагаю, что мундир не для вас.

— Извините, — ответил я, — для меня.

И когда мой купец пришел в удивление, я объяснил ему, что буду участвовать в спектакле.

— В какой пьесе, позвольте спросить?

— В «Сыновней любви».

Окончив торг, я тотчас же отправился в Басси и у одного знакомого, в преданности которого я был уверен, поспешил привести в исполнение свой план. В пять минут я превратился

в самого искалеченного инвалида; одна рука, притянутая к груди и прикрепленная к торсу ремнем и поясом от панталон, совершенно исчезла, так что и признаков ее не было. Несколько тряпок, всунутых в верхнюю часть рукава оконечность которого прикреплялась к передней части мундира, как нельзя вернее изображали собою обрубок руки и довершали иллюзию. Черная помада, которой я окрасил свои волосы и бакенбарды, делала меня окончательно неузнаваемым. В этом костюме я был уверен, что мне не только удастся провести чутье наблюдательных аргусов из улицы Иерусалима, но что меня не узнает решительно никто, поэтому я нашел возможность в тот же вечер показаться в квартале Сен-Мартен. Я узнал, что полиция не только продолжала занимать мою квартиру, но и сделала перепись всех товаров и утвари. Снуя между агентами, ходившими взад и вперед, мне легко было убедиться, что поиски продолжались деятельнее прежнего, с усердием, необычайным в те времена, когда бдительная администрация не слишком-то усердствовала, если дело касалось не политических преступлений. Испуганный таким упорным преследованием, другой на моем месте счел бы благоразумным немедленно удалиться из Парижа, по крайней мере на время. Конечно, было бы весьма удобно переждать бурю где-нибудь в провинции; но я не мог решиться покинуть Аннетту среди треволнений, которым она подвергалась из любви ко мне. Ей много пришлось выстрадать из-за меня, она двадцать дней провела в заключении в префектуре, откуда ее наконец выпустили с угрозой посадить в Сен-Лазар, если она не согласится указать, где я скрываюсь. Аннетта ни за что не произнесла бы ни слова, даже если бы к ней пристали с ножом к горлу. Можете судить, что я чувствовал, сознавая ее в таком бедственном положении; я не мог освободить ее, и как только это от меня зависело, я поспешил ей на помощь. Кстати, один из моих друзей, который мне

был должен несколько сот франков, отдал мне долг; я попросил его передать ей часть этой суммы, и в полной надежде, что ее заключение скоро окончится, так как вся вина ее состояла в том, что она жила с беглым каторжником, я приготовился выехать из Парижа, предполагая, на случай, если она не будет выпущена на волю до моего отъезда, позднее уведомить ее, куда я направился.

Я жил в улице Тиктон, у кожевника по имени Буен, который за известную плату согласился взять на себя паспорт и уступить его мне. Описание его наружности в паспорте совершенно подходило ко мне: как и я же, он был белокур, имел голубые глаза, румяное лицо, и, по странному стечению обстоятельств, на его верхней губе с правой стороны ясно обозначался небольшой шрам. Только ростом он был немного ниже меня, но чтобы казаться повыше, в тот день, когда комиссар должен был мерять его, он предполагал положить колоды две-три карт в сапоги. Буен действительно прибегнул к этой уловке, и хотя я обладал странной способностью уменьшать свой рост, когда мне угодно, на четыре — на пять пальцев, но мне не приходилось бы этого делать при осмотре. Завладев документом, я уже радовался, что поставил себя в безопасность, как вдруг Буен (у которого я жил всего неделю) доверил мне тайну, которая привела меня в ужас: оказалось, что человек этот давно занимался фабрикацией фальшивой монеты и, чтобы дать мне образчик своего искусства, он при мне отчеканил пятифранковую монету, которую жена его сбыла в тот же день. Легко представить себе, как подействовала на меня тайна Буена.

Во-первых, я вывел из всего этого заключение, что того и гляди его паспорт окажется плохой рекомендацией для меня в глазах жандармов, — ясно, что благодаря своему плохому ремеслу, Буен рано или поздно попадется и будет привлечен к ответственности. Дело было рискованное, и мне вовсе не

предстояло никакой выгоды быть принятым за него. Но это еще не все: ввиду страшной подозрительности, которую всегда внушает судьям и общественному мнению всякий беглый каторжник, очень могло случиться, что если Буен будет обвиняться как фальшивый монетчик, то и меня, естественно, будут считать его сообщником. Правосудие так часто заблуждалось! Уж раз осужденный совершенно безвинно, мог ли я ручаться, что то же самое не случится во второй раз? Преступление, которое мне вменили совершенно несправедливо, признав меня виновным в подлоге, подходило под категорию преступлений, которые совершал Буен. Я уже видел себя изнемогающим под тяжестью улик и подозрений до такой степени убедительных, что мой защитник, стыдясь защищать меня, сочтет нужным ходатайствовать для меня о снисхождении и милосердии судей. Мне чудилось, что я слышу произнесение смертного приговора. Моя тревога, мои опасения удвоились, когда я узнал, что у Буена есть сообщник: это был лекарь, некто Террье, который часто приходил к нему в дом. У этого человека было лицо висельника; один взгляд на эту физиономию способен был поставить на ноги всю полицию; не зная его, я был уверен, что, проследив за ним, невозможно было не открыть какого-нибудь преступления или покушения. Словом, он был плохой вывеской для всякого, кто показался бы с ним где бы то ни было. Убежденный, что его посещения могут иметь печальные последствия для всех нас, я посоветовал Буену бросить ремесло, столь опасное для всякого, кто им занимается; но никакие резоны не могли убедить его, все что я мог от него добиться — это прекратить свое опасное ремесло, по крайней мере на то время, пока я у него; это однако не помешало мне на другой же день застать его за фабрикацией своих монет. Тогда я счел нужным обратиться к его сообщнику: я в самых ярких красках изобразил ему опасности, которым они добровольно

подвергались. «Я вижу, — насмешливо ответил мне доктор, — что вы просто-напросто мокрая курица. Ну если бы даже нас и открыли — так что ж из этого? И без нас мало ли кувыркались на Гревской площади; да и к тому же мы вовсе до этого и не дойдем; слава Богу, вот уж пятнадцать лет как я спускаю свои франковики, а никто и не подозревает хоть что-нибудь за мной нехорошее. Будем жить пока живется. Впрочем, любезнейший, — прибавил он сердито, — я посоветовал бы вам не совать нос в чужие дела».

Разговор принимал такой оборот, что я счел излишним продолжать его и решился лучше держать ухо востро. Более нежели когда-либо я чувствовал необходимость как можно скорее покинуть Париж. Это было во вторник; мне хотелось уехать на другой день; но, получив уведомление, что Аннетта будет выпущена на свободу в конце недели, я решился отложить свой отъезд до ее освобождения. Но в пятницу, часов около трех, я вдруг услышал легкий стук во входную дверь. Поздний час, осторожность, с которой постучали, — словом, все возбудило во мне предчувствие, что пришли меня арестовать.

Ни слова не сказав Буену, я вышел на площадку лестницы, стремглав взлетел наверх, схватился за водосточную трубу, влез на крышу и приютился позади трубы.

Мои предчувствия не обманули меня; в одну минуту весь дом наполнился полицейскими агентами, которые обшарили все углы. Удивленные тем, что не нашли меня, и догадавшись по моей одежде, которая тут же лежала на помятой постели, что я бежал в одной рубашке, вследствие чего не мог далеко убежать, — они вывели заключение, что я, должно быть, скрылся не обычным путем. За неимением жандармов, которых можно было бы послать на поиски за мной, призвали кровельщиков, которые обыскали всю крышу; я был открыт и схвачен, не имея возможности сопротивляться, так

как дело происходило на крыше и единственное средство спастись было бы попытать сальто-мортале с опасностью сломать шею. Арест мой произошел весьма обыкновенно; меня привели в префектуру, где г-н Анри подвергнул меня допросу. Он отлично помнил о предложении, сделанном мною несколько месяцев тому назад, и поэтому обещал мне, по мере своих сил, смягчить мое положение. Несмотря на это, меня все-таки препроводили в Форс, а оттуда и в Бисетр, где я должен был ожидать следующего отправления арестантской партии.

Глава двадцать первая

Мне предлагают бежать. — Новая попытка перед г-ном Анри. — Моя сделка с полицией. — Коко-Лакур. — Шайка воров. — Инспектор под замком. — Неудавшееся бегство

Я начинал чувствовать отвращение к побегам и к той свободе, которую они доставляли; мне вовсе не хотелось вернуться в галеры, но во всяком случае я уже предпочитал жить в Тулоне, нежели жить в Париже и подчиняться таким негодяям, как Шевалье, Блонди, Дюлюк, Сен-Жермен и подобные им молодцы. Поразмыслив, я решил, что придется примириться со своей судьбой, как вдруг некоторые из галерников (народ, с которым я имел случай слишком хорошо познакомиться) предложили мне помочь им в их попытке удрать через двор «добрых бедняков». В другое время этот план пришелся бы мне по душе; я не отверг его, но отнесся к нему критически как человек опытный, знакомый с почвой, желая сохранить за собой то обаяние, ту репутацию, которые приобрел благодаря своим действительным успехам или тем подвигам, которые мне приписывали. Я знал, что если живешь среди мошенников, то всегда выгодно слыть между ними за самого отчаянного, самого отъявленного и ловкого злодея: такова была моя репутация, прочно установившаяся. Всюду, где только собиралось четыре арестанта, непременно трое из них слышали обо мне. Со времени существования галерников не было ни одного подвига, которого бы не связали с моим именем. Я был среди них генералом, которому приписывали все подвиги его солдат: конечно, при этом не могли упомянуть о крепостях, которые я взял приступом, но не было ни одного такого тюремщика, бдительность которого я не обманул бы, ни таких оков, которые я не расторгнул бы, ни такой стены, которую мне не удалось бы пробить. Я также славился своим мужеством и искусством, и существовало мнение, что я способен пожертвовать собою в случае надобности. В Бресте, в Тулоне, в Рошфоре, в Антверпене, — словом, повсюду я

пользовался среди мошенников славой самого ловкого и хитрого негодяя. Самые испорченные добивались моей дружбы, думая, что они все-таки могут от меня кое-чему научиться, а новички с разинутыми ртами слушали каждое мое слово, как поучение, которым можно воспользоваться впоследствии.

В Бисетре у меня был просто придворный штат, как у какого-нибудь царька; вокруг моей особы толпились арестанты, слушали меня, как оракула, осыпали угождениями. Но теперь вся эта тюремная слава опостылела мне; чем более я приобретал способность читать в душе преступников, чем более они обнаруживались мне во всей наготе порока, тем более я жалел общество, в среде которого могло существовать такое низкое отребье. Я уже более не ощущал того чувства товарищества по несчастью, которое в былое время одушевляло меня; горький опыт — опыт, приобретенный целыми годами, — внушал мне потребность отделиться от этих разбойников, которых я презирал до глубины души. Решившись во что бы то ни стало вооружиться против них в интересах честных людей, я снова написал г-ну Анри, вторично предлагая ему свои услуги, без иного условия, кроме освобождения от каторги, обещая высидеть свой срок в какой бы то ни было тюрьме.

Из моего письма так ясно было видно, какого рода сведения я мог доставить, что г-н Анри был поражен им. Одно соображение останавливало его — это пример многих лиц, обвиняемых или осужденных, обязавшихся направить полицию куда следует, но доставивших весьма незначительные и маловажные сведения, или же настигнутых на месте преступления. На это веское возражение я привел причину моего обвинения[10], добросовестность моего поведения всякий

---

[10] В числе представленных мною документов я привожу следующий, так как в нем излагаются мотивы моего осуждения и в то же время он представляет доказательство заступничества в мою пользу

раз, как я вырывался на свободу, настойчивость моих стараний зарабатывать честным путем насущный хлеб; наконец, я предъявил свою корреспонденцию, свои счетные книги, я призывал в свидетели всех людей, с которыми имел деловые сношения, и в особенности моих кредиторов, чувствовавших ко мне полное доверие.

Упомянутые мною обстоятельства сильно говорили в мою пользу; г-н Анри представил мою просьбу префекту полиции

генерального прокурора Росона во время моего последнего заключения в Дуэ.

Дуэ, 20 января 1809 г.

Генеральный императорский прокурор уголовного суда Северного департамента.

Сим свидетельствую, что названный Видок был приговорен 7-го нивоза пятого года на восемь лет заключения за подделку приказа о выпуске на волю.

Дознано, что Видок содержался за нарушение дисциплины или другой какой-либо военный проступок и что подлог, в силу которого он осужден, не имел иной цели, как содействовать побегу одного из товарищей по заключению.

Генеральный прокурор заявляет, кроме того, на основании добытых; им сведений, что Видок бежал из места заключения в то время, как его намеревались перевести в галеры; его поймали; затем он снова бежал и снова был пойман. Генеральный прокурор Росон имел честь писать г. министру юстиции и испросить его совета по вопросу, может ли быть принят в расчет срок, истекший со времени осуждения Видока и его вторичного заарестования, для того, чтобы смягчить его наказание.

Первое письмо было оставлено без ответа; г. Росон обратился к г. министру вторично, и Видок, истолковывая молчание последнего в неблагоприятном для себя смысле, – снова бежал.

Генеральный прокурор не имеет возможности представить всех этих писем, так как бумага и документы его предшественника г. Росона были взяты его семейством, которое отказывается возвратить их прокурорскому надзору.

Пакье, который решил, что мое ходатайство будет принято. После двухмесячного пребывания в Бисетре я был переведен в Форс. Чтобы избавить меня от всяких подозрений, среди арестантов распространили нарочно слух, будто я замешан в весьма скверное дело и что немедленно приступят к следствию. Эта предосторожность, соединенная с моей репутацией, еще более увеличила мою популярность. Ни один заключенный не посмел сомневаться в том, что я действительно попался в скверном деле. Про меня шепотом говорили: «это эскарп» (убийца), а так как в том месте, где я находился, убийца обыкновенно внушает большое доверие, то я и не подумал опровергать это заблуждение, полезное для моих планов. Тогда я был далек от предположения, что обман, который я допускал добровольно, мог с течением времени перейти в уверенность, и теперь, когда я пишу свои записки, мне нелишне будет сказать, что я никогда не был виновен в убийстве. С тех пор, как обо мне стали говорить в публике, столько появлялось нелепых слухов и толков на мой счет! Каких только ни выдумывали ужасов люди, заинтересованные в том, чтобы прославить меня низким злодеем! То будто бы я был заклеймен и приговорен к каторжным работам пожизненно; то будто бы меня спасли от гильотины только под условием выдавать полиции известное число преступников в месяц, и если только недоставало одного, то сделка оказывалась недействительной, — поэтому-то, за неимением действительных виновных, я выдавал даже невинных, какие мне попадутся под руку. Дошли даже до того, что обвинили меня, будто я в одной кофейне сунул серебряный прибор в карман одного студента! Позднее я буду иметь случай возвращаться к этим клеветам, в некоторых главах я выясню средства, употребляемые полицией, ее действия, ее тайны, словом, все, что мне удалось узнать.

Принятое мною обязательство вовсе не было так легко выполнить, как, может быть, думают. В действительности я

знал множество преступников, но изведенное всякого рода излишествами, ужасным тюремным режимом, нищетой — это гнусное поколение выродилось с замечательной быстротой; другое поколение было на сцене, и я не знал даже имени лиц, входивших в состав его. В то время множество воров эксплуатировали столицу, но мне невозможно было бы доставить хотя малейшее сведение о главных из них; только моя давнишняя репутация могла дать мне возможность получать сведения об этих бедуинах нашей современной цивилизации.

В Форс не являлось ни одного вора, который не поспешил бы добиваться моего знакомства; если бы даже он никогда не видел меня, то старался, из самолюбия и чтобы придать себе известный шик в глазах товарищей, показать вид, будто он был когда-то в хороших отношениях со мною. Я льстил этому странному самолюбию; этим путем я незаметно прокрался на почву открытий; сведения явились в изобилии, и я не встретил более никаких препятствий для выполнения своей задачи.

Чтобы дать понятие о влиянии, которым я пользовался на арестантов, мне достаточно будет сказать, что я по своей воле и усмотрению прививал к ним свои воззрения, свои привязанности, склонности, привычки — они думали моим умом, клялись моим именем: если им приходилось невзлюбить за что-нибудь одного из наших товарищей по заключению, потому, что они считали его за барана, мне стоило только замолвить за него слово — и, конечно, его репутация была восстановлена. Я в одно и то же время был могущественным покровителем и поручителем в искренности его, если она находилась под сомнением. Первый, на котором мне пришлось испытать свою силу, был один молодой человек, обвиняемый в том, что служил полиции в качестве агента. Утверждали, что он состоял на жалованьи у генерального инспектора Вейра, и прибавляли, что однажды, явившись с рапортом к своему начальству, он украл серебро из корзины.

Обокрасть инспектора, это еще не беда, напротив того, — но отправиться с доносом!.. Таково было громадное преступление, в котором обвиняли Коко-Лакура, в настоящее время моего преемника. Выслушивая угрозы и ругань со всех сторон, притесняемый, гонимый всеми и каждым, не осмеливаясь и носа показать во двор, он, наверное, окончил бы скверно, если бы в этом печальном положении не прибегнул к моей помощи и покровительству. Чтобы расположить меня в свою пользу, он начал поверять мне различные тайны, из которых я сумел извлечь выгоду. Во-первых, я употребил все свое влияние, чтобы примирить его с товарищами и заставить их отказаться от планов мести, — сослужить ему большую службу было бы невозможно.

Отчасти из чувства благодарности, отчасти из желания высказаться, он более ничего не скрывал от меня. Однажды, вернувшись от судебного следователя, он сказал мне:

— Черт возьми, мне везет счастье; ни один из истцов не узнал меня; впрочем, я еще не считаю себя спасенным; есть на свете один дуралей-дворник, чтоб ему пусто было, у которого я стащил серебряные часы; я долго разговаривал с ним, и мои черты, верно, врезались в его памяти; если его вызовут, то мне несдобровать на очной ставке, — эти черти-дворники физиономисты.

Замечание это было справедливо; но я, со своей стороны, заметил Коко, что невероятно было бы отыскать этого человека, а сам он никогда не явится, если уже не явился сегодня. Чтобы утвердить в нем это мнение, я стал говорить ему о беспечности и лени некоторых людей, которые не любят с места двинуться. Мои слова побудили Коко сообщить мне квартал, в котором жил владелец часов; если бы он указал мне улицу и номер дома, мне не оставалось бы желать ничего более. Но я не решился требовать таких подробных сведений, это могло бы изменить мне. К тому же данные для следствия были достаточны: я сообщил их г-ну Анри, который поднял

на ноги своих сыщиков. Результат поисков был таков, какого я ожидал; дворника отыскали и Коко при очной ставке был признан виновным. Суд приговорил его к тюремному заключению на два года.

В это время в Париже существовала шайка беглых каторжников, ежедневно совершавших кражи и грабежи вполне безнаказанно; не было никакой возможности положить предел их разбою. Многие из них неоднократно бывали заарестованы и потом выпущены на волю за недостатком улик. Упорно отрицая свою вину, они долгое время насмехались над правосудием, которое не могло ни уличить их на месте преступления, ни представить против них веских доказательств; чтобы накрыть их, необходимо было знать их местожительство, а это было почти невозможно — они так искусно прятались, что никому не удавалось напасть на их следы. В числе этих личностей был некто Франс, прозванный Тормелем, который, прибыв в Форс, первым своим долгом счел обратиться ко мне с просьбой дать ему десять франков для игры в пистоль; я поспешил удовлетворить его просьбу. С этих пор он постоянно подходил ко мне и, тронутый моей щедростью, не колеблясь доверился мне вполне. Во время своего ареста ему удалось утаить от зоркого глаза полицейских агентов два билета в тысячу франков каждый; он отдал их мне на хранение с просьбой выдавать ему из этой суммы по мере надобности.

— Ты меня не знаешь, — сказал он мне, — а билеты служат ручательством; я их доверяю тебе, зная, что они в твоих руках будут безопаснее, нежели в моих; позднее мы разменяем их; теперь слишком рано и показалось бы подозрительным, лучше подождать.

Я вполне согласился с мнением Франса и по его желанию обещал ему быть его банкиром — я не рисковал ничем.

Арестованный за кражу со взломом из лавки торговца зонтиками в пассаже Фейдо, Франс был несколько раз подвергнут допросу, но всякий раз настойчиво объявляя, что

не имеет постоянного местожительства. Между тем полиция была уведомлена, что местожительство он имеет, и она была тем более заинтересована узнать его, что уверена была найти в нем все воровские инструменты и склад краденых вещей. Это было бы открытием первой важности, тогда имели бы в руках вещественные доказательства. Г-н Анри дал мне знать, что он рассчитывает на меня для достижения этого результата. Я стал действовать в этом направлении и узнал, что во время своего ареста Франс занимал на углу улицы Монмартр и Нотр-дам-де-Виктуар меблированное помещение, нанятое на имя одной женщины, Жозефины Бертран, известной укрывательством воров.

Эти сведения были вполне достоверны; но трудно было воспользоваться ими, не скомпрометировав себя перед Франсом, который открыл свои тайны одному только мне и поэтому тотчас же мог заподозрить меня в измене; впрочем, это мне удалось, и он так далек был от всяких подозрений на мой счет, что часто поверял мне свою тревогу и беспокойство, по мере того, как проводился в исполнение план, насчет которого я согласился с г-ном Анри. Впрочем, полиция устроила дело так, как будто ее действиями руководила одна случайность. Вот как она взялась за дело.

Она вошла в сношения с одним из жильцов того дома, где жил Франс; тот обратил внимание домохозяина на то, что около трех недель незаметно было никакого движения в квартире мадам Бертран, это подавало повод ко всевозможным предположениям. Вспомнили о каком-то господине, который обыкновенно приходил и уходил из этой квартиры; стали удивляться, отчего его более не встречают, заговорили об его отсутствии, таинственное слово «исчезновение» было произнесено; отсюда вытекла необходимость предупредить комиссара, затем началось следствие в присутствии свидетелей и открытие множества краденых вещей в квартале, наконец, конфискование инструментов, употребленных при

кражах. Оставалось только узнать, куда девалась Жозефина Бертран; отправились к лицам, которых она назначила для получения справок, когда приходила нанимать квартиру, но все было тщетно — узнали только то, что некая девица Ламбер, занявшая ее квартиру, была арестована и так как она была известна за любовницу Франса, то из этого вывели заключение, что они, вероятно, жили вместе. Франс был приведен в квартал и узнан всеми соседями. Хотя он настаивал на том, что это не более как ошибка, но присяжные решили иначе, и он был приговорен к тюремному заключению на восемь лет.

Достаточно было схватить и уличить Франса, чтобы напасть на следы его сообщников; глазные из них были Фоссар и Леганьер. Ими нетрудно было бы овладеть, но они ускользнули от преследований, благодаря неловкости и трусости агентов. Первый из них был человек тем более опасный, что он в совершенстве обладал искусством подделывать ключи. В течение целых пятнадцати месяцев он водил за нос полицию, как вдруг однажды я случайно узнал, что он живет у одного парикмахера в улице Тампль, против водосточной канавы. Арестовать его в ином месте было бы вещью почти невозможною, так как он был необыкновенно искусен в наблюдении и узнавал агента полиции по чутью, шагов за двести. С другой стороны, лучше было бы схватить его среди всей обстановки и принадлежностей его ремесла и среди плодов его труда. Но экспедиция была сопряжена с большими препятствиями. Когда стучали в его дверь, Фоссар имел обыкновение не отвечать, и весьма вероятно было, что он устроил себе лазейку, чтобы пробраться на крышу в случае надобности. Мне казалось, что единственное средство захватить его, это воспользоваться его отсутствием, чтобы проскользнуть в его квартиру и устроить там засаду. Г. Анри согласился со мной. Отомкнули замок двери в присутствии комиссара, и трое полицейских разместились в комнатке,

смежной с альковом. Прошло семьдесят два часа, а никто и не думал показаться; в конце третьего дня все запасы агентов истощились и они уже решились уйти, как вдруг услышали звук отпиравшейся двери — Фоссар вернулся домой. Агенты мгновенно выскочили из своего убежища и бросились на него; но Фоссар, вооружившись ножом, позабытым ими на столе, так сильно перепугал их, что они сами отворили дверь, затворенную их товарищем. Фоссар, заперев их в свою очередь, спокойно сошел с лестницы, оставив агентов составлять на досуге доклад, в котором было изложено все за исключением эпизода с ножом, о котором они остерегались упоминать. Впоследствии увидят, как им в 1814 году удалось арестовать Фоссара. Подробности этой экспедиции составляют одну из самых интересных страниц моего рассказа. До препровождения в Консьержери Франс, не перестававший верить в мою искреннюю преданность, рекомендовал мне своего закадычного друга — беглого каторжника Леганьера, арестованного в улице Мортельери в ту минуту, когда он совершал кражу с помощью поддельных ключей. Этот человек, лишенный всяких средств к существованию арестом своего товарища, задумал вернуть деньги, доверенные им на сохранение одному укрывателю в улице Сен-Доминик в Гро-Калью. Поручение было возложено на Аннетту, усердно навещавшую меня в Форсе и часто весьма ловко помогавшую мне в моих поисках; но или по недоверчивости, или же по желанию присвоить себе сумму, оставленную на хранение, — укрыватель очень дурно встретил поручительницу, и так как она настаивала, то он стал угрожать ей арестом. Аннетта пришла к нам и объявила о неудаче своей попытки. При этом известии Леганьер решился было выдать укрывателя, но это был только первый порыв гнева. Успокоившись, Леганьер счел более удобным отсрочить выполнение своей мести и в особенности извлечь из нее побольше выгоды для себя. «Если я донесу, — сказал он, — то я не только ничего не получу, но

может даже случиться, что за ним не найдут никакой вины. Нет, уж лучше подождать немного, тогда я сумею его заставить петь (тянуть деньги)». Леганьер, потеряв надежду на укрывателя написал к двум своим сообщникам, Маргери и Виктору Дебуа — ворам, пользующимся известной славой в Париже. Убежденный в известной истине, что маленькие подарки всегда поддерживают дружбу, взамен помощи, которой он от них ожидал, он послал им несколько отпечатков замков, добытых им для собственного употребления. Леганьер еще раз прибегнул к помощи Аннетты; она отыскала обоих негодяев в улице Де-Пон, в отвратительной мансарде, куда они никогда не показывались, не приняв предварительно всех мер предосторожности. Аннетта, которой я наказал употребить все свои старания, чтобы разузнать, где находится их действительное местожительство, догадалась не терять их из виду. В продолжение двух дней она следовала за ними по пятам, переодевшись в различные костюмы; на третий день она удостоверилась, что они ночуют в переулке Сен-Жан, в доме, имеющем выход в сад. Г-н Анри, которому я не преминул сообщить об этом обстоятельстве, принял все меры, требуемые свойством местности, но агенты оказались такими же трусами и такими же неловкими, как при аресте Фоссара. Мошенники скрылись в саду, и только позднее их удалось захватить в улице Сен-Гиансет Сен-Мишель.

На место Леганьера, в свою очередь отведенного в Консьержери, в моей комнате был помещен сын одного версальского виноторговца, Робен, который, имея связи со всеми плутами столицы, в разговоре со мной сообщил мне драгоценные сведения об их прежнем образе жизни, их настоящем положении и планах на будущее. Благодаря ему, я накрыл беглого каторжника Мардаржана, который был обвиняем только в дезертирстве. Этого молодца приговорили к заключению на 24 года. Он долго жил на каторге; при помощи общих воспоминаний мы скоро свели знакомство; он не

ошибся, полагая, что я рад буду встретить старинных товарищей по несчастью; он указал мне многих в числе заключенных, и мне посчастливилось удержать в галерах много субъектов, которых правосудие, за неимением достаточных улик, может быть, снова допустило бы в общество, Никогда еще не было сделано столько важных открытий, как те, которые ознаменовали мой дебют в службе при полиции. Едва я успел попасть в администрацию, как уже принес большую пользу для безопасности столицы и даже всей Франции. Рассказывать все мои подвиги — было бы злоупотреблять терпением читателя, но однако я не желал бы обойти молчанием приключение, случившееся за несколько месяцев до моего выхода из тюрьмы.

Однажды после обеда на дворе послышался шум; происходила ожесточенная драка на кулачках. В такой час дня это было происшествие весьма обыкновенное, но на этот раз оно возбудило всеобщее удивление, так как дело шло о поединке между двумя закадычными друзьями. Всем было известно, что оба противника, Блиньон и Шарпантье, названный Шанталером, жили в преступной интимности, которую не может оправдать самое строгое заключение. Между ними произошла жестокая стычка; утверждали, что их разъединила ревность. Как бы то ни было, когда драка окончилась, Шанталер, разбитый и уничтоженный, пошел в шинок, чтобы примочить ушибы водкой. В это время я играл в пикет. Шанталер, раздраженный своим поражением, выходил из себя от гнева; от водки, которой примачивали его раны и которую он потом лил себе в рот, сам того не замечая, его разобрало еще более, и он почувствовал потребность излить свою душу.

— Друг мой, — сказал он, обращаясь ко мне, — ведь ты мой друг, не правда ли?.. Видишь, как прекрасно отделал меня эта сволочь Блиньон? Но клянусь, ему не поздоровится!..

— Брось ты все это, наплевать тебе на него, да и к тому же он ведь сильнее тебя. Уж не хочешь ли ты поплатиться костями во второй раз?

— О, я вовсе не то хочу сказать, ты меня не понимаешь. Стоит мне только захотеть, и он уж никого больше бить не станет, ни меня, ни другого кого. Мы знаем, что знаем.

— Ну что же ты знаешь? — воскликнул я, пораженный таинственным тоном, которым он произнес эти последние слова.

— Да, да, — продолжал Шанталер, все более и более оживляясь и приходя в пафос, — он меня вывел из себя, так я же ему дам знать себя. Стоит мне словечко вымолвить, и он будет подкошен (гильотинирован).

— Да ну, молчи лучше, — сказал я, делая вид, будто я не верю его словам, — все вы на один покрой: когда на кого-нибудь разозлитесь, то вам кажется, что довольно вам дунуть разок-другой, чтобы голова его свалилась с плеч долой.

— Ты думаешь? — закричал Шанталер, стукнув кулаком по столу. — А если бы я сказал тебе что он женщину укокошил?

— Потише, потише, Шанталер, — увещевал я, закрывая ему рот рукой.

— Ты знаешь, в Лорсефе (Форс) стены имеют уши. Не годится ябедить на товарища.

— Что ты мне толкуешь о ябеде! — возразил он, все более и более раздражаясь по мере того, как я делал вид, что хочу помешать ему проболтаться. — Тебе говорят — от меня зависит, чтобы с ним сделался новый припадок трясучки (открыть новый факт обвинения).

— Все это прекрасно, — ответил я спокойно, — но чтобы привлечь человека на хлебный поднос (привлечь к суду) — надо доказательства, доказательства прежде всего.

— Доказательства! Разве их может не быть у булочника (черта)! Послушай-ка… ты ведь знаешь торговку червяками для рыбы в конце моста Нотр-Дам?

— Прежняя людоедка (женщина, дающая вещи напрокат публичным женщинам), — любовница Шатонэ, жена горбуна?

— Ну да, та самая. Так вот, месяца три тому назад мы с Блиньоном спокойно покуривали и попивали водку в шинке на улице Планш-Мибрэ, как она вдруг пришла к нам. «Неподалеку отсюда, в улице Соннери — жирно, — сказала она, — в двух шагах всего! Вы у меня добрые малые, голубчики, так и быть, я уж вам доверю кое-что. Вот видите ли, это старуха, которая каждый день получает много денег для разных лиц; вот уж два дня, как у нее пятнадцать или двадцать тысяч франков наличными, золотом или билетами. Она часто приходит в полумеркоть (ночью) и хорошо бы перерезать ей глотку на реке, забравши филиппчики (золото). Сначала мы и слышать не хотели об этом предложении, — мы черной работой (убийством) не занимаемся; но эта проклятая торговка так нам надоела, повторяя, что там жирно (много денег) и что вовсе не беда оглушить (убить) старую женщину, что мы наконец поддались ее увещаниям. Условлено было, что торговка даст нам знать, когда наступит удобная минута приняться за дело. Мне досадно было, что я втюрился в это дело; знаешь ведь, когда нет привычки к делу, так всегда неловко себя чувствуешь. Как бы то ни было, все было уже подготовлено, как вдруг на другой день мы встретились около Севра с Вуавенелем в обществе другого приятеля (вора). Блиньон рассказал им наше дело, высказывая, однако, свое отвращение к убийству. Они предложили помочь нам, если мы от этого не прочь. «Охотно, — ответил Блиньон, — если там есть довольно для двух, так и на четырех хватит». Решено было, что они будут в одной с нами пряди (сообщничестве). С этой минуты товарищ Вуавенеля ходил за нами по пятам, он жаждал наступления роковой минуты. Наконец торговка предупредила нас; это было 30 декабря, на дворе стоял густой туман. «Ну, сегодня…», — сказал Блиньон. Хотите верьте, хотите нет, а клянусь честью мошенника, что мне сильно не хотелось идти туда; но увлекаемый товарищами, я последовал за старухой вместе с другими, и вечером, когда она, по-

кончив свои дела, выходила от хозяина наемных карет Руссе, мы с ней и того… Друг Вуавенеля пырнул ее ножом, а Блиньон, схватив ее за мантилью, держал сзади; один я не вмешивался в дело, но я слышал и видел все, они меня поставили на сторожку, и я знаю достаточно, чтобы подкосить эту сволочь, Блиньона.

Шанталер в подробностях, с замечательным цинизмом и равнодушием, рассказал мне все обстоятельства, сопровождавшие убийство. Я до конца выслушал отвратительный рассказ, делая над собою невероятные усилия, чтобы скрыть свое негодование; каждое его слово способно было привести в ужас самого закоснелого, самого нечувствительного человека. Когда злодей окончил свое повествование о последней агонии и предсмертных судорогах несчастной жертвы, я снова просил его не губить своего друга Блиньона; но своими увещаниями я подливал масла в огонь, который я как бы старался затушить. Мне хотелось заставить Шанталера хладнокровно, по собственной воле, разоблачить властям ужасное открытие, сделанное им в порыве гнева и мести. Кроме того, я желал доставить правосудию вещественные улики, с помощью которых можно было бы накрыть убийц. Может быть, думал я, Шанталер рассказал мне небылицу, выдуманную под влиянием мести. Как бы то ни было, я сделал г-ну Анри донос, в котором изложил свои сомнения, и скоро он уведомил меня, что преступление, о котором я заявил ему, к несчастью, было сущей правдой. В то же время Анри просил меня собрать точные сведения о всех обстоятельствах, предшествовавших и сопровождавших убийство. На другой же день я расставил свои сети. Трудно было бы арестовать сообщников так, чтобы они не догадались, откуда на них обрушилась беда; в этом деле, как и во многих других, мне помог случай. Наступило утро, я пошел будить Шанталера, который после вчерашнего погрома был еще болен и не мог встать. Я сел на его постель

и рассказал ему, как накануне он был мертвецки пьян и натолковал с три короба разного вздору. Упрек этот, казалось, удивил его; я повторил ему отрывки из нашего разговора — его удивление удвоилось. Он стал клясться и уверять меня, что никогда он подобного не говорил и говорить не мог, и уже не знаю, действительно ли он потерял память или просто не доверял мне, но он стал уверять меня, что он окончательно позабыл все, что произошло накануне. Лгал он или нет, а я все-таки с жадностью схватился за эти уверения и сказал Шанталеру, что он не только поведал мне под видом тайны все подробности убийства, но и прокричал их громко в шинке, в присутствии многих заключенных, которые все так же слышали, как и я.

— Ах я злополучный, — сказал он, повесив голову и с видом глубокого отчаяния, — что я наделал! Теперь как мне отсюда выпутаться?

— Ничего нет легче, — ответил я, — если тебя станут расспрашивать о вчерашней сцене, ты и скажи: я был пьян, господа, а когда я пьян, я на все способен; в особенности, если на кого зол, — тогда Бог весть что наплету.

Шанталер принял мой совет за чистую монету. В тот же день один из арестантов, прозванный Чижиком и слывущий за барана, был отведен в префектуру полиции: это было как нельзя более кстати. Я поспешил сообщить это Шанталеру, прибавив, что Чижика перевели только в надежде, что он сделает разоблачения. Он был поражен и сконфужен этим известием.

— А был он там, в кабаке? — поспешно спросил он.

Я сказал, что не помню и не обратил внимания. Тогда он откровенно доверил мне свою тревогу, и я получил от него новые сведения, которые поспешил тотчас же сообщить г-ну Анри. Вскоре, благодаря моим указаниям, все сообщники преступления были привлечены к ответственности, в том

числе торговка и ее муж. И те и другие были заключены в секретную; Блиньон и Шанталер — в новое здание, торговка с мужем, Вуавенель и четвертый убийца — в Форс, где они оставались очень долго. Я навел на их следы, началось разбирательство, которое не привело ни к чему, потому что неискусно было начато в самом начале. Обвиняемые были оправданы.

Пребывание мое в Бисетре и в Форсе продолжалось двадцать один месяц; в этот промежуток времени не прошло ни одного дня, чтобы я не оказал существенной пользы. Мне кажется, я мог бы быть бараном на веки вечные, так мало подозревали мои сношения с полицией. Сами консьержи и аргусы не подозревали моей миссии. Обожаемый ворами, пользуясь уважением самых отъявленных бандитов, — так как этим людям также знакомо чувство уважения, — я мог всегда рассчитывать на их преданность и поддержку. Все они для меня готовы были идти в огонь и воду. В доказательство этого скажу, что в Бисетре некто Мардаржан несколько раз дрался с заключенными, осмелившимися сказать, что я вышел из Форса, чтобы служить полиции. Коко-Лакур и Горо, заключенные в моей же тюрьме как неисправимые воры, — с такой же энергией и великодушием вступались за меня. Тогда, может быть, они имели основание платить мне неблагодарностью — ведь я их так же мало щадил, как и других, но теперь они вполне заслуживают моей благодарности, так как они более, нежели сами думали, способствовали пользе, которую я приносил обществу своими услугами.

Г-н Анри не преминул сообщить префекту полиции о многочисленных разоблачениях, сделанных благодаря моему усердию и смышлености. Этот чиновник, считая меня за человека, на которого можно положиться, согласился наконец положить предел моему заключению. Были приняты все меры, чтобы арестанты не подумали, что я нарочно выпущен

на свободу. За мною пришли в Форс и увели оттуда, не упустив из виду ни одной предосторожности. На меня надели наручники и посадили в плетеную тележку; однако условлено было, что я убегу дорогой, что я, конечно, и исполнил. В тот же вечер вся полиция была поставлена на ноги. Этот побег наделал много шуму, в особенности в Форсе, где друзья мои долго праздновали мое освобождение веселыми попойками: они пили за мое здоровье и желали мне счастливого пути!..

Конец первого тома

Оглавление

Эжен Франсуа Видок

Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции

В трех томах

Том первый

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16